

*Ce livre est édité avec le concours
du Ministère des affaires étrangères de France,
de l'Ambassade de France à Moscou
et Fondation «Goodbooks», Guernesey.*

ALAIN BESANÇON

LES ORIGINES
INTELLECTUELLES
DU LENINISME

CALMANN-LÉVY
1987

*Это издание осуществлено при поддержке
Министерства иностранных дел Франции,
французского посольства в Москве
и Фонда «Goodbooks», Guernesey.*

АЛЕН БЕЗАНСОН

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ИСТОКИ
ЛЕНИНИЗМА

Издательство «МИК»
Москва 1998

УДК 141.824/827
ББК 87.3(2)6
Б 39

Безансон А.

Б 39 Интеллектуальные истоки ленинизма / Перевод с французского М. Розанова, Н. Рудницкой и А. Руткевича (главы II и III). — М.: Издательство «МИК», 1998. — 304 с.
ISBN 5-87902-029-0

В книге рассматривается процесс возникновения идеологии ленинизма. Определяются его корни — от французских якобинцев, левых гегельянцев, Маркса, славянофилов, Герцена, Чернышевского — до Нечаева и Ткачева, народовольцев и марксистов, Бернштейна и Плеханова. Автор обращается и к той реальности, в которую ленинизм воплотился — то есть к семидесятилетнему периоду нашей истории. Для русского читателя содержание книги представляет далеко не академический интерес.

ISBN 5-87902-029-0

© Безансон Ален
© Издательство «МИК», 1998
© Перевод с французского М. Розанова,
Н. Рудницкой и А. Руткевича
© Оформление Дизайн-Бюро 20•9

АЛЕН БЕЗАНСОН О СВОЕМ ПУТИ

*Речь, произнесенная по поводу избрания автора
в члены Французской Академии*

На первый взгляд, лишь случай направлял капризный и опрометчивый путь моей жизни, который никак не назовешь карьерой. Студентом я увлекся монументальными иллюзиями коммунизма. Плохое начало! Быстро поняв, что я ошибался, злой на самого себя, я решил в этом вопросе разобраться. В результате я стал изучать российскую историю, провел в Москве и Петербурге год, более чем суровый, со временем оказавшийся неисчерпаемым источником; и затем отправился в Америку искать учителей, которых не нашел в Париже. Это были Марк Раев и Мартин Малия, ставшие моими друзьями.

В мае 68-го я вернулся из Соединенных Штатов, где преподавал. Флобер утверждал, что для некоторых 1848-й год оказался таким ударом, что они остались идиотами на всю жизнь. Что до меня, то я стал чем-то вроде активиста: старался поделиться со своими соотечественниками тем, что понял о советской системе из книг, статей, иногда из радио- и телепередач. Это было время одновременно и счастливое и несчастное, ведь приятно сознавать, что обладаешь неким знанием, но неприятно — что не можешь сообщить его другим. Не были лишены приятности и поиски ключа к советской загадке, они представляли определенный интеллектуальный интерес, и я мог обсуждать приходившие мне в голову мысли с Раймоном Ароном, со студентами его семинара, с несколькими друзьями, с моей дорогой Анни Крижель, например, и даже с несколькими русскими, поляками и румынами, которые знали меня по самиздату.

Но вот пришел 91-й, коммунизм рухнул, и СССР распался — не выстояв, главным образом, согласитесь, под градом непрекращающихся и решительных ударов, которыми я его осыпал. Что и говорить, я свое слово сказал, и доброй части того, что я говорил, предстояло стать банальностью. Ну а Россия и тем более российский коммунизм не утоляют интеллектуальный голод того, кто ими занимается. Мое любопытство по существу всегда устремлялось к другим предметам, более интересным, содержательным, привлекательным. Я не исключение: слависты извечно делятся на тех, кого предмет изучения поглотил и переварил, и тех, кого постоянно соблазняют отступления в иные сферы. К тому же от России перекинуто достаточно мостиков, чтобы я мог перейти Березину в обратном направлении. Лекции

о русском авангарде начала века заставили меня взглянуть на проблему божественного образа вообще и иконоборчества. Иные занятия открыли мне в русском романе точку, удобную для взгляда в исторической перспективе на кризис, начавшийся в Католической Церкви в шестидесятые годы. И так, влекомый волей случая, я писал о дореволюционной России, о советской экономике, о сущности коммунизма, о кризисе искусства, о Церкви, о психоанализе, который одно время меня занимал, и даже немного о себе. Что за беспорядок! Что за бессвязность! Что за зигзаги! И как же я восхищался теми эрудитами, что в молодости изберут себе поле деятельности, пашут его и собирают на нем урожай до конца дней своих, чтобы под конец заслужить довольно долгое бессмертие.

Но providение бодрствовало. Оно заговорило устами одного из моих друзей, который заметил, что я никогда не писал ни о чем по-настоящему любимом, а всегда боролся с чем-нибудь, с какой-нибудь идеей, например. Чистая правда. Чем же это объяснить? Тут-то я вспомнил, что я — сын врача, крупного клинициста, главы школы; что я внук врача, по-своему знаменитого писателя острослова; что один из моих братьев и один из моих сыновей — тоже врачи. Измена семейной традиции компенсировалась вполне врачебным интересом к болезням века. Моя специальность, поскольку в конечном счете у меня оказалась специальность, — это историческая патология. При близком знакомстве с русской историей обнаруживаешь в ней из века в век одно и то же болезненное место. На какую точку тела надо нажать, чтобы почувствовать его? Большевик — это тяжелая болезнь души. Как глубоко надо копать, чтобы найти ее корень, ее изначальное семя? Почему, посещая какую-либо Биеннале, мы видим картины или предметы, которые не изображают ни женщин, ни пейзаж и ничего, что можно найти в природе, но распространяют вокруг себя атмосферу тревоги, страха и отчаяния?

Неплохое дело — склониться над постелью больного, но надо еще установить диагноз и, поскольку лечение не в нашей власти, хотя бы определить этиологию. Меня одолевали сомнения. Дух времени моей молодости предлагал марксистские и смягченно марксистские схемы объяснения. В отношении интересовавших меня предметов они никогда не действовали, и, слава Богу, я не пытался повернуть этот громоздкий ключ. Я испробовал психологию моего времени, то есть психоанализ, весьма жизнеспособный в те далекие годы. Его ограниченность не замедлила обнаружиться. Мало-помалу на первый план вышла философия, а в философии — метафизика, потому что, исследуя коммунизм, то есть небытие, а *contrario* приходится обратиться к науке о сущем, как о таковом.

Я продолжаю думать, что в определенной точке своей работы историк должен преобразоваться в философа, поскольку философия и история суть

две стороны одной медали. Но, изучая советскую систему, мы спускались в ад, чьи круги один за другим проваливались в бесконечность, никогда не обнаруживая дна и рождая чувство все нарастающего ужаса. Таково было интуитивное прозрение великих свидетелей явления — русских Замятина, Булгакова, Платонова, Мандельштама, Ахматовой, Солженицына, Зиновьева, англичанина Оруэлла, поляков Милоша и Херберта. Все они перед лицом непомерности зла обращались к богословию как последнему ключику.

Оглядываясь назад, я понимаю теперь, что с первой же моей книги последовал за ними и шел этим путем все сознательнее и сознательнее вплоть до последней — о Церкви и исламе, неизбежно заезжающей в богословие. У меня нет причин об этом жалеть, настолько сей тонкий предмет представляется мне волшебным царством. От Гегеля до Ренана, от Макса Вебера до Гершома Шолема и Пьера Шоню всегда находились великие историки, даже среди самых позитивистски настроенных, которые чувствовали разъяснительную силу богословия. Кстати, одно соображение общего характера всегда подталкивает историка к богословию. Философия обещает вылечить нас и освободить от иллюзий. Это роднит ее с комедией. Богословие родственно трагедии. Сколько книг по истории начиная с Фукидида и кончая Момзеном, не забывая Гишардена, Вольтера, Гиббона, могли бы называться «Declin and Fall» («Упадок и разрушение»). Все века, если рассмотреть их вблизи, исполнены ужасов. Как бы то ни было для человека, близко знакомого с русской историей, первородный грех представляется не столько догматом, в который следует верить, сколько фактом, констатируемым со всей очевидностью. Но осторожно: нет ничего проще, чем использовать богословие не по назначению. Оно — обоюдоострый меч, и не зря иконография рисует апостола Павла с мечом.

Мне преподнесли именно меч — редкой и изящной красоты — XVIII века. Остро отточено лезвие — это не только придворное украшение, но и оружие. По традиции Академии, я выгравировал на ножнах два девиза: Первый девиз — художника Делакруа: «*Dimicandum*» («Надо бороться»). Вырезанный на мече, он кажется простой инструкцией по использованию. Он напоминает мне, что в интеллектуальной жизни воображение, ум и знания тщетны, если добродетель мужества не поддерживает поиск истины и ее распространение. Я знал людей, которые всю жизнь боролись с одним из двух великих монстров века, часто идя против общепринятых взглядов, и умерли в неизвестности, лишь с теми почестями, которые дало им собственное чувство чести. Борис Суварин, Михаил Геллер, Бранко Лазич, Лео Лабедз. *Dimicandum*. Этот девиз должен мне также напоминать, что вступление в Академию не равно приказу о демобилизации.

Второй девиз я прочитал на гербе Колумбийского университета (в 1964-м это был мой университет): «In lumine tuo videmus lumen» («Во свете Твоем мы видим свет»). Это слова из 36-го псалма. Их можно прочитать в полном, максимальном смысле. Я не рискну на полный комментарий. В минимальном смысле девиз значит, что немного богословия не повредит историку. Что до моей смиренной персоны, то я могу засвидетельствовать, что богословие не менее полезно, чем большинство гуманитарных наук. В университетах Англии и Соединенных Штатов по сию пору сохранились, иногда в самых красивых зданиях кампуса, «divinity school». Иногда мне кажется, что наше обучение истории скорее проиграло, чем выиграло оттого, что из Сорбонны удалили факультет, который столько веков был ее сердцем. На прекрасной фреске Пюви де Шаванна, украшающей большой амфитеатр, где аллегорически собраны все науки, странно отсутствие богословия — ищешь его и не находишь.

Быть может, и не надо было вырезать на моем мече двух новых девизов, поскольку его первый хозяин уже вырезал у основания лезвия — «Целомудренные узы любви». Это настолько таинственно. Может, из Бозция? Или тут можно усмотреть галантную фразу в духе XVIII века. Но, как академик, я хочу вернуть этим словам их самый значительный смысл.

Их прямой смысл, ибо вот уже сорок пять лет моя супруга рядом со мною — помощница бдительнее, вернее, постояннее и тверже, чем самый лучший меч. Потому что «целомудренные узы любви» произвели на свет четырех детей и двенадцать внуков. Я замечаю также, что нет противоречия между целомудренными узам любви и моим первым девизом, воинственным «Dimicandum», ведь Жозеф де Местр писал, что «посреди проливаемой им крови воин человекен, как жена целомудренна среди восторгов любви». Но еще совершенней согласие между «целомудренными узам любви» и моим вторым девизом, «In lumine tuo videmus lumen». Это очевидно в отношении интеллектуальной жизни. Этьен Жильсон написал целую книгу, чтобы показать, что музы — от Лауры Петрарки до Клотильды де Во Огюста Конта — могли вдохновлять своих возлюбленных и вести их к свету только в целомудренной любви. Но есть еще один регистр, не столь возвышенный, где согласие двух девизов повседневно, — это просто дружба, целомудренная по определению и рождающая пространство для беседы, обмена мыслями, идеями, шутками. Аристотель утвердил раз и навсегда, что человек может обойтись практически без всего, кроме друзей. Не помнится, чтобы мне их когда-нибудь не хватало, и это не случай, тем более не моя заслуга, а чистое провидение.

*Перевод с французского,
«Русская мысль», № 4210, 19–25 февраля 1998 г.*

ИДЕОЛОГИЯ

Солженицын писал: «Эта всеобщая обязательная, принудительная к всеобщему применению ложь стала самой мучительной стороной существования людей в нашей стране — хуже всех материальных невзгод, хуже всякой гражданской несвободы. И все эти арсеналы лжи... привлекаются как налог в пользу Идеологии: связать, увязать происходившее, как оно течет, и цепкую костистую умершую Идеологию, именно после того, что наше государство, по привычке, по традиции, по инерции, все еще держится за эту ложную доктрину, за ее ответственные заблуждения — она и нуждается сажать за решетку инакомыслящего... Стяните, стряхните со всех нас эту потную грязную рубашку, на которой уже столько крови, что она не даст дышать живому телу нации, крови тех 66 миллионов. На ней — вся ответственность за все пролитое, убеждать ли мне вас, что надо поскорее скинуть ее — и пусть подбирает, кто хочет»¹.

В «Письме вождям Советского Союза» Солженицын почти на каждой странице прибегает к понятию не вполне ясному, но неизбежному, на которое он, вопреки собственной воле, постоянно наталкивается. Это понятие — идеология. И как слово, и как явление она занимает центральное место. С решимостью, которой не доставало его предшественникам, даже Замятину и Оруэллу², он настаивает на том, что неизменно, с 7 ноября 1917 года, сущностью советского режима были не национализация средств производства, не бюрократия, не новый класс, не даже партия, вообще не экономическое, социальное или политическое устройство, а особого рода вера, идеология. Конечно, теперь это даже не совсем вера. Скажем, умышленно упрощая, что это что-то вроде формы сознания, ментальности, мировоззрения³. Именно это он ставит в стратегический центр коммунистического мира. Несмотря на неполноту своей осведомленности и ограниченность анализа, лишь благодаря тому, что

¹ А.И. Солженицын, Письмо вождям Советского Союза, 1974, стр. 39–40.

² Е. Замятин, 1929, G. Orwell, 1950, К этому следует добавить С. Milosz, 1953.

³ Действительно, после захвата власти идеология перестает быть верованием. Она становится эффективной, только если в нее не верят. «Мы - то, отдавая, только притворяемся поневоле» (А.И. Солженицын) Она верование, в которое не верят. Делать вид, что веришь, хотя не веришь вовсе — разрушительно

Солженицын правильно определил место идеологии, ему удалось вывести принцип высшей разумности.

Что надо понимать под словом идеология? Солженицын употребляет это слово в том значении, в каком было принято его употреблять в современном ему «советском» языке. Вслед за ним я буду употреблять это понятие как эмпирическую данность истории, а не как нечто априорное.

Существует советское определение советской идеологии.

Считается, что она соответствует марксизму. В широком смысле слова идеология обозначает совокупность идей и произведений культуры, созданных господствующим классом под его влиянием в других слоях общества. В узком смысле — это система интерпретации, позволяющая оправдать общественную ситуацию и упрочить политическую власть господствующего класса. Идеология может быть истинной или ложной. Ложная является выражением состояния и соотношения интересов, разоблачение которых грозит гибелью. Только пролетариат, интересы которого совпадают с интересами всего человечества, способен создать идеологию, которая будет истинной.

Идеология — не наука, но согласуется с ней. Сегодня осталось лишь две идеологии: все прочие отстали от течения истории. В 1902 году Ленин писал об этом: *«Вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идеология. Середины тут нет (ибо никакой «третьей» идеологии не выработало человечество)»*⁴.

Один из учебников, используемых в СССР, «Краткий философский словарь» ясно излагает их взаимоотношение: *«Идеологией рабочего класса является марксизм-ленинизм. Марксизм-ленинизм — величайшая идейная сила коммунистической партии и рабочего класса в революционном, социалистическом преобразовании общества. Несокрушимая сила этой идеологии в том, что она правильно отражает объективные закономерности поступательного развития общества и служит выражением необходимых потребностей исторического развития в современную эпоху.*

*Современная буржуазная идеология напротив является реакционной силой. Она служит интересам буржуазии в ее борьбе с рабочим классом, с социализмом. Отказ от науки, идеализм, поповщина и мракобесие, проповедь шовинизма и расизма, пропаганда космополитизма — неотъемлемые черты современной буржуазной идеологии.»*⁵

для духа, но в том-то и состоит замысел идеологии. Но это еще не повод, чтобы считать, как это делает Сахаров, что советское общество характеризуется идеологическим безразличием и прагматическим использованием идеологии как удобного фасада (Сахаров, 1974). Связь между идеологией и обществом теснее, нежели та, которая предполагается простым прагматизмом.

⁴ Ленин, Что делать? 1948. т. I, стр. 296.

⁵ Краткий философский словарь, 1955, стр. 262.

Марксизм-ленинизм, таким образом, дает видение духовного мира, который представляется разделенным на две конфликтующие идеологии. В самом деле, ложная идеология не исчезнет сама собой перед светочем истины, то есть перед идеологией пролетариата. Эти две идеологии ведут между собой ожесточенную борьбу. Марксизм-ленинизм отождествляет себя с одной из этих идеологий и, по причинам внутренним по отношению к доктрине, выдает себя за критерий истины. Почему марксизм-ленинизм верен? Потому, что он — идеология рабочего класса, который, согласно марксизму-ленинизму, не может ошибаться. А что если рабочий класс отстает от ленинизма? Это значит, что он попал под влияние буржуазной идеологии.

Снова, так что же такое советская идеология? Для Солженицына идеология не теоретическое понятие, а нечто гораздо более конкретное. Это — повседневная реальность, которая давит на него и на его соотечественников. Идеология — это марксизм-ленинизм, диамат⁶, такой, каким его преподают школьникам, студентам, ответственным работникам, — всем на свете. Цензура и органы безопасности следят за тем, чтобы ничто не входило в явное противоречие с ней. Идеология выдает себя за сумму всех книг по философии, истории, экономике. Она контролирует все художественное творчество. Она в праве надзирать за всеми науками, как общественными, так и естественными: их результаты ни в коем случае не могут ей противоречить. Она наложила отпечаток и на повседневную речь. Она структурирует общество, а общество, принимая ее, делает все, чтобы она была воплощена.

Но здесь открывается странный факт. Как система идей советская идеология крайне проста. Даже «Краткий философский словарь» ее исчерпывающе излагает. «Азбука коммунизма» Бухарина и Преображенского, появившаяся в 1919 году, — ее полное изложение.⁷ «Диалектический и исторический материализм», изданный Сталиным в 1938 году, содержит ее всю.⁸ В 1958 году были опубликованы «Основы марксистской философии», написанные коллективом видных идеологов, годом позже — «Основы марксизма-ленинизма». Они полностью осветили вынесенные в заглавия темы. Тут ни прибавить ни убавить, не считая разве что того, что изменившиеся обстоятельства и состав правящей группы заставляют замалчивать имена и события, которые приняли нежелательную политическую окраску. Смысл остается прежним. До сих пор появляются учебники такого типа, как «Принципы научного социализма» или «Научный коммунизм», содержание которых не ме-

⁶ Сокращение для обозначения диалектического материализма.

⁷ Н. Бухарин, Е. Преображенский, «Азбука коммунизма».

⁸ Опубликовано как параграф второй главы четвертой «Истории ВКП(б)». То, что Сталин не является лично ее автором, что вполне вероятно, значения не имеет.

няется. Эти книги выдаются иногда за «популярные» или «элементарные» изложения. Но более высокого уровня не существует.

Так что же, советская идеология — тривиальная система, простенькая до такой степени, что сами советские люди лишь притворяются, что принимают ее всерьез? Как случилось, что она одновременно совершенно пуста и абсолютно всесильна? Как это ничто или почти ничто смогло стать жизненным центром всего коммунизма? Солженицын своим точным глазом определил ее как опору и фундамент режима: уберечь ее, и он развалится. Таким образом, проблема смещается к новой загадке: оказывается, идеология не сводится к системе идей. Она и есть сам советский режим. Она не определяется и не может быть описана с помощью перечня тех идей и предложений, которые ее составляют. Она — нечто иное.

Эта проблема советской идеологии интересует современных социологов и философов. Решения, которые они предлагают, можно разделить на две группы.

Одни считают марксистско-ленинскую идеологию частным случаем явления, сопровождающего человеческую историю с очень давних пор. Это, к примеру, — точка зрения Манхейма и марксистов неленинского толка.⁹ С этой точки зрения марксистско-ленинская идеология не противостоит всем предыдущим. Она входит в их число. Она справедлива или несправедлива в той же степени, что и другие. Она выполняет те же функции маскировки, оправдания и т.п.

Определенная таким образом идеология неотделима от политического конфликта, существующего с тех пор, как человек живет в обществе.¹⁰

Другие, напротив, советскую идеологию в том виде, в каком она функционировала в течение 60 лет, считают новым историческим пространством. Она — новый биологический вид, до сих пор не классифицированный и не описанный, который потряс наш век, как кони конкистадоров некогда поразили ацтеков.¹¹

Я полагаю, что второй взгляд более верен историческому опыту, нежели первый, который пытается вырвать диамат из вневременного контекста и игнорирует многочисленных свидетелей, утверждающих, что они живут в совершенно ином пространстве, до сих пор в этом мире неведомом.

⁹ K. Mannheim, 1936. K. Манхейм, М., 1994.

¹⁰ J. Baechler, 1976. См. его определение идеологии на стр. 60.

¹¹ Существуют и другие направления исследований. В частности то, что стремится описать феномен идеологии в терминах психологии. Например, J. Gabel, 1952, 1962, 1974. Правда, к психиатрии он примешивает социологию в духе Лукача, что дела не упрощает. В настоящем исследовании я подхожу к вопросу не с этой точки зрения.

Это — разные логические действия: рассмотрение советской идеологии, как части идеологии вообще, и признание ее непреодолимой оригинальности, за которым следуют попытки найти исторические параллели и прецеденты. В первом случае феномен помещается в уже известный контекст, во втором — его начинают исследовать как независимый и пересматривают всеобщую историю в поисках истоков, зарождения и причин его появления.

Рассмотрим этого нового зверя. Если мы исследуем его в чистом виде, таким, каким он предстает нам в трудах своего создателя, Ленина, мы заметим, что он располагает двумя чертами, которые обычно существуют раздельно, и которые здесь тесно переплетены. С одной стороны, это — вера, с другой, — разумно обоснованная и аргументированная теория, претендующая на свою доказанность. Как вера, она более структурирована, чем предвзвешенные, разнообразие, смутные и туманные; или чем религии, которые охватывают лишь часть сущего мира и не нуждаются в полной самоотдаче. Она и не политическая программа, которая действует в ограниченном пространстве и не претендует на столь строгое разделение на друзей и врагов. Как теория, она отличается от движения мысли, которое может быть систематичным и ясным, но которое никогда не требует соответствующего поведения, абсолютного согласия приверженцев, и, как правило, их столь страстного отношения к себе.¹²

Когда Ленин пишет: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Оно постоянно и стройно, давая людям цельное мирозерцание...»¹³, мы видим полюс «веры» в идеологию. Когда он пишет: «Со времен появления «Капитала» — материалистическое понимание истории уже не гипотеза, а научно доказанное положение»,¹⁴ — мы видим полюс рационально доказанной теории. Однако это еще не точно, поскольку Ленин считает, что в первом пассаже выдвигает теоретически очевидное, а во втором, — он совершает акт веры. Нельзя разделить эти два аспекта.

Из этого описания идеологии как явления сложного и на первый взгляд противоречивого можно вывести необходимое условие для поиска истоков и исторических аналогов.

Поскольку идеология — вера, то надо искать среди религий; поскольку она — теория, то среди рациональной мысли, философии и науки. Но она не сводима ни к одному, ни к другому. В процессе следствия обнаруживается, что она противопоставлена и науке и религии; она оказывается, в аристотелевском смысле, продуктом их распада.

¹² E. Schils, 1968.

¹³ Ленин, «Три источника и три составных части марксизма» 1948, т. I, стр. 63.

¹⁴ Там же, «Что такое дружба народа», стр. 94.

Главная путаница, которая мешала и мешает понять советскую идеологию, происходит оттого, что она ставится в один ряд либо с религиями, либо с философскими течениями.

II

Философское происхождение советской идеологии кажется естественным, так как она, определяя свои позиции, говорит о разрыве с религией. Судя по учебникам, она признала своими прославленными предшественниками большую часть античных философов (Гераклита, Демокрита, Эпикура, Лукреция), философов Возрождения и Просвещения (Бэкона, Декарта, Гоббса, Спинозу), энциклопедистов, наконец, Гегеля и Маркса. Кроме того — всю науку. Таким образом, она претендовала на то, что вобрала в себя всю историю развития человеческого разума, получив его как «законное» наследство.

Можно отрицать эти претензии, но нельзя исключать марксизм-ленинизм из истории мысли, в противном случае мы рискуем совершить много ошибок.

Самой страшной из них было бы признание ее философией, ложной, плохой, какой хотите, но философией. Так Лосский и Зенковский, авторы двух «Историй русской философии», посвятили по главе диалектическому материализму¹⁵. Бросается в глаза, что эти главы не входят в историю философии, они оказываются чужеродными. Анри Шамбр, автор дотошный и уважительно относящийся к написанному, создал труд «Марксизм в Советском Союзе», где он изучал по официальным текстам концепции права, «дружбы народов», политической экономии, опираясь на теорию Маркса и отмечая совершенные в ней изменения¹⁶. Он наблюдает, как изменяются идеи Маркса или философов Просвещения, например, в области экономики, от работ Бухарина до последних заветов Сталина. Он предполагает, что между марксизмом-ленинизмом и его авторами существует такое же отношение, как между Марксом и его «Капиталом». Точно так же, он предполагает, что соотношение между советской идеологией, произошедшей от Маркса, и советским обществом аналогично отношению, существующему между французским обществом и республиканскими идеями, порожденными французской революцией. Подобные смещения равновесия разрушают все построение: чем больше эрудиция автора, тем быстрее книга теряет связь с реальностью. Неуместно философски спорить с идеологией, даже ради ее разоблачения, поскольку идеология чужеродна философии и не может быть опровергнута ею¹⁷. Идеология же

¹⁵ Н. О. Лосский, 1954, Б. Зенковский, 1953.

¹⁶ Н. Chambre, 1955.

¹⁷ Такая же ошибка, связанная с искажением перспективы, у G. Wetter, 1965.

всегда стремится к «диалогу», где она становится в один ряд с философией, тем самым приобретая законность.

Другие, более здравомыслящие авторы подозревают разрыв и отделяют идеологию от философии. И в этом случае существует два возможных пути. Либо обращают внимание на катастрофический результат развития идеологии и демонстрируют незаконность ее претензий на родство с философией. Тогда считают, что до какого-то момента все шло правильно, но в некоей точке эволюции было совершено предательство, из-за которого произошли разрушительные отклонения. Для Костаса Папаиоанну перелом произошел после Маркса, а то и после классической социал-демократии Каутского и Плеханова¹⁸. В его «Холодной идеологии» путь пролегает от высокой мысли (Маркса) до идеологии (Сталина). Именно так выстраивается эволюция. Однако его попытка полностью освободить от ответственности философию, стоящую непосредственно у истоков катастрофического провала, совершенно неправдоподобна. В истории философии не было Непорочного Зачатья.

Либо — это второй путь — преемственность признается законной, но это приводит к представлению о едином процессе истории философии, как о ведущем к непредотвратимой катастрофе, истоки которой отодвигаются все дальше и дальше. К несчастью детей причастны отцы. Мы углубляемся в историю, и вот уже Гегель, Кант, Декарт, номиналисты вызваны к следователю. Русские славянофилы, Киреевский и молодой Соловьев, были виртуозами последовательных обвинений и судов над Фомой Аквинским, Блаженным Августином, Аристотелем¹⁹. В этом случае надо вернуться к первородному греху философии, портящему все древо. В одних случаях, авторы приходят к утопии минувшего золотого века философии, в других — к пессимистическому взгляду на основополагающую порочность нашей мысли вообще, все кончается в стиле Буvara и Пекуше, объявлением Гегеля или Декарта «причиной всего».

Кажется, можно избежать сложностей этих двух путей, предположив, что между идеологией и развитием философской и научной мысли нет никакой видовой преемственности, на которую первая претендует. Налицо мутация. Чтобы состояться, идеология вырывает определенные мысли из контекста их исторического развития и принуждает их к новому служению. Таким образом, нет преемственности, ни законной, ни незаконной, которая сохранила бы в процессе изменений философскую сущность. Налицо появление нового вида, который приспособливает обрывки старых интеллектуальных построений, служащих для него сырьем, которому он придает свою

¹⁸ К. Папаиоанну, 1967.

¹⁹ В. Соловьев, 1947. Позднее Соловьев сумел поправиться.

форму. Именно так можно избежать цепи судебных процессов, поскольку эти обрывки лишь материально ответственны за то, что несли в себе те элементы, которые были использованы этим новым видом. Моральной ответственности они не несут.

То, что было сказано о философии, в еще большей степени подходит к науке. Маркс настаивает на своей преемственности по отношению к Дарвину. Ленин тоже (как, впрочем, и Гитлер). Путешествие на борту корабля «Бигль» не более чем какое-либо другое событие, важное для науки, не может нести ответственность за идеологию, несмотря на то, что последняя требует признать себя его законной наследницей.

Соотнесение советской идеологии с историей религии может быть делом только рук врагов советской идеологии, поскольку она покончила у себя и обещала повсюду и всем покончить с религией. Но для современников Сталина фидеистические, культовые, догматические аспекты идеологии были столь очевидны, что сравнение со «средневековым» христианством, «инквизицией» и т.п. напрашивалось само собой. Жюль Монеро говорил о ней, как об «Исламе XX века»²⁰. Раймонд Арон предлагал выражение «светская религия», и одну из глав книги «Опиум для интеллектуалов» он называет: «Люди церкви и люди веры»²¹.

Существующие аналогии слишком многочисленны и глубоки, чтобы можно было их здесь рассмотреть. Не случайно Надежда Мандельштам сравнивала советскую идеологию с «Церковью наизнанку», и объектом этой инверсии в первую очередь оказывается римско-католическая церковь, а не православная или протестантская²². В конце концов, Достоевский в «Великом Инквизиторе» имеет в виду именно католическую церковь, а читатель нашего столетия думает о советском режиме. Однако, если Великий Инквизитор обменивал свободу на хлеб, то предугаданный Достоевским советский режим не смог отбить у своих подчиненных жажду свободы, тогда как своей системой наказаний вкус к хлебу потерять заставил.

Между тем, идеология — это не религия, даже не «светская религия». Одного единственного формального признака достаточно для того, чтобы исключить идеологию из группы религий, с которыми она обычно сравнивается. Этот признак касается акта веры. Классическая поговорка гласит, что одно и то же и в равной мере не может быть одновременно объектом знания и веры. В момент жертвоприношения *Авраам верил в то, что ему говорил Бог*. Перед пустым Гробом Иоанн *уверовал*. В Коране, как и в Библии,

слово «верить» означает полагаться, доверять. В основе религий, построенных на вере, лежит сознательное неведение. Авраам, Иоанн, Мухаммед знали, что не знали. Они знали, что верили. Когда Ленин заявлял, что материалистическое понимание истории не гипотеза, а научно доказанная теория, это была, безусловно, вера, но которая казалась ему обоснованной, исходящей из опыта. В основе идеологии лежит знание. Ленин не знал, что верил, он верил, что знал.

III

Тем не менее не история философии, а история религии может дать прецеденты идеологии. В самом деле, та же формальная черта, которая отделяет идеологию от религии, выделяет внутри религий, основанных на вере, образ мысли, который, очевидно, сближается с идеологией. Это образ мысли гностиков. Гностицизм — не совершенная модель идеологической мысли, но единственная, которая может считаться историческим предтечей последней. Несмотря на то, что идеологический вид совершенно новый, и кажется, заключенный в границы современности, его полезно, однако, связать, пусть даже косвенно, с феноменом, опыт переживания которого есть у человечества. Очевидно, что между гностицизмом и идеологией нет преемственности. Ленин бы расценил как сумасшествие то, что его связали с традицией Валентина Египетского или Мани, о которых он, конечно, едва слышал. Здесь следует понимать *п р е ц е д е н т* как аналогичную структуру рассуждений, похожее устройство сознания (какой именно будет мысль — не важно). Я покажу позже, что другая формальная черта устанавливает различия между гностицизмом и идеологией. Но, пожалуй, стоит рассмотреть несколько детальней феномен гностицизма, который, несмотря на значительную временную удаленность от объекта моего исследования, дал ему несколько направляющих идей.

Возможно, гностицизм как образ мысли появляется рядом со всякой религией, то есть всякая религия может подвергнуться «гностической» трансформации. Но как определенный исторический феномен он берет истоки в начале христианской эры, в кругах иудео-христианских сект. Гностицизм злонамеренно зарождается в языческом климате, где божественное еще не объединено и не отделено от мира своей трансцендентной природой, и где религиозная принадлежность не определяется, стало быть, актом веры. Но кристаллизуется это учение уже в условиях монотеизма, и тем лучше, что знание, со своей стороны, переживает тот же процесс объединения и унификации. Гностицизм преследует, как тень, поздний иудаизм и зарождающееся христианство, а позже и ислам; и эта тень их никогда не покинет.

²⁰ J. Monnerot, 1949.

²¹ R. Aron, 1955 (a), гл. IV, и он же 1955, (b) стр. 80.

²² Н. Мандельштам, 1974, стр. 18.

Гностицизм возник не как единая доктрина, а как россыпь систем, исповедуемых малыми группами, на расплывчатых границах формирующихся ортодоксий (если им самим не приходилось развиваться на периферии гностических учений). Всплеск социализма в Июльской Монархии может позволить нам представить себе подобную ситуацию. Но в поисках прецедентов идеологии несколько общих тем кажутся нам интересными.

Сначала острое осознание упадка и мира, и личности, сопровождаемое бунтом против этого. В мире добро и зло (свет и тьма) — два непримиримых начала, были бессмысленно перемешаны событием, противоречащим основной цели этого мира. Но наше внутреннее восстание против зла — источника страдания «*в то же время — доказательство нашей первородной причастности к совершенному добру, которое противостоит злу*»²³. То есть в нас есть добро, оставшееся от прежнего состояния, нам предстоит освободить его от скверных плевел, которые его обволакивают, и за которые мы не несем ответственности. Из этого следует, что грехопадение и искупление мира и человека — это две истории, вложенные одна в другую. Мир погряз в грехах прошлого, но элементы добра, заключенные в зле (в материи, во времени, в половых различиях и т.д., — во всякой скверне), вырвутся и вернуться к тому первоначальному замыслу, о котором мы храним лишь смутные воспоминания. Отныне избранные могут сами различить в себе добро и зло. То есть существуют два цикла избавления. Первый — для избранных: это личное спасение, которое может осуществиться *hic et nunc*. Второй цикл — выкуп всех остальных элементов добра, разбросанных во вселенной, который совершится в момент конца света.

Средство этого двойного спасения — Гнозис, т.е. знание. Это «теоретические» знания космических законов и структуры макро- и микрокосма (человека). Это и «историческое знание» об эволюции космоса, о его изначальном состоянии, о причинах и обстоятельствах краха, о пути искупления, позволяющее уверенно предсказать его конечное состояние. Это и «практическое знание», которое указывает на средства помочь двойному спасению и направляет избавительные действия избранника. Однако о содержании «гнозиса» не было единого мнения: знание было разрозненным.

На начальной стадии формулировки догматики, на которой находились тогда иудаизм и еще очень связанное с ним христианство, было не легко определить границы правоверия. Гностики были уверены в своей правоте и потому подтверждали ее обширным цитированием Писаний. Со своей стороны правоверные считали христианское таинство подлинным «гнозисом»,

²³ J. Doresse, 1972, стр. 380.

противопоставляя его ложному гнозису. Мало-помалу аргументы были найдены, и противогностическая полемика обрела свои основные темы.

Гностиков обычно упрекали в том, что они преувеличивали возможности человеческого познания, претендуя на понимание главной тайны космоса и истории. Этим они обесценивали божественное величие. Веру в Слово Божье, данное в откровении, они заменили верой более глубокой, чем откровение, поскольку в ее основе, как они считали, лежит разум. Этот разум более глубокий, чем просто разум, поскольку он выдавал себя за преобразующее озарение. Таким образом гностическая теория, в конечном счете, была верой в себя; полусознательной подменой собственного суждения на данное в откровении.

Особенно правоверные обвиняли гностиков в подмене конкретной истории подспудной, которая фактически уничтожает первую. Например, Страсти Господни были лишь символом действительности: текст обнаруживает подтекст, и только последний интересен и истинен. Голгофский Крест был по сути лишь символом космического креста, образованного пересечением эклиптики и небесного экватора. Все Писание, таким образом, прочитывалось символически, т.е. явный текст (или буквальный смысл) теряется перед скрытым текстом (символическим смыслом), который и был доказательством гностической системы. Ход вещей во времени, исторические неповторимые события искупительной жертвы были заменены последовательностью символов, разбросанных в вечности. Можно сказать, что реальная история была уничтожена новой аллегорической интерпретацией.

Но именно мораль представила иудейским и христианским правоверным наиболее надежный пробный камень.

По мнению гностиков, зло носит внешний характер по отношению к человеку. Втянутый в космическую борьбу, масштабы которой его превосходят, человек не ответственен за ее исход. Он не волен собой распоряжаться: им манипулируют добрые и злые силы, которые друг у друга оспаривают его и которые не ведомы ему. Грех, если таковой и существует, — не вопрос личного выбора, просто человек порой объективно оказывается на стороне сил зла. Из этого вытекает справедливое наказание для души, даже если она не знает, где — зло. Как писал Секундинус Блаженному Августину: «Не за то, что согрешила, она наказывается, а за то, что не страдает от того, что согрешила»²⁴. Грехи творят лишь по неведению.

Знание положило этому конец. Оно разбудило душу, дало ей истинное сознание ситуации, и позволяет ей выбирать свою сторону. Таким образом развивается гностическая мораль. Она колеблется, в зависимости от систем,

²⁴ Блаженный Августин, 1961, стр. 513.

между двумя противоположными, но эквивалентными позициями: или строгая аскеза с целью изнурения плоти (т.е. уничтожение зла как такового) или, куда реже, распутство, толкающее плоть к свойственным ей порывам, что тоже могло быть действенным способом ее уничтожения. Однако важно не поведение, а принцип этой морали. В самом деле, она противопоставляет себя одновременно и грекам, и иудеям, и христианам, по мере того, как критерии добра и зла перестают быть универсальными и становятся достоянием доктрины. Нет *истины* в себе. Истина подчинена исполнению космического замысла, каким он открывается гностикам, т.е. их теории. Соответствие добру, таким образом, не устанавливается соответствием справедливости, а соответствием поведения космическому замыслу. Здесь гностицизм отделяется от религии. Поэтому Плотин обвиняет его в том, что он отвергает добродетель²⁵.

Наиболее яркий пример гностической системы, по словам Пуэша, — манихейство. Оно наследует предшествующему гностицизму, усугубляет его и сплавляет в единую систему. Оно организовало всемирную церковь, адепты которой распространились за несколько лет от Гибралтара до Китая. Невозможно удержаться от мысли о том, как марксизм-ленинизм объединил, систематизировал, кодифицировал богатое разнообразие современных ему интеллектуальных течений, чтобы внезапно распространиться по всему миру.

Предполагается, что откровение Мани — ясное, непосредственное, полное выражение истины, вселенского гнозиса, абсолютного знания²⁶. Эта система верна общей, основной схеме тех, кому она наследовала. Она представляет себя в качестве одновременного знания Божественного предназначения, космоса и себя самого. Она проявляется в единой науке о вещах божественных и земных, где все (и физические феномены и исторические события) находит свое объяснение. Космология и теология сводятся к единому знанию, которое обретает вид рационального и старается быть всеобщим²⁷.

Основная схема уже известна. Есть два принципа (добро и зло, свет и тьма, дух и материя), смешение которых воспринимается как мучительное состояние. Есть три времени: прошлое, в котором было идеальное разделение двух субстанций; настоящее, в котором произошло и существует смешение; будущее, когда первоначальное разделение будет восстановлено. Быть манихеем — это исповедовать два принципа и три времени. Из этого вытекает дуалистическая география: два принципа задуманы как две области, разделенные более или менее идеальной, постоянно передвигающейся границей, и

симметрично противопоставленные. Область добра — на севере, область зла — на юге. Два лагеря, две области, три времени — мы наблюдаем в ленинизме похожую классификацию.

Но где манихейство особенно настоятельно требует проведения аналогий с современными реалиями, так это в том, что касается *нового человека*.

Стремящийся к спасению мир и человек, как часть мира, представляют собой смесь. Каждый человек содержит, таким образом, Я изначально и по существу чистое, но которое надо очистить от нынешнего нечистого состояния, в котором склонность к дурному перекрывает или угрожает истинному Я человека. В послании св. Павла битва в нас разворачивается между старым и новым человеком. Для гностиков «старый» человек — это душа пассивная, неведающая. Новый человек — это душа, занимающая активную позицию, спасенная; ей было дано пробудившее ее сознание, и она отошла от состояния смешанности.

Человек тем самым неотрывен от мира. И мир им, безответственным, руководит. Но из-за своей способности знать человек может стать центральным объектом процесса спасения. Над ним разыгрываются судьбы мира и даже самого Бога, источника света и Спасителя, частично заключенного в Материю, которая также должна быть спасена. Человек становится, таким образом, по выражению Пуэша, «колесиком и винтиком вселенской машины, производящей искупление»²⁸.

Это спасение начнется с нового осознания самого себя. Чистое Я, воспринятое таким образом, потребует осуществления своего освобождения. Речь идет о том, чтобы провести в себе разделение двух субстанций, смешанных недостойным образом, и осуществить в себе этот «апокатастас», который будет для космоса и спасенного человечества, вместе взятых, окончательным в конце времен.

Знание, как утверждают гностики, всегда присутствовало в мире. На протяжении всей истории периодически появлялись пророки, приносившие по очереди избавительную истину. Другие, напротив, служа inferнальным силам, повсюду сеяли ложь. Двойная цепь проходит по всей истории человеческой мысли и делит ее на традиции света и тьмы. Даже среди тех, кто исповедовал истинный гностицизм, знание понималось неоднозначно. Поскольку знание включает и мораль, и предписание, среди адептов существовало две модели поведения, отличные друг от друга и неравновесные. Простые последователи довольствовались минимальным не слишком строгим режимом²⁹. Но Совершенные, обладающие более полным знанием, призваны полностью

²⁵ Плотин, «Эннеады» II, 9, 15.

²⁶ Н.-С. Puech, 1972, стр. 538.

²⁷ Таким образом существует некое тождество познанный и познающего, и в том и состоит акт приобщения к гнозису и его приятия.

²⁸ Н.-С. Puech, 1972, стр. 575.

²⁹ «Письмо Секундинуса Блаженному Августину»; «Не за добродетелью идет толпа». Блаженный Августин, 1961, стр. 519.

сообразовывать свое поведение с тем, что следовало из знания. Церковь манихеев не уравниательная. Адепты делятся на два класса: те, кто способны и достойны получить все, и те, кто получал только часть благодати и власти, которые давал Гнозис. С одной стороны, посвященные, с другой — кандидаты, состояние которых остается несовершенным.

Совершенные очень точно определяются как профессионалы всеобщего спасения. Неважно, какими действиями оно достигается: обрядами, постами, воздержанием, умерщвлением плоти — важно создать не столько мораль, сколько технику, практическое применение которой позволит осуществить гностическую теорию, превратив ее в Спасение.

Понятие греха для Совершенных приобретало, таким образом, совсем иной смысл, чем для христиан и иудеев. Манихеи исповедовались. На что их противники возражали: в чем же можно исповедоваться, если нет свободы выбора? За ошибки ответственно не Я, а таинственные хаотичные силы, внешние по отношению к этому Я. Грех сравним с заражением, с болезнью, с порчей. Но, благодаря озарению, душа не совершенно пассивна. Над душой и имманентно ей есть нус, разум, сознание. Разбуженное гнозисом, сознание может благодаря его присутствию оттолкнуть искушение и остановить натиск возрождающегося зла. Как писал Фортунат: *«Именно потому, что мы грешим, вопреки себе, и потому, что мы подвергаемся принуждению субстанции, которая противоположна и враждебна нам, мы достигли науки о сути вещей. Преуснев в этой науке и утятя память прошлого, душа узнает, где она берет исток, и в каком зле она погрязла...»*³⁰ С того момента, как душа озарена, она знает, что есть добро и зло; обращаясь и познавая себя, она автоматически отстраняется от всего чужеродного. Она знает в то же время свои обязанности и возможности. В этом случае ей, в принципе, обеспечена победа³¹.

Исходя из этого понятно, чему служит исповедь: она служит осознанию себя по-новому, в соответствии с доктриной. Согрешить, это, по сути, — забыть, разучиться. Это значит не захотеть или не смочь бороться со злом, используя возможности разума, предоставленного преображенной душе. Исповедаться — это вновь научиться, пересмотреть себя. В этой исповеди речь идет не столько о грехе, сколько об ошибке, не столько о раскаянии, сколько о самокритике.

Искушение гностицизма подкрепляется двумя мощными и вечными склонностями человеческой натуры. Теория гностиков обещает человеку (ко-

³⁰ «Contra Fortunatum» 20, 21, *Блаженный Августин*, 1961, стр. 167.

³¹ «Письмо Секундинуса Блаженному Августину», *Блаженный Августин*, 1961, стр. 513.

торый, как говорил Аристотель «жаждет знать») знание. Это всеобщее объяснение, разрешающее все вопросы, способное все увязать. Проявления трансцендентного, физические феномены и исторические события получают свое место и трактовку. Даже фазы луны объясняются борьбой двух принципов. Тем не менее, как прекрасно заметил Солиньяк, *«речь здесь не идет о рациональной науке, в том смысле, что каждое утверждение должно быть точно доказано, но о высшем знании, о разуме, в котором каждый элемент понят в общей взаимосвязи. Подобная доктрина должна быть абсолютной в своем догматизме: она исключает всякую критику, поскольку либо ее «принимают», и тогда не одного вопроса больше не возникает, либо ее не принимают, и тогда все здание рухнет в один миг»*³². Это замечание показывает, чем знание гностиков отличается от знания метафизического. В греческой традиции знание строилось как постепенное, от чувственного до разумного, а по ту сторону знания был непостижимый центр, где располагался Бог Платона, Аристотеля, Плотина. Трансцендентность Бога Израиля сохранила это положение, можно сказать центристичности знания. То есть, существует множество различных знаний, ориентированных к центру, но никогда его не достигающих. Знание гностиков, напротив, занимает центральную позицию. Исходя из абсолютного знания, поставленного в центре, как если бы гностики находились в самом божественном разуме, они логично выводили частные знания. Воистину, ничто не избежит взгляда из центра, на основании которого устанавливают в центробежном порядке унифицированные знания обо всем. В некотором смысле манихеи не ошибались, когда ощущали в себе очень глубокое изменение состояния: это чувство приобщенности ко всему и вся действительно делало из них новых людей. Вместо того чтобы быть пониженными Светом, они были лишь охвачены гнозисом, который утверждал, что он и есть свет. Отрицая наличие свободного выбора, они, возможно, обнаружили новую психологическую правду этой охваченности знанием. Это была новая тюрьма, которую они называли освобождением.

Возможно, у них вправду было желание избавиться от внутреннего зла, от виновности, от двойственности и их сопровождающих страданий и запретов. Все это выплескивалось наружу, проецируясь на внешние события, на злое, во всем повинное начало, которое можно было обуздать с помощью разума.

Многие черты гностицизма очень напоминают советскую идеологию. Я преднамеренно подчеркнул и отобрал то, что могло создать почву для сравнения: объединение всеобщей космологии с сотериологией, пересмотр истории, мораль, содержащаяся в доктрине, и берущая свои критерии в ней же.

³² A. Solignac, предисловие к «Исповеди» Блаженного Августина. *Блаженный Августин*, 1962, стр. 125.

самокритика как повышение квалификации в области системы толкований, соотнесение человека с его вкладом в дело спасения, резкое разделение между активистами и массами (активисты, носители знания, аскеты, профессионалы, избавленные от обычных жизненных задач), гео-историческое разделение на две области (на онтологически обреченную и на спасенную).

Сравнение не может быть продолжено. Оно убедительно только если мы ограничимся рассмотрением основных схем рассуждения, состояния ума, возможно, психологического устройства. Если же углубиться в детали доктрины, то сходство пропадает.

Древние гностические теории походили на сложные философские романы, с их многочисленными небесными персонажами. Космогоническая история разворачивалась как хроника, из отдельных эпизодов, а интрига варьировалась в зависимости от школы гностиков. Поскольку она эклектически заимствовала современные ей направления мысли, она перемешивала и изменяла составные части. Поскольку у нее была склонность к всеобщности, она бесконечно усложнялась, для того, чтобы объяснить все то, что требовало объяснений³³. Но эти разъяснения всегда сохраняли форму мифа, даже если миф и пытался казаться разумным, считал себя рассудочным. Именно эта мифологическая составляющая образует непреодолимую пропасть между гностицизмом и современной идеологией.

Ведь гностицизм остается в тесной связи с религией, которой он и питается. Правоверие обвиняло гностицизм в том, что он с помощью малозаметного искажения подменял веру убеждением, которое находило опору в себе самом (а не в невидимом Боге). В то же время гностицизм паразитировал на религии, позаимствовав у нее свой язык, свои теоретические построения, свои методы толкования. Более того, он преувеличил религию, преподнося себя как ее форму, но наиболее чистую и высокую. Это было очень тяжело опровергнуть, так как гностицизм выдавал себя за религию, будучи на самом деле совершенно иным. Его редко удавалось поймать на ереси, хотя он представлял собой наиболее значительное отклонение, разрушающее саму основу религии. Поэтому правоверие боялось гностицизма больше, чем ереси, и было безжалостно к нему на протяжении всей истории настолько, насколько только могло. Оно опасалось гностических убеждений, более неискоренимых, нежели вера, поскольку стойкость в самых жестоких истязаниях — один из способов предпочесть себя тому, что тобой не является. Конечно, правоверие чувствовало, что гностическое извращение угрожало и ему само-

му каждый миг изнутри, даже незаметно для него самого, поскольку гностицизм — это не столько определенная догма, сколько отношение к ней.

Зато эта связь с религией могла заражать гностицизм и, обманным путем, его выправлять. Так как, если религия была нечиста от гностицизма, то и гностицизм не был неповрежденным религией. Когда гностицизм организовывался в церковь, со своими книгами, ритуалами, иерархией, когда он становился верой масс, извращенные аспекты стусевывались, и он превращался в еще одну религию. Это то, что произошло с поздними манихеями и мандеями³⁴. Космологические доктрины, несмотря на их желание быть рациональными, не были более доказуемыми, чем догмы. Они должны были обратиться к элементам веры, которые были (хотели они того, или нет) религиозными. Именно религиозными упражнениями Совершенные способствовали спасению мира, а не реорганизацией светского мира. Гностицизм не развился в политическую партию. Гностики не стремились немедленно оказаться у власти.

От Античности до Возрождения иудаизм, христианство, ислам должны были сдерживать неоднократные приступы гностицизма. Тотчас с появлением богомилов и катаров правоверие применило чрезвычайные меры. Когда появилась Каббала, с ней надо было сразу войти в сделку: приручить, создать для нее место. Самой большой опасностью было не распознать новый приступ, так как в этом случае правоверие рисковало само незаметно стать извращенным. Но как только он локализовывался, он переставал представлять собой смертельную опасность, он становился другой религией.

Таково радикальное отличие гностицизма от идеологии: последняя использует не религиозную аргументацию, а опирается на уверенность совершенно нового типа — на научную.

Современная идеология не вписывается в традиции гностицизма. К тому же нет уверенности, что такая традиция вообще существует; скорее речь идет о периодическом возобновлении духовного состояния одного и того же типа в разных исторических условиях, без памяти и без осознания преемственности своих мыслей.

Идеологию можно рассматривать и как форму, которую принимает гностическая позиция в присутствии современной науки. Гностицизм может быть сравнен с тем веществом, которое присутствует при химической реакции, не вступая в нее, но без которого реакция не происходит.

³³ Плотин был этим шокирован: «Перечисляя количество познавших, они считают, что на этом основании им поверят, будто они открыли точную истину. Однако само это множество уподобляет природу познаваемую природе чувственной и низменной: к познанию же следует подпускать как можно меньшее чис-

ло людей» (II, 9, 5). Иначе говоря, объяснение оказывается столь же неисповедным, что и сложность реальности, чьим воображаемым и бесполезным двойником оно становится. Это ведет к бессмысленному дроблению.

³⁴ К. Rudolph, 1972.

Современная идеология не смешивается с наукой. Она с ужасом отбрасывает позитивизм, который отрицает философию («Отрицание философии есть в действительности уловка буржуазных философов, пытающихся пропихнуть идеализм в науку»³⁵). Она объявляет себя научной философией. Но слово наука, так как оно употребляется («открытие и объяснение объективных законов явлений...»³⁶), означает то, что родилось под этим названием еще в XVII веке. Вот что предоставляет нам *terminus a quo*: идеология не может родиться до того, как современная наука не сложится и не приведет к безусловным и наглядным успехам. Именно так понятая, наука становится основанием уверенности идеологии в себе, что придает ей психологическую значимость. Идеология — это форма верования, в котором больше нет ничего религиозного, и она всеми силами отрицает, что она является верованием.

Историю идеологии можно сравнивать с разными последовательными состояниями, которые принимают некоторые паразиты, проходя извилистый жизненный цикл, необходимый для их развития. Надо, например, чтобы паразит побывал в речном моллюске, чтобы потом оказался в баране, и наконец зафиксировался, не без ущерба, в теле человека, откуда паразит вернется в реку, всякий раз изменяя свою форму.

Прежде, чем поразить Россию, где идеология приняла свою чистую сложившуюся форму, она тоже прошла свой исторический цикл. Необходимо вспомнить два основных эпизода: французский и немецкий. Но лишь русский эпизод будет рассмотрен нами в деталях.

Однако паразит останется неизученным, если не рассмотреть и его несовершенные формы, которые создают его предысторию, и которые были необходимы для попадания в его главного носителя. Это обращение к Франции и Германии может также быть способом избавить Россию от полноты ответственности, которую, по существующей тенденции, принято на нее возлагать³⁷. Ведь элементы идеологии пришли к ней с Запада. Но, в отличие от того, что делают сейчас представители неославянофильства, нельзя обвинять и только Запад. Все замешаны в этом деле, но все пытаются оправдать себя.

³⁵ Краткий философский словарь, 1955, стр. 487.

³⁶ Там же, стр. 548.

³⁷ Такова наиболее распространенная, может быть, господствующая историческая школа. Между Россией при Старом порядке и Россией советской устанавливается полная преемственность. Таков подход современных и вполне искусственных историков, *P. Laitine*, 1974, и *T. Szamuely*, 1974. Однако идеология ответственна и за то, что заперла Россию в ней самой и усилила наиболее карикатурные черты Старого порядка, ответственна она также и за кардинальный разрыв с прежней Россией, гораздо более глубокий, нежели естественное расстояние между прошлым и настоящим, существующее в современных нациях. Мне случалось кратко рассматривать этот парадокс (*A. Besancon*, 1974). При таком подходе существует опасность представить себе, будто идеологический режим может возникнуть только на местной русской почве и на другую перенесен быть не может. Такая позиция противоречит данным современной истории.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЦИКЛ

Во Франции рано произошла встреча двух необходимых (но, как мы увидим далее, недостаточных) условий возникновения идеологии: рождение современной науки и кризис религии.

Наука обрела достоверность для каждого разумного человека, но произошло это в области, которая уже не принадлежала традиционному знанию.

Со времен Платона быть ученым — значит восходить от видимости к реальности, от явления — к вещи в себе. Однако новая наука объявила напрасными поиски идей и сущностей. Достоверности мы достигаем не на этом пути, но, напротив, обратившись к миру видимых изменений, к связанным друг с другом законам явлениям. Нет иной науки помимо такого поиска законов. Природе не нужна метафизика. Наука автономна, она замыкается в себе и не ведет к божественному. В ней совершается глубокая духовная трансформация: наука обращается к материальной вселенной и ставит на первое место тип познания, которому идущая от Платона традиция отводила низшую ступень.

Где-то с 1630 г. на узком, но достаточном основании первого научно доказанного закона, закона инерции, утверждается то, что мы уже можем называть современным позитивизмом¹. Пока его придерживается лишь часть научного сообщества Западной Европы: Гоббс, Мерсенн, Гассенди, Гюйгенс. Это еще не сциентизм. Напротив, наука придерживается того объекта, который обеспечивает ей достоверность, — явления. Реальность существует, но она не касается ученого, довольствующегося тем, что он организует явления системой законов; мир сам по себе может быть каким угодно. Позитивная наука не гарантирует нам соответствия явления реальному объекту. Тем хуже для последнего — настоящему ученому достаточно явлений. Он может быть христианином, но является таковым не потому, что он ученый.

Новая наука сняла тяжелую ношу, которая с позднего средневековья отягощала жизнь духа. Магия и оккультизм были на долгое время дис-

¹ В этой части работы я опираюсь на работы *P. Ленобля* (1957, 1969, 1971).

кредитированы. Уменьшилась власть слов, образов, драгоценных камней, звезд, колдунов. Колдовство уже не вызывало страха, ведьм перестали сжигать. Причиной явлений перестала быть тайная сила, некая метафизическая порождающая сущность — ею стало другое явление, связанное с первым постоянным отношением. *Causa sive ratio*, как говорил Декарт. Так был сокрушен абсолютный детерминизм магического мышления, охватывавший одной системой человека и вещи. Научный детерминизм частичен, он освобождает человека от первобытного всеобщего детерминизма. Был сокрушен, по крайней мере, на европейском Западе, и гнозис, представлявший собой псевдодетерминистский механизм.

Вместе с таким очищением интеллектуального поля, классический век стал великим веком философии и религии. Но как со стороны науки, так и со стороны оспаривающей ее религии, предлагались довольно шаткие решения их спора.

«Небо и земля славят вечность». Только и небо, и земля утратили реальность в новой объективности количественной науки. Ирреальность мира, переставшего быть миром в себе, но сделавшегося миром для мысли (а тем самым несамодостаточным миром) — вот что вызвал к жизни Декарт². Этот мир доступен пониманию, поскольку он есть творение Духа, являющегося и творцом нашего разума. Декарт переворачивает традиционный порядок, метафизика не завершает науку, но является ее началом. Феномен и вещь в себе различны, но Бог, найденный мыслью по ходу размышлений, гарантирует их соответствие друг другу. «Атеист, — говорит Декарт, — ни в чем не уверен».

Укрепившись в этой метафизической достоверности, Декарт начинает, следуя такому идеалу, и чуть ли не аристотелевским методом реконструировать физику первоначал. Это было опасно для самой науки. Будучи эмпириками, как и большинство ученых того века, Гоббс и Гассенди недовольны априорными обобщениями картезианской физики. Она будет осуждена XVIII столетием. Но Декарт никогда не притязал на тотальное знание. Он не признавал того, что человеческая мысль способна совпасть с божественным логосом. Физика и метафизика оставались разделенными.

Паскаль также принимает этот дуализм. Человеческая природа для него необъяснима без христианской иррациональности. Она оказывается той гипотезой, которая спасает явление в том виде, в каком оно дано роду человеческому. Научное рассуждение предстает как хрупкое сооружение — оно взывает к теологии, не покушаясь на ее права³.

Декарт и Паскаль отдают должное и Богу, и кесарю, физике и метафизике. Это равновесие не назовешь устойчивым, тем более что Декарта поняли в духе сциентизма и метафизического феноменализма, а Паскаля — как фидеиста. Равновесие можно было поддерживать только за счет равновесия в религии, а оно было поколеблено.

Споры по поводу Реформации, скандальность религиозных войн с XVI века способствовали тому, что лучшие умы не принимали в этих спорах участия или даже совсем теряли доверие к самой идее догматической истины, гарантируемой авторитетом церкви. Многие, начиная с Монтеня, хотели освободиться от этих спорных вопросов, объявляя их неразрешимыми. Они остаются христианами, но в отставке, желают достоверного познания, но на уровне человеческого разумения. Новая наука отчасти отвечает этому желанию, одновременно способствуя обращению к внутреннему миру, расцвету субъективности. В предлагаемом наукой мире существует лишь *res extensa*. Этот необитаемый мир, по словам Паскаля, ужасен. Человек, точнее, субъект, становится тем единственным бытием, по отношению к которому этот мир может быть помещен, понят, использован. Имеется своего рода согласие между человеком как субъектом науки и религиозным субъективизмом, который в католической стране опирался на доведенное до крайности августирианство.

Даже в высшей своей точке католическая реформа во Франции уже утратила полноту и радость жизни барокко. Обнаженные стены церквей, угрюмые лица, суровые нравы — вот что предлагалось по-прежнему галантному двору и пока что пылкой аристократии. Начинает преобладать янсенизм. Интуиция иезуитов относительно человеческой свободы не получила метафизического развития. Орден иезуитов стремился повлиять на мораль. Но именно в этой области он сталкивается с реакцией ригоризма. Религиозная интеллектуальная жизнь ограничивается рамками моральной теологии, где разворачиваются нескончаемые дебаты. В результате о себе заявили и дух противоречия, и дух преследования инакомыслящих. По всей Европе, как католической, так и протестантской, с середины XVII века можно наблюдать ту же апатию и те же судороги. Вера вступает в эпоху подозрений. А потому обращаются к сходным испытаниям на правоверие: к утвержденному в Додрехте испытанию предестинариев для кальвинистов, к тесту пяти суждений у французских католиков, к контролю на единомыслие у немецких лютеран и даже к проверке на троеперстное крещение в России⁴. Эти розыски доказательств

² F. Alquié, 1966, стр. 233.

³ R. Lenoble, 1971, стр. 50.

⁴ На эти «тесты» обращает внимание П. Шоню (P. Chaunu, 1966, гл. XIV).

правоверия, быть может, являются признаком или компенсацией тайного разочарования в вере.

II

Как описать с интересующей нас точки зрения тот кризис европейского сознания, который, как было замечено в известной книге⁵, усиливается в 80-е гг. XVII столетия?

В первую очередь это спад религиозного половодья. Век святых заканчивается духовным разбродом.

Моральная скрупулезность янсенистов постепенно переходит из теологической области действенной или достаточной благодати в область духовной власти, а затем и власти светской. Янсенизм становится партией. Против церковной иерархии он выступает, защищая религиозную демократию, требуя свободы совести, а затем и разума. От абсолютной королевской власти он защищает свободу гражданина. Возмутительный акт отмены Нантского эдикта дискредитирует церковную власть, идущую на компромисс с политикой, которая казалась не только антихристианской, но и бесчеловечной. Эта отмена стала поворотным пунктом. Начиная с нее религиозная оппозиция дополняется политической. Одно и то же отрицание распространяется на слившийся воедино политико-религиозный универсум. То, что получило во Франции наименование *левые*, вероятно, рождается в 1685 году. По всей Европе религиозная мысль возвращается к старому либеральному течению в духе Эразма, только весьма опошленному. Оно продолжало тайком существовать и в рамках католицизма, и среди протестантов (под именами социниан, антитринитариев, унитариев); оно становится матрицей деизма эпохи Просвещения. Локк и Ньютон были унитариями. Деизм пользуется тем недовольством, которое породили реформы. Он пользуется и тем, что в нем сохранялся смысл христианской свободы, выступающей в форме терпимости. Бог остается за пределами мира, как некий выхолощенный отец, как умопостигаемый постулат, как Первый Часовщик, оставивший своим детям заботу о пущенной им в ход машине.

Это открыло дверь для возврата гностического мышления, чему способствовали и благоприятные обстоятельства в религиозной жизни. В отсутствие убедительной метафизики связь между человеком и Богом, равно как и поддержка христианской традиции, обеспечивались мистической жизнью. Подавленная в XVI веке в Испании ортодоксальная мистика продолжала существовать во Франции, хоть и под надзором.

⁵ P. Hasard, 1968.

Осуждение Фенелона нанесло ей смертельный удар. Все то, что не может быть представлено в благочестии как разум, сознание, мысль, становится предметом насмешки. С годами мистика делается подозрительной, а то и опасно странной⁶. Ее сводят к психологическим состояниям. Однако авторитарное подавление ортодоксальной мистики освобождает место для мистики гетеродоксов и для иллюминатов, с которыми начинают путать мистиков. За Фенелоном последовали энтузиазм «просветленных» в Англии, немецкий пиетизм, на которые уже мог ссылаться савойский викарий. Шотландец Рамсей, которого Фенелон с радостью обратил в католицизм, закончил свою карьеру как основатель французского франкмасонства. Вместе с ним рождается эзотеризм XVIII века. Ни догматически, ни мистически большинство мыслящих европейцев уже не считали себя хоть как-то связанными с правоверием.

Между тем наука выходит в космос, совершая, вероятно, самый грандиозный скачок в истории науки. Открытия закона инерции было достаточно для механистической революции, когда Ньютон разом соединил земную и небесную механику к славе феноменологического метода. «Причину... свойств силы тяготения я до сих пор не мог вывести из явлений, гипотез же я не измышляю (*hypotheses non fingo*). Но все, что не выводится из явлений, должно называться гипотезою, а гипотезам — метафизическим, физическим, механическим, оккультным — не место в экспериментальной физике, для нее достаточно того, что тяготение существует и что оно действует согласно изложенным нами законам».⁷

Триумф науки и упадок религии положили конец равновесию, которое удерживалось картезианством между метафизикой и наукой, богословием и физикой. В механизме Мальбранш узрел даже форму божественного действия, реализующего все богатство творения простейшим способом, посредством протяжения и движения. Он стал считать истинны веры однородными с истинами научного рассуждения. «*Факты религии или догматы откровения представляют собой мой опыт в области богословия*»⁸. С помощью исчисления бесконечно малых Лейбниц проникает в божественный промысел и оказывается способным представить мир таким, каков он есть. Принципа разума *достаточно* для объяснения того, что вещи являются такими, а не иными; комбинаторика позволяет постичь внутренне им присущий порядок. Лейбниц показывает, что Вселенная самодостаточна — после того, как она была создана, она представляет собой автаркию. Однако если ее существование бесконеч-

⁶ J. M. Armogathe, 1973, стр. 97.

⁷ Цит. по А. Койре, 1973, стр. 273.

⁸ Цитата приводится и комментируется в Alquie, 1974.

но, Божественный Архитектор становится гипотезой совершенно излишней⁹. На протяжении всего XVIII века метафизический монизм Спинозы толковался как атеистический материализм. Впоследствии эта интерпретация была перенята русскими революционерами, а затем официально принята советской идеологией¹⁰.

В общем, метафизики конца XVII века считали, что им удалось решить проблему единства истины, каковую их предшественники, принадлежавшие классической эпохе, считали неразрешимой. Размышления о физике (в ту эпоху говорили о механике) включают в себя и поглощают размышления о метафизике; можно даже сказать, что метафизика, не предупреждая о том, заимствует и все физические рассуждения. В этом отношении интеллектуальный климат эпохи чем-то напоминает немецкую романтическую философию век спустя. Единое знание, даже утратив звание философии, должно порождать на более низком уровне целиком разработанную идеологию. В XVIII столетии вырисовываются и необходимый для идеологии материал, и человеческий тип идеолога. Но еще не хватает чего-то, чтобы сформировалась идеология, чтобы ее бетон «схватился».

Этого нельзя было ждать от Англии. Просветители тут *vigil*, но после «Славной Революции» социальное согласие уже не ставится под сомнение. Английские революции протекали в доидеологический период. Конечно, среди двух в армии *New Model* мы находим возрождение христианского милленаризма, сходного с тем, которым были заражены Средние века, а потому глубоко религиозного и без всяких претензий на научность. Идеи права, свобод (во множественном числе), собственности были ведущими идеями движения, ставившего перед собой задачу восстановления состояния справедливости, которое было на время нарушено, но не цель переделки социального тела согласно априорной модели, делающей излишними право, свободы и собственность.

Английские просветители подтвердили эти принципы. Их критика была направлена на христианские догматы, но не на существовавшую церковь, а та, в свою очередь, выступала не столько против господствующего рационалистического деизма, сколько против остатков религиозного милленаризма, то есть против склонности пуритан рубить сплеча во имя *light within*. Английские просветители — скептики и эмпирики. Значительную часть своего «Опыта о человеческом разумении» Локк посвящает критике языка, то есть критике тех громких слов, к которым прибегали, как он их именует, «энтузиасты». *What do you mean? How do*

⁹ А. Кюре, 1973, стр. 330.

¹⁰ В трактовке прежде всего Плеханова. См. ниже, гл. X.

you know? Эти «воспитательные» вопросы хорошо показывают сущность английского Просвещения. Короче говоря, в этой стране не происходило ни порчи религии, ни порчи науки. Религиозный пыл не угас, но он сконцентрировался на периферии общества, во вполне добропорядочной среде, питая благочестие и *revivals* у «диссидентов». В центре общества и на его вершинах хватало минимума теологии, стабилизируемой конформизмом. Наука продолжала развиваться в духе феноменологического метода, который был даже радикализован Юмом. Но этот метод не покидал области науки, он не стал служить политике. Английское политическое общество гордилось собой и почиталось по всей Европе; в этот период интенсивного социального и экономического обновления оно выдает себя за традиционное. От политики англичане ждут спокойствия, безопасности, процветания страны, которая никогда так не благоденствовала. От политики не ждут спасения.

III

Во Франции ход развития был иным. Просветители с самого начала покушаются на сложную структуру, которая представляется им как единое целое, где сливаются церковь и политический порядок старого режима.

С нашей точки зрения, заслуживают рассмотрения три темы французского Просвещения: космологическая тема природы, эпистемологическая тема разума и, наконец, тема политики.

В сознании XVII века поддерживаемый Богом человек противостоял природе. В сознании XVIII века он включается в природу, которая сделалась единственной реальностью¹¹. Поэтому науку о человеке можно конструировать по образцу естествознания. Еще Гоббс выдвигал психологию, построенную по модели физики взаимодействия твердых тел. Механически передаваемое возбуждение органа чувств порождает смутное видение. От него мы переходим к воображению, ассоциации идей, рефлексии, каковые по своей природе не отличаются от восприятия. Воля направляется механикой удовольствия-неудовольствия. Мысль представляет собой инстинкт, чуть более сложный, чем у животных. Новая физика разорвала томистскую связь природы с Богом, новая антропология разрывает августиновскую связь человеческого сердца с Богом. Если совесть есть лишь система рефлексов, то мораль может ориентироваться на позитивную науку о нравах. Старая метафизика души заменяется естественной историей души, психологией, сконструированной на

¹¹ Здесь я также многим обязан Р. Леноблю (R. Lenoble, 1969).

основе внешних ощущений. Даламбер хвалит Локка, пусть ошибочно, но весьма характерно, за то, что тот «свел метафизику к тому, чем она действительно должна быть — к экспериментальной физике души»¹². Им была начата эта редукция, продолженная затем Юмом в «Трактате о человеческой природе», у которого был подзаголовок: «Попытка применить основанный на опыте метод рассуждений к моральным предметам». Картезианский субъект растворился. Теперь он — лишь *bundle* ощущений, мерцание необъяснимых явлений. Интеллектуальные операции представляют собой трансформации ощущений, как объясняет их Кондильяк. Самый порядок наших идей есть лишь отражение биологического порядка, частью которого мы являемся, и который демонстрируется нуждой, интересом, полезностью и стремлением к самосохранению. «Таким образом, идеи возрождаются под воздействием тех потребностей, которые их первоначально произвели. Они образуют своего рода завихрения в памяти, которые умножаются вместе с потребностями. Каждая потребность есть центр, из которого движение передается к окружности»¹³. Тот же язык физики — вихри, обращения, притяжения — без изменений и без всяких предосторожностей применяется к человеческой природе.

Итак, человек соотносится с природой, частным случаем которой он является, и в этом противостоянии ему не на что опереться. Поскольку в себе самом ему не найти объяснения собственной жизни, он обращается вовне: познавая природу, он познает самого себя, а потому он смотрит на то Единое, частью которого он является.

Имеется ли у этой природы смысл? Тут пути расходятся.

«Природа — неопределенное понятие», — читаем мы в «Энциклопедии», в краткой статье, посвященной понятию природы¹⁴. Действительно, для тех, кто мыслит в духе произошедшей научной революции, природа утратила и душу, и единство. Она распадается на независимые феномены, связанные друг с другом только механическими законами, изучение которых происходит в соответствии с различными подходами. Единое, божественное *To Pan* античности, есть лишь «взаимодействие тел согласно законам движения». К счастью для ученого всегда имеются в наличии предметы исследования — с этой точки зрения природа представляет собой неисчерпаемый резервуар таких предметов; их можно обнаружить, но их нельзя свести к какой-либо ненужной всеобщей системе. Такой упрек делается по адресу физики Декарта, тогда как его ме-

тафизика вообще отбрасывается. Даламбер хорошо выразил этот общий для всего Просвещения взгляд: «Главной заслугой физика было бы — обладать духом системы [он необходим для построения теории] и никогда его не применять».

«Физика поэтому ограничивается наблюдениями и подсчетами; медицина — историей человеческого тела, его болезнями и средствами их лечения; естественная история — детальным описанием растений, животных и минералов... одним словом, все науки, насколько возможно, держатся фактов и следствий, которые можно из них вывести, и прибегают к мнениям лишь там, где они к этому принуждены»¹⁵.

Вольтер даже отказывает понятию природы в каком бы то ни было содержании: «Меня называют именем, которое мне совсем не подходит: именуют природой, хотя я целиком — искусство»¹⁶. Тут мы сталкиваемся с кантианством до Канта.

Итак, разум здесь ограничивается феноменами и явно отрекается от тотального знания. Монтескье, Вольтер, Даламбер, словом, наиболее видные мыслители, признают, что в интеллектуальной области мудрость заключается в том, чтобы довольствоваться частичными истинами и терпеть это ограничение духа, налагаемое наукой. Они — антидогматики, или хотя бы желают быть таковыми. Этот эмпиризм (иногда скептического толка) характерен для французского XVIII столетия; тут меньше цинизма, чем у англичан и больше стоицизма, который Кандид и Вольтер унаследовали от классических авторов.

Другие, однако, идут куда дальше. Общим для них является то, что они не понимали духа ньютоновской науки и не занимались ею. От науки они берут не метод, но готовый результат, вырванный из научного исследования, и незаметно придают ему статус догматического утверждения, снабженного достоверностью научного типа.

Например, у Мелье, у Ламетри *res extensa* Декарта отождествляется с материей и становится единственной реальностью (мы имеем дело с тайком вводимым метафизическим утверждением); от материи природа получает и сущность, и единство, отнятые у нее истинной наукой. «Во всей вселенной имеется лишь одна субстанция в различных ее модификациях» — таков вывод Ламетри¹⁷.

Для этого свихнувшегося картезианца совершенно естественно то, что человек становится машиной в согласии с перенесенной на природу моделью, которая переносится обратно на человека. «Человеческое тело

¹² D'Alembert, 1965, стр. 100.

¹³ Traite des animaux, цит. по E. Cassirer, 1966, стр. 127.

¹⁴ См. R. Lenoble, 1969, стр. 343.

¹⁵ D'Alembert, 1965, стр. 11.

¹⁶ R. Lenoble, 1969, стр. 334.

¹⁷ La Mettrie, 1966, стр. 161.

есть машина, которая сама заводит свои пружины». «Часы, пусть огромные». Что же касается мысли, то он полагает ее «вполне совместимой с организованной материей, так, что она кажется ее свойством, подобным электричеству, движущей силе, непроницаемости, протяженности и т.д.»¹⁸ Это становится уж очень похожим на советскую идеологию.

Из этого следует, что реальность в целом, — то есть материя — обосновывается научным познанием. Не все нам известно, но все познаваемо. «Я готов утешиться тем, — пишет Ламетри, — что ничего не знаю о том, как материя становится жизнью и мыслью; согласитесь только с тем, что органическая материя заключает в себе принцип движения, благодаря которому она дифференцируется, что вся животная жизнь зависит от этих различий в организации»¹⁹.

Нам остается найти ньютоновский закон, способный объяснить, исчерпать вселенную. Множество второсортных философов начали с усердием отыскивать эквивалент всеобщего тяготения в психологии, физиологии, а затем и в политике: от Морелли до Листонэ, от Робинэ до Лас-саля, от Азаи до графа Сен-Симона²⁰. В псевдонаучной раскраске притяжение заявляет о себе в пробудившихся древних магических и мистических спекуляциях о едином универсуме, которые ожили в другом секторе мысли — в мистике иллюминатов и в эзотеризме масонов.

Такое распространение ньютоновской парадигмы за пределы физики, в которых она законна, имело тяжкие последствия. Действительно, с того момента, как природа была обесмыслена научным механизмом, от последнего стали ожидать правил нравственности и общественной жизни. Чем скромнее становилось понятие природы в космологии, тем умереннее им стали пользоваться в морали и в политике. Произошло это потому, что точные и естественные науки поставили предохранительные ограничения в физической области, тогда как область морали и политики открылась для всякого рода экстраполяций.

Главной заслугой Сада было то, что он заполнил пустую клетку в таблице возможных нормативных значений природы. Для него она является злом. Так, Жюльетта заявляет: «Природа поддерживается только злодеяниями, отвоёвывая права, отнятые у нее добродетелью. Мы подчиняемся ей, предаваясь злу; единственным преступлением, которое она никогда бы нам не простила, является наше ей сопротивление. Друзья

¹⁸ La Mettrie, 1954, стр. 186.

¹⁹ Цит. по E. Cassirer, 1966, стр. 95.

²⁰ H. Gouhier, 1964, т. II, стр. 200–214.

мои, утвердимся в этих принципах — в их реализации корень человеческого счастья»²¹.

Сад здесь одинок, поскольку все его столетие придерживается иного взгляда. «О, Природа, — восклицает Дидро, — все доброе заключено в твоём лоне. Ты — плодоносный источник всех истин»²². Грётюизен хорошо описал это сознание гармонии со всем сущим, полноты смысла и красоты, характеризующее этот век: «Жизнь в природе и согласно природе, воспринимаемая как норма и как благо, исключает любую другую. Человек предопределен природой, он ведет жизнь в соответствии с ее указаниями, живет естественно, реализуя в своей человечности некую сущность, смысл, благо... Любая вещь входит в природу, в это осмысленное целое, и стремится к определенной цели, о которой свидетельствуют все части природы». Но если бросить взгляд на жизнь людей, то в ней мы не находим законообразности, обнаруживаемой и в звездном небе, и в растительном мире, и в натуре самого человека. Эта жизнь не отвечает природе, она противоестественна. Поэтому, с одной стороны, в универсуме имеется некий смысл — мы констатируем его существование, находя его и вокруг нас, и в себе самих; но, с другой стороны, имеется и нечто абсурдное, бессмысленное — такова наша человеческая жизнь»²³.

В этом совершенно согласны друг с другом Вольтер, Дидро, Руссо, Бюффон и прочие великие умы. Они хотят найти человека таким, как он был сформирован природой, человека, внутренний закон которого отвечает целям, поставленным природой. Однако история, развитие общественной жизни, а в особенности священники и предрассудки до сих пор скрывали от людей их естественное предназначение. Люди обладают правами. Но права человека выражают телеологические диспозиции, которыми природа наделила всех людей.

Природа разумна, но не такова человеческая жизнь. Между вышедшим из рук природы человеком и ею самой стоит препятствие, и это препятствие — общество. Порочен социальный порядок, что можно показать силами того же разума, который раскрывает нам природу. В XVII в. природа принуждала, в XVIII в. она вызывала эйфорию; теперь она становится критичной, а разум — практическим. «В человеческой жизни все должно объединяться в группы, подчиненные законам таким образом, что человеческая жизнь уже не будет непроницаемой путаницей,

²¹ Sade, 1969, стр. 320.

²² D. Diderot, 1951, стр. 1247.

²³ B. Groethuysen, 1966, стр. 162.

где сильный угнетает слабого, где случайность рождения определяет судьбу человека, где дозволенное в одной провинции запрещается в другой, а тысячи человеческих существ зависят от одного, во всем им подобно»²⁴. Для этого у разума есть орудия — воспитание и законодательство. От созерцания природы свершается переход к волюнтаристскому действию от ее имени. Для Гольбаха одна и та же умозрительная схема задает и «систему природы», и, на ее фундаменте, «социальную систему» и «всеобщую мораль».

После ньютонизации психологии (тяготением в ментальной системе оказывается *интерес*) Гельвеций утверждает, что все здоровые телом люди наделены равными способностями. Все различия проистекают от их воспитания, которое всемерно. Государство должно избрать содержание и методы, установить неизменные правила, составить план обучения в соответствии с общественным благом. Таким образом образование становится политической проблемой: «Искусство формирования людей во всех странах настолько связано с формой правления, что навряд ли возможно какое-нибудь значительное изменение в общественном образовании без таких же перемен в самом государственном устройстве»²⁵.

Тут мы подходим к политическим утопиям. В 1759 г. Морелли, известный классный надзиратель в Витри-ле-Франсуа (ныне весьма почитаемый в Советском Союзе), ставит задачу «нахождения такой ситуации, в которой для человека стало бы почти невозможным сделаться порочным или злым», поскольку он будет «подготовлен и, так сказать, приручен механизмом воспитания, соответствующим нашим принципам»²⁶. Эти принципы излагаются в своего рода кратком кодексе, озаглавленном: «Модель законодательства в согласии с намерениями природы». Это — коммунизм, во многом напоминающий утопическую традицию, но и достаточно реалистичный, чтобы в главе об уголовном законодательстве с точностью предусмотреть концентрационные лагеря.

За Гольбахом, Гельвеем, Морелли следует Мабли, но все же не они задают тон, они на периферии, вдали от подлинного духовного средоточия века. Не без английского влияния, но также в силу национальной традиции (лучшим ее представителем был Монтескье) к этому средоточию принадлежат люди, презиравшие фанатизм и исповедовавшие умеренность. Вольтер и Дидро, даже Кондорсе и Руссо принадлежат к иному лагерю, чем все эти «бешеные», поскольку они — прародителями либерализма, а не якобинства. Различия здесь не столько во мнениях или в

²⁴ Там же, стр. 188.

²⁵ Helvetius, 1973, стр. 492.

²⁶ Morelly, 1970, стр. 40.

идеях — мысль низкая питается крохами со стола мысли великой. Отличия видны по интеллектуальному стилю. Конечно, Руссо двусмыслен. На него ссылались террористы 93-го года. Но он не принадлежит к их миру. Он ведет диалог с Гроцием, Гоббсом, Платоном. Его можно с полным правом считать философом в вечном смысле этого слова; такого титула заслуживало большинство других из партии *философов*. Морелли же находится на одном уровне с Маратом.

Действительно, к концу века появляется среда пролетаризировавшихся интеллектуалов. В этой среде разделяют одну доктрину или набор идей, понятий, слов. Оторвавшись от общества, такие интеллектуалы далеки от светских людей и вскоре начинают вызывать у последних страх. К самому обществу интеллектуалы уже не обращаются, но часть из них начинает составлять партию. Они ставят перед собой цель изменения социального строя в соответствии с порядком природы. Революционная страсть проистекает из внутренней убежденности в том, что такой порядок существует, а потому осуществим. Революция для них сразу обретает всеобщий, космический смысл, как универсальное обновление. В свете именно такого представления о революции они истолковывают и направляют ряд событий, начавшихся с 1789 г. Французская революция не была неизбежной. Каждое ее мгновение можно считать делом случая, неожиданным поворотом. Но все эти случайности и последовательности событий с самого начала были подведены под тотальное понятие Революции. «Это же бунт!» — «Нет, Сир, это революция».

Якобинцы захватили власть в 1792 г. и сохраняли ее около 18 месяцев. Пароксизмом революции был 1794 г., затем начинается ее постепенный отлив. Ленин, как и все русское революционное движение, очень высоко оценивал якобинцев. Чтобы лучше понять русскую революцию, нам следует остановиться на французской.

Где обнаруживаются параллели, в чем они расходятся?

Во времена французской революции впервые обнаруживается эмбрион того, что потом станет Партией. Салоны, клубы якобинцев, народные собрания организуются в сеть, сообщаются друг с другом, распространяют информацию, приказы, программы²⁷. Они образуют аппарат власти, который дублирует законные институты, стремится поставить их под свой контроль, провести в них чистку, ожидая того момента, когда сможет их подменить. Настоящая политическая жизнь протекает в рамках этого аппарата: в стенах клубов добиваются власти или ее теряют.

²⁷ Этот параграф опирается на A. Cochin, 1921.

Тут выковывается новая политическая техника, которую уже пускали в ход в ложах и салонах времен Старого порядка, но которую теперь применяют в публичных собраниях и законодательных ассамблеях: формирование большинства, искусство проталкивания резолюций, манипуляция голосами меньшинств, создание ячеек, обструкции, чистки и т.п. Говорят, это — хлеб насущный демократической жизни. Это так, но разница в том, что эти нормальные маневры прикрываются закодированным языком, а цель их не столько политическое управление, сколько осуществление утопии. Политика возвысилась из-за того, что ее считают средством реализации всеобщего спасения; и следовательно все социальное тело, включая и частную жизнь, должно войти в сферу власти, по мере того, как все многообразие человеческих проблем сводится к политической проблеме.

Находясь в рядах партии, индивиды отрываются от общества. Не так уж важно, являются ли они адвокатами, журналистами, предпринимателями, клерками, аббатами — их отечеством, средой их обитания оказывается клуб с его неповторимой формой общения. Здесь они находят свою социальную суть.

Их отличает прежде всего используемый ими язык. В этой лингвистической ткани различимы фрагменты расхожих в ту пору доктрин; они сведены до уровня лозунгов, они служат материалом для риторики. Словесная инфляция, сделавшийся плоским и безликим язык, его политическая кодификация с ключевыми словами «фанатизм», «модерантизм», «федерализм», «деспотизм» и им подобными, его использование в целях достижения власти — все это уже напоминает сегодняшнюю логократию. Дебаты в Конвенте производят странное впечатление отрыва от реальности и опасной утраты здравого смысла. Язык здесь, и правда, ошеломляющий. Народ, Свобода, Отечество — эти слова настолько заряжены, что они парализуют возможную оппозицию из числа тех, кто почитает под этими словами другую реальность, но боится сказать слово из-за опасения быть обвиненным в деспотизме или заподозренным в служении Питту и Кобургу. Язык сделался законодателем, это он учреждает террор.

Ленин восхвалял террористическую отвагу революции. Правда, двадцать тысяч казненных — не так уж и много. Хотя, на 9 Термидора в тюрьмах было более трехсот тысяч подозреваемых, которых, конечно, ожидало истребление²⁸. Тогда прополка была бы не хуже большевистской. Убийства становились абстрактными: они касаются не людей, но

«чудовищ», «разбойников», «врагов народа». «Речь идет не столько о наказании, сколько об уничтожении», — заявляет Кутон. «Никого не нужно депортировать, следует истребить всех заговорщиков», — говорит Колло д'Эрбуа²⁹. Такова манихейская установка, разделяющая всех на два лагеря — хороших и плохих — причем второй из них, если познакомиться с прерияльскими законами, мог вместить в себя чуть ли не всех французов.

Наконец, появляется и человеческий тип идеолога. Честный, бескорыстный, не любящий ни женщин, ни деньги, ни вино; без друзей, неутомимый член клуба, хороший тактик, верящий во все, что сам говорит, повсюду выдающий козни и заговоры, священнослужитель безликого и абстрактного языка — таков Робеспьер, безусловный предтеча Ленина.

Однако Робеспьер пал, и с большевистской точки зрения было не так уж трудно понять, — почему. У партии отсутствовали жесткие скрепы, в ней не было единства. Она никогда не была монолитной, в ней не было иерархии, она не сумела навязать своим членам дисциплину и хорошо их натренировать. Не было связности и в самой доктрине. Добродетель, Народ, Свобода — это моральные принципы. Революционная доктрина не была унифицирована, она питалась несколькими темами, плохо скоординированными и часто противоречивыми. Например, равенства желают при собственности, которая и обеспечивает частным лицам независимость даже по отношению к партии. Утопия сама себя считает утопией, а не выступает как продукт естественной эволюции. Она остается идеалом, который следует осуществить, а это зависит уже от добродетели, а не от науки. Понятия природы недостаточно для создания историософии. В конце концов, природа остается предметом созерцания. И она же и побеждает 9 Термидора — очарованием г-жи Тальен, Жозефины, г-жи Рекамье. Франция спасена галантностью одних, целомудрием других — своими женщинами, одновременно и символами, и активными участниками распада идеологии.

Случилась неувязка.

Если применить категории ленинизма, якобинцы были «леваками». Они верили в Народ, в представительство или в народный контроль. Они исповедовали своего рода антиинтеллектуализм. Они не умели прочно держать в руках и укрепить государственную власть. Желая сделать передышку — своего рода НЭП, они не сумели поставить его под свой контроль; после Термидора гражданское общество от них сначала ускольз-

²⁸ См. цифры, приводимые Ж. Тюларом в P. Gaxotte, J. Tulard, 1975, стр. 321.

²⁹ A. Cochon, Le patriotisme humanitaire, в: A. Cochon, 1921, стр. 292.

нуло, а потом и раздавило. Утратив власть, они занялись реформированием всего знания, создавая из грамматики, психологии, естествознания единую науку, выстраивая всю систему образования в пирамиду, вершиной которой был *второй класс* Института — класс *Анализа человеческого разума*. Это обобщение идей Кондильяка было делом Вольнея, Кабаниса, Дестют де Траси, получивших имя *идеологов*. Они искали шпагу и были замешаны в заговоре, который привел Бонапарта к власти. К несчастью, он оказался героем в духе Плутарха, воспитанным на Корнеле. Он разогнал второй класс Института, восстановил изучение древнегреческого и латыни, подписал Конкордат.

Вот почему перед тем, как достичь России на стадии своего полного развития, идеология, целый век проходившая «французский цикл», должна была пройти и через «немецкий цикл».

НЕМЕЦКИЙ ЦИКЛ

Ингредиенты, наличие, соединение и сплав которых дает идеологию, а именно, религия, философия, наука, гнозис, революционный дух, постепенно возникали во Франции, но никогда не появлялись все вместе в чистом виде, что позволило бы осуществить их слияние.

Напротив, в Германии они сосуществовали, и их слияние свершилось в тигле мышления. Правда, одного лишь мышления, — революцию, момент Великого Деяния Германия упустила, предоставив России дело объединения французской политической модели с немецким интеллектуальным образцом, и таким образом усовершенствование идеологии.

Немецкий этап имеет к нашей теме более прямое отношение, нежели этап французский, поскольку условия в Германии, если сравнить их с французскими, более напоминали те, что в дальнейшем обнаруживаются в России. К тому же именно из Германии и в немецком оформлении в Россию были импортированы те интеллектуальные материалы, которые послужили для создания идеологии в ее русской форме.

I

Кризис религии и распространение науки Нового времени происходили в Германии в иных, чем во Франции, условиях.

Лютеранство хотя и поставило чувственные и личностные элементы выше догматических¹, толкало к умозрительным заключениям обходным путем. Дух лютеранства в делах божественных не был духом успокоения и умиротворения. Напротив, лютеранство сделало постоянными беспокойство и тревогу. Лютеровское *simul peccator est justus* (лишь грешник праведен), равно как и тенденция превращать духовное смятение в критерий веры, стали одним из источников творчества Достоевского. В корне испорченная грехом и лишенная онтологической сущности, личность словно уничтожается, когда привходящим образом замещается Христом-Спасителем, «Христом в нас». Но как придать рациональный статус тому, что дано как экзистенциальный и невыразимый опыт? Спасенный

¹ См. анализ в *H. Jaeger*, 1965.

Христом извне субъект в таком случае стремится объяснить это событие столь же внешней доктриной, способной поднять личность и утолить ее естественную жажду знания. Поэтому в объективном плане, путем логических построений невыразимое оправдание удваивается, облегчая муки «мистического креста» — объясняя их вселенским трагическим фатализмом, присущим как миру, так и истории. Принцип этого фатализма доступен для рационального постижения. Этим открываются ворота для нового вторжения гнозиса.

Действительно, в Германии XVI и XVII веков мы сталкиваемся с необычайным распространением иллюминатства, теософии, к которым примешиваются алхимия, астрология, парапсихология и оккультизм. У Парацельса, Валентина Вейгеля, «отца немецкой философии» Бёме, александрийский герметизм и неоплатоническая традиция перемешиваются со средневековой рейнской мистикой, еврейской каббалой и реформированной верой².

Этот новый гнозис расцветает не менее пышно, чем александрийский. Однако гностический роман претерпевает изменения, уготовляющие его грядущую секуляризацию. Бог пребывает в становлении, а оно по необходимости происходит в мире. Человечество становится неизбежным отрезком божественной истории, поскольку через него божество приходит к сознанию самого себя. Такое самосознание осуществляется в человеке, а потому гнозис (или познание, представляющее собой «узнавание») означает спасение.

В этой перспективе человек не столько спасаем, сколько сам является спасителем, тогда как Бог не столько спасает, сколько спасаем. Эта восходящая к Экхарту и Бёме интуиция станет ядром романтической философии.

Бог здесь более или менее смешивается с магическим космосом Возрождения, с Природой, где все явлено во взаимоотношении, в соответствии, в наделенной Жизнью природе, в природе одушевленной. Так возникает биологически и эволюционистски ориентированный пантеизм, он преследует в немецкую мысль от Бёме до «органического Weltanschauung» Этингера, а затем вплоть до Шеллинга. Достаточно было утратить еще столь сильное у Лютера чувство трансцендентного, как человек сделался единственным носителем Духа, субъектом и объектом спасения, когда *salvandus* и *salvator* неразрывно связаны друг с другом.

Такое смещение центра к субъекту, вплоть до субъективизма, находит свое религиозное выражение в пиетизме.

Пиетизм был международным движением, к которому можно, с известными оговорками, отнести квиетизм г-жи Гюйон, Антуанетту Бурриньон, шведа Сведенборга, англичанина Уэсли, и, безусловно, некоторые стороны творчества Жана-Жака Руссо³. Но в Германии, в этом центре пиетизма, происходит радикальная мутация лютеранской духовности. Уже не только верою (*sola fide*) обосновывается оправдание и утверждается благочестие; наоборот, благочестие свидетельствует о вере и косвенно обеспечивает оправдание. Пиетисты взывая к помощи, даруемой чувством, открывают шлюзы для «тайных истечений сердца», как говорил один из их учителей, Готтфрид Арнольд. К 1730 г. дело доходит до наводнения.

Нас интересуют два аспекта этого широкого и сложного движения.

С одной стороны, культура чувств и эмоций оборачивается здесь антиинтеллектуализмом. Только простые, необразованные люди свидетельствуют о подлинном христианстве, в особенности, если они погружены в общину, управляемую исключительно патриархальными нравами, если они не требуют для себя абстрактных, индивидуалистических прав, что противоречило бы «коммунистическому» идеалу воображаемой первоначальной церкви. Душа здесь постоянно побуждается к растворению в потоке эмоций, к жизни на доразумном уровне, в слиянии, в общении с другими — в слезах, тревоге, взаимной исповеди, в постоянными воспоминаниями о собственной прожитой жизни и в непрестанных откровениях. Необходимо во что бы то ни стало *выражать* себя. К культу дружбы пиетизм прибавляет культ женщины, живущей внутренней жизнью. Здесь рождается весь пафос русского романа.

С другой стороны, идея всеобщей реформы — преобразование мира через преобразование человека (как тогда говорилось, установление царства Божия, *Reich*, посредством царства человека, *regnum hominis*) — возрождает древний эсхатологический миллениаризм. Эта идея является немецким аналогом французского предреволюционного романтизма, только в условиях раскаленной добела религиозности. Эта идея наделяет франкмасонство центральной Европы спекулятивным мистицизмом и распаленным рвением.

В Швабии, в среде пасторов-иллюминатов, страстных экзегетов Писания, вырабатываются несколько основных идей романтизма, а именно, теософии истории⁴. Бенгель и Этингер придают апокалиптический смысл подразделению истории на периоды. Они веруют в неизбежность наступ-

² А. Koyre, 1971 (a) и 1971 (b).

³ H. Jaeger, 1965, 1977; G. Gusdorf, 1972, стр. 59–142; G. Gusdorf, 1976, стр. 244–313. По мере развития своего исследования Ж. Гюсдорф придает квиетизму все большую значимость.

⁴ E. Benz, 1968. См., прежде всего, гл. 3, Эсхатология и философия в истории.

ления конца света. Развитие понимается ими не как линейный прогресс на манер Кондорсе, но как диалектическая борьба сил добра и зла. Эта диалектика, по существу, является не мифологической, а исторической, причем современная эпоха представляет собой заключительный период. Они изобретают понятие *хитрости разума*, определяемое как включение эгоистически-частного человеческого деяния в провиденциальный божественный план, который доступен для расшифровки. Они смешивают объективное историческое исследование с пророчеством: история становится пророчеством «наоборот», поиском следов, оставленных Богом в прошлом. Все подчиняется ими *центральному видению* в смысле Якоба Бёме, в котором сплавляются медицина и юриспруденция, история и теология. Центральное видение отождествляется с универсальной наукой. Все люди в ней по праву соучаствуют, а Бог посредством нее достигает полного самосознания. В конце времен Бог станет всем в человеке.

Видение конца времен сочетается с видением нового общества, которое будет демократическим и эгалитарным (последней метаморфозой универсальной проповеди Лютера); оно будет коммунистическим и не знающим закона, ибо все обязанности в нем станут ненужными из-за избытка благ, а право — из-за триумфа любви.

Современная наука создавалась в Италии, Франции, Голландии, Англии. Оглушенная Тридцатилетней войной Германия присоединяется к Западу в этом обновлении только через одно-два поколения. Наука, метафизика и теология на Западе с самого начала заключили своего рода союз против теософского и гностического мышления позднего средневековья. В Германии, напротив, религиозный климат способствовал взаимному проникновению теологии, философского умозрения и гностического воображения без всякого различия жанров. Затем в это единство пригласили науку.

Лейбниц, ученик парацельсианца Ван Гельмонта, розенкрейцер, отчасти связанный с Бруно и Бёме, помещает западную математику, для разработки которой он немало сделал, в матрицу донаучной мысли⁵. Мир для него есть соединение монад, где каждый элемент обусловлен другими по четким правилам. Однако этот мир не механическая сумма частей, а органическое целое, где каждая монада, в свою очередь, оказывается динамическим целым, уникальным и живым центром силы. Мы приближаемся здесь к эзотерической интуиции, но на сей раз *центральное видение* из мистического сумрака Бёме делается рациональной мыслью в системе, которая дает каждой вещи войти в наилучший из возможных миров. Эта система исчислена Богом, а человеком она мыслится, как исчисление беско-

нечно малых, что позволяет ему сформулировать основания для бесконечной серии, каковой является становление мира. Теоретически аналитический разум способен раскрыть вселенную, подключиться к божественному разумению, войти в целостный план Творца, в котором даже самое зло оправдывается возможным благом и гармонией⁶. Тут перед нами уже «розенкрейцерство» Гегеля — с *розою* разума на *кресте* настоящего.

У Лейбница можно найти все, что угодно. Здесь я ссылаюсь на него лишь с тем, чтобы показать, что даже у него (а в особенности — после него) великий профессорский рационализм всякий раз оказывается под угрозой разлагающего гностического влияния, что еще более усиливало массовое движение пиетизма.

С этим связана и относительная изоляция Канта, место которого можно охарактеризовать, применяя раньше времени русское противопоставление славянофилов и западников, как самого «западнического» из немецких философов. Если посмотреть на него в англо-французском контексте, Кант покажется вершиной светской мысли, рефлексии над наукой и отношением метафизики и науки. Его правомерно помещают на линию развития, идущую через Декарта и Юма. Однако в немецком контексте кантовский вопрос: «*Что я могу знать?*» обретает иной смысл перед лицом путаной экзальтации и того, что он с презрением называл *Schwärmerei*. В 1766 году он публикует «Грезы духовидца» с детальным опровержением откровений Сведенборга. Если метафизика возможна, то лишь как «наука о границах человеческого разума»⁷. Он завершает эту книгу цитатой из Вольтера: «*Будем заботиться о нашем счастье, пойдемте возделывать свой сад*»⁸, что стало программой трех «Критик». Он полагал, что одержал решающую победу, когда писал под конец «Пролегомен»: «*Мечтательство, которое в просвещенный век может выступить, лишь прячась за какой-нибудь школьной метафизикой, под защитой которой она осмеливается, так сказать, разумно неистовствовать, изгоняется критической философией из этого своего последнего убежища*»⁹. Однако к 1775 году доведенный до предела рационализм встречается с рождающимся историцизмом и первыми порывами национального романтизма. Заостренный Кантом интеллектуальный инструмент применяется в иных целях мыслью чуждой кантианству и против него направленной. Слияние современного рационализма со всякого рода гнозисом, пантеистическими перетолкованиями Спинозы и Лейбница осуществляется поколением Гердера, Фихте, Шеллинга и Гегеля.

⁶ Leibniz, 1969, стр. 237; Essais de theodicee, стр. 200–201. См. G. Martin, 1966, стр. 23.

⁷ Kant, 1967, стр. 111.

⁸ Ibid., стр. 118.

⁹ Kant, 1968, стр. 182.

⁵ F. A. Yates, 1975, стр. 410–417.

В наши намерения не входит даже перечисление тем романтической философии. Отметим лишь то, что субъективированный разум Канта, переходя через поставленные им самим границы, то есть границы феноменов, развертывается в целое поле знания, которое он стремится объединить. Этот разум является конкретным, историчным и энциклопедичным. В механистической философии упускалось целое. Она могла понять целое только путем его упразднения, а потому французская мысль XVIII столетия не могла породить всеохватывающей и связной идеологии. Новый немецкий разум был органицистским, эволюционистским, историчистским; он обладал той силой тотализации и синтеза, которая на протяжении всего XVIII века отличала эзотеризм.

О Шеллинге и особенно о Гегеле, в зависимости от избранной точки зрения, можно сказать, что они проводят либо рационализацию гностического эзотеризма, либо «эзотеризацию» современного рационализма. Они предлагают системы, которые притязают и на обобщающий характер, и на рациональность, пронизывающую с большей или меньшей достоверностью историчную реальность общества и природы. Такого рода системам всегда грозит перерождение в идеологию. Конечно, ни Гегель, ни Шеллинг не были идеологами. Широкая сеть их систем включает в себя необычайно глубокий анализ конкретных проблем, излагаемый своеобразным поэтическим стилем, причем Гегель ставит самый удивительный метафизический спектакль со времен Плотина. Но идеология не так уж от них далека, нужно только разглядеть этапы движения.

Как и во Франции, путь идеологии начинается с критики религии, чтобы перейти затем к политической критике. То же самое произошло и в России. Во всех трех странах мы обнаруживаем, что эти две критики возникают вместе с упадком религиозности. Поколение немецких романтиков всячески противостояло безверию Просвещения. Создав концептуализированную теософию или систематизированный мистицизм, это поколение пылко считало себя христианским. Гегель говорил о своем лютеранском правовеии¹⁰. Это поколение еще не взывало к политическому действию. Оно даже отступает от кантовского либерализма, идеализируя прусское государство или, во всяком случае, философски принимая действительность. Действительное еще совпадает с разумным. Это поколение довольствуется свободой умозрения в четко очерченных границах «республики писем».

Гегелевский синтез выступает как завершение философии, а равным образом и религии, поскольку христианство оказывалось популярной и

эзотеричной формой философии Гегеля. После его смерти этот синтез распадается.

Подобно тому, как Просвещение начиналось с исторической критики откровения, с него же началось движение младогегельянцев.

Штраус и Бруно Бауэр занимает позицию, подобную позициям Р. Симона и Спинозы с его *Трактатом* конца XVII в. Бруно Бауэр изобретает в связи с этим концепцию отчуждения: человеческое сознание создает нечто, существующее вне его, но от чего сознание находится в зависимости¹¹. Но сам этот идеализм подвергается нападкам как философский миф, разоблачаемый как мирской двойник христианского мифа. Для Бауэра это — вершина отчуждения. Но если отчуждение стало тотальным, то, наконец, стало возможным и тотальное освобождение. Бауэр подразделяет всеобщую историю на два этапа: сначала это — история отчуждения, затем — история воссоздания человека и свободы. Поворотным пунктом истории оказывается нынешний век, и неизбежность тотального освобождения придает ему катастрофический характер. *«Катастрофа, — пишет он Марксу, — будет ужасной; она по необходимости будет гигантской катастрофой... более великой и более чудовищной, чем та, что сопровождала приход христианства в мир»*¹².

Постепенно выясняется, что эта катастрофа заденет не только царство метафизики. Необходимо преодолеть идеалистический миф, чтобы воссоздать социальную и политическую реальность. Действие должно восстановить соответствие между реальностью несовершенной и вечной реальностью философии. По Гегелю, абсолютный разум пришел к полному познанию действительности. В согласии с «диалектическим» переходом, реальность должна теперь стать исполнением разума. Философия становится практикой.

Но следует ли останавливаться на философии действия? Биография Духа, на самом деле, есть лишь история людей во плоти, вполне материальных, размышляющих над своим материальным отчуждением. Поэтому Фейербах выходит за пределы философии. Существует только материя, а люди изобретают себе религиозные мифы, чтобы в воображении достичь того, что не дается им в реальности. Наука позволяет снять отчуждение.

Здесь немецкий идеализм совершает свой последний оборот и возвращается на позиции французской дореволюционной мысли: безверие, материализм, утилитаризм. Но теперь он в состоянии усвоить гегелевский историчизм. Более того, в материалистическом превращении идеа-

¹⁰ R. Vancourt, 1971, стр. 8, стр. 107–123.

¹¹ D. Mc Lellan, 1972, стр. 88.

¹² Цит. по Mc Lellan, 1972, стр. 99 (Marx, MEGA, I, i, 2., стр. 241).

лизма это усвоение осуществляется само собой: романтическое видение истории, историософия, спонтанно устремляется в политику. «*Время, — пишет Руге, — это политика*»¹³.

Мы накануне 1848 года. Немецкая мысль выходит из контролируемой университетской среды, чтобы перейти на страницы журналов. В Париже Гейне, Руге, Бауэр, Маркс, вся молодая интеллигенция политизируется в контакте с республиканской и социалистической средой июльской монархии. Все готово для нового марксистского синтеза.

Маркс проходил те же этапы развития, что и его друзья. Он также пришел к конкретному гуманизму, ставшему историческим, а теперь и политическим. Но в одном он их всех превзошел: местом отчуждения человека является не религия и не государство, а труд. К гегелевской историософии Маркс добавляет экономическое измерение, которое не ускользнуло от его йенского учителя, но которое не ставилось Гегелем в центр. Выдающийся находкой Маркса было то, что он переосмыслил старое якобинство в свете немецкой философии, а тем самым предложил новую и окончательную Революцию, расширенную Гегелем до космических масштабов и укорененную Рикардо в экономическую и социальную почву. Будучи наследником французской, английской, немецкой мысли XVIII века, Маркс находит решение для самых жгучих проблем XIX в.

Со своим систематизирующим и тотальным характером марксизм избегает идеологии лишь за счет фаустовского темперамента его автора — «красного доктора», но принадлежащего к богеме и наделенного неутолимой любознательностью. После 1848 г. Маркс открывает для себя английский эмпиризм и ставит перед собой цель — обосновать истинную науку о социализме. Тем самым он оставляет гегелевские категории. Быть может, он даже чувствовал, что «Капитал» был неудачей с научной точки зрения, не случайно он оставил его незавершенным, а потом и вовсе обратился к неоякобинскому утопизму своей юности. Но когда его друг Энгельс попытался в «*Анти-Дюринге*» свести полученные Марксом позитивные результаты исследования в грубую всеобщую систему истории и природы, Маркс неосторожно благословил его на это дело. В Германии марксизм стал распространяться в этой регрессивной и упрощенной форме.

Этим завершается цикл мысли. Лейбниц выдвинул идею наилучшего из миров. Гегель узрел ее реализацию в истории. Маркс поместил эту историю в сферу человеческой свободы. Но только в России был выкован политический инструмент для достижения наилучшего из миров, и возникла, если можно так выразиться, *партия* наилучшего из миров.

II

Но разве это цикл мысли? Не занялись ли мы составлением генеалогии вины: *Гегель породил Маркса, Маркс autem породил Ленина*, хотя мы с самого начала признавали ее ошибочность? Действительно, в этом псевдо-цикле произошло смещение планов, и в одном из таких смещений совершился переход к идеологии. Быть может, у каждого философа, будь он даже уровня Лейбница или Гегеля, имеется зернышко идеологии. Но именно идеолог его обнаруживает и взращивает.

Среди «левых гегельянцев» многие этим и занимались. Из великого наследия гегелевской философии они выкраивают свою идеологическую одежду. Посмотрим, что произошло с темой *диалектики*. Гегелевская диалектика содержала в себе ничуть не больший потенциал идеологии, чем греческая софистика, томистская схоластика или картезианский рационализм. Однако историческим фактом является то, что советская идеология выдвинула на первый план диалектику.

При переходе в чужие руки гегелевская диалектика становится опасной из-за ее способности находить оправдание для любого опыта (даже ее оспаривающего), уклончивость или способность совмещать противоположности. По крайней мере, там, где речь идет о феноменах мышления.

Маркс, Энгельс и, словами последнего, «*немецкий рабочий Иосиф Дицген*» занялись «*переворачиванием*» гегелевской диалектики, «*избавляя ее от идеалистических прикрас*». «*Таким образом, диалектика понятий сама становилась лишь сознательным отражением диалектического движения действительного мира. Вместе с тем гегелевская диалектика была перевернута, а лучше сказать — вновь поставлена на ноги, так как прежде она стояла на голове*»¹⁴.

Можно не сомневаться в том, что журналист Маркс, предприниматель Энгельс и рабочий, с которым они решили поделиться своим открытием, представляли себе это переворачивание, как возвращение к здравому смыслу. По сравнению с гегельянством для далекого от философии человека марксизм может показаться более реалистичным.

Оставим в стороне отождествление «*материи*» и «*реального мира*». Важно здесь то, что диалектика предстает как свойство действительности¹⁵. Наделенное разумом существо неожиданно порывает связь с субъектом. Происходит разрыв между диалектикой и внутренним опытом, философским, даже религиозным и мистическим, каким он открывался Гегелю.

¹³ Aus fruherer Zeit, IV, стр. 570. Цит. по K. Lowith, 1969, стр. 118.

¹⁴ Ludwig Feuerbach, в K. Marx, F. Engels, 1947, стр. 41.

¹⁵ J. Maritain, 1960. См. La dialectique marxiste, стр. 276–287.

«Вернувшись к материалистической точке зрения, — пишет Энгельс, — мы снова увидели в человеческих понятиях отображения действительных вещей, вместо того, чтобы в действительных вещах видеть отображения тех или иных ступеней абсолютного понятия. Диалектика сводилась этим к науке об общих законах движения как внешнего мира, так и человеческого мышления: два ряда законов, которые по сути дела тождественны, а по своему выражению различны лишь постольку, поскольку человеческая голова может применять их сознательно, между тем как в природе, а до сих пор большей частью и в человеческой истории, они прокладывают себе путь бессознательно, в форме внешней необходимости, среди бесконечного ряда кажущихся случайностей»¹⁶ Этот текст имеет фундаментальное значение. Он стал частью «символа веры» советской идеологии. Для этого имеются все основания: он демонстрирует основополагающий демарш идеологии, когда она отрывается от реальности, чтобы впервые заменить ее новой реальностью.

Действительно, возвращение к реальности, которое входило в намерения Энгельса, с самого начала компрометируется включением в эту реальность заранее составленной схемы — диалектического самодвижения. У Гегеля эта схема была продуктом втискивания действительности в категории разума, но схема еще оставалась «под контролем», поскольку действительность улавливалась в них уже конституированной, в том виде, какой ей придал труд поколений ученых. Поэтому диалектическая сеть не захватывала всю действительность, а то, что она захватывала, не претерпевало искажений. Напротив, «переворачивание» привело к появлению реальности, уже заключенной в схему мышления, однако таковой не признается, но прячется за реальностью, хотя на деле ее подменяет. С помощью своей сети Гегель получил чудесный улов действительности: им была уловлена логическая жизнь. Теперь эта жизнь полагается существующей в объекте еще до того, как он был познан. Рыба вдруг умирает, а у нас остается одна сеть. Действительность сводится к «общим законам движения». Она находится во власти привнесенных в нее логических сущностей, и она поработана их всеобъясняющим могуществом. Иначе говоря, она реальна и признается реальной ровно настолько, насколько подменяется своей подкладкой (как платье) или своим дублером (как актер на сцене), причем этим двойником оказывается идеология, которой уже Плеханов дал имя *диалектического материализма*. От мира остается только эта скрытая сущность, которую обнаруживает и разъясняет новый гнозис.

¹⁶ Ludwig Feuerbach, в K. Marx, F. Engels, 1947, стр. 41.

Тем самым поворот к действительности, к *common sense*, реалистические устремления замыкают в круг куда более «идеалистический», чем гегелевский идеализм, способный привести даже к логическому аутизму. Для Гегеля мысль и лежащая за пределами ума действительность остаются на своих местах. «Переворачивание» препятствует мысли видеть в действительности нечто иное в сравнении с тем, что сама мысль в нее вложила: структуру, законы движения, законы самой мысли. Гегель опьянялся усладой мысли, созерцанием. Такое наслаждение Энгельсом запрещено, поскольку созерцание должно отображать схему, которую он уже поместил в вещи, сам того не заметив. В исследовании действительности ему остается довольствоваться бесконечным обнаружением заново той схемы, которую он в нее вложил и испытывать душевный трепет от вида своих собственных следов. Для Гегеля философствование означало постепенное отождествление с Абсолютом, каковой и является субъектом. Для Энгельса это — отождествление с материей, но без малейшей пантеистической экзальтации, так как материя искалечена схемой, лишена своего подлинного величия, заслонена экраном мысли. Марксизм ошибочно упрекает в материализме, скорее его можно упрекнуть в том, что он уничтожил материю. Старый «вульгарный материализм» хотя бы ее, материю, оставлял в покое.

Демоническое любопытство Маркса было по сути своей еще философским и научным. Энгельс тоже начинал с превосходного эмпирического исследования о положении английских рабочих. Этот практичный человек был неустанным самоучкой, развившим в себе талант незаурядного историка. Его бедой было то, что он воспринял схемы Маркса даже серьезнее, чем сам Маркс, думая, что можно реорганизовать всю совокупность познаний с помощью нескольких страничек «Манифеста», и «Тезисов о Фейербахе», обрывков блеснувших то тут, то там обобщающих теорий. Маркс благословил его на это. Последние работы Энгельса — «Анти-Дюринг» и опубликованные посмертно наброски «Диалектики природы» — уже целиком идеологичны. Они не собирают в себе сокровища священного знания, как то делали средневековые «Зеркала учения». Они не отображают избыточных притязаний новой науки, как «Трактат о мире» Декарта. В них мы находим своего рода «ревизию» результатов научных исследований, которые берутся готовыми у Геккеля, из популярных лекций Гельмгольца, из учебников по химии и биологии. Эти результаты должны сочетаться с «общими законами движения», т.е. с «законом перехода количественных изменений в качественные», с «законом единства и борьбы противоположностей», с «законом отрицания отрицания». Все то, что с ними не сочетается, подлежит исключению — как, например, Карно, как

Ньютон, названный «*индуктивным ослом*»¹⁷. А все, что сочетается, отличается в одной и той же форме. Реальность тут не открывается, но переводится на язык диалектики, а диалектический реализм оборачивается словесными заклинаниями.

Энгельс не задумывается о том, что, говоря о «законах диалектики», он употребляет слово *закон* в смысле, который не имеет ничего общего с законом физики, в известной мере доступным для эмпирической проверки. Диалектический закон «*перехода количественных изменений в качественные*» демонстрируется им на примере кипения воды при температуре, поднявшейся до 100 градусов; но в том же самом смысле слово *закон* употребляется и для превращения денег в капитал по достижении определенного порога. В первом случае такой закон проверяем; им предсказывается не только изменение, но и когда оно произойдет. Мы имеем дело с простым физическим законом, которому нет нужды называться диалектическим. Во втором случае проверка невозможна: если количество денег не превратилось в капитал, то всегда можно сказать, что порог еще не достигнут. Чтобы проиллюстрировать «закон отрицания отрицания» Энгельс ссылается на отрицание капитализма социализмом, на отрицание куколок бабочки рождением бабочек, которые затем вновь отложат яйца (то же самое говорится по поводу ячменного зерна и колоса), на квадрат отрицательных чисел (*a* отрицается $-a$, тогда как при отрицании $-a$ им самим мы получаем a^2). Под *отрицанием* он подразумевает замещение, следование, зарождение, видоизменение и т.д.¹⁸ Вообразим себе вопли Флобера, прочитай он «*Анти-Дюринг*» — мы попали в мир «*Бювара и Пекюше*»!

Переходя от Гегеля через Маркса к Энгельсу, мы обнаруживаем изменение стиля или, лучше сказать, способа мышления. Наиболее очевидно здесь предельное упрощение мысли; процесс такого упрощения затем продолжается от Энгельса к Плеханову и Каутскому, а затем к Ленину и к кодификации *диамата*. Дело здесь не в падении уровня таланта и познаний. Это падение является следствием, а не причиной нового способа мышления. Когда советский ученый или парижский выпускник Эколь Нормаль приходят к *диамату*, то их труды не превосходят писания тех, кто этим зарабатывает на жизнь. Познавательная деятельность здесь заключается в проверке применимости схем к совокупности данных, полученных от реальности, только она не сопротивляется идеологу, ибо он находит в ней лишь то, что ранее в нее вложил. Эта иллюзорная прозрачность мира чрезвычайно упрощает то, что идеолог считает своим интеллектуальным

трудом. Производство знаний становится легким делом, скоро приводящим к избытку. К концу XIX века составляется канонический корпус учения, который последовательно увеличивается за счет прибавления все новых книг. Когда «классики» марксизма создавали этот достаточно объемистый канон, они заменили им культуру. Изучение этого «корпуса», поиски его внутренней связности (а скорее, наслаждение от такой связности, которое для идеолога является не конечным результатом, но исходным пунктом) составляют интеллектуальный горизонт приверженцев учения. Рядового члена партии от ее теоретика отличает не столько уровень знаний второго, сколько его лучшая способность к аргументации. Все равным образом гордятся находящимся у них во владении универсальным принципом постижения. Все наслаждаются божественной привилегией — мыслить без усилий и разом обозреть мир. Ценой этого оказывается безличность мысли. Словами Спинозы о них можно сказать, что не они мыслят, но через них мыслится. Схема завладевает их мышлением.

Ей тем легче это сделать, поскольку новое знание не вызывает ни малейших сомнений: оно получило абсолютную гарантию от двух веков развития науки. Достоверность научного знания, которое не было подвергнуто эпистемологической критикой конца века, обобщается здесь и переносится на все виды знания, собранные «центральным видением» и унифицированные универсальным принципом познаваемости. Но и за это нужно платить дорогую цену. Идеологическая достоверность, ссылающаяся на то, что она считает научной достоверностью, ставит под запрет религиозный акт сознания. Гнозис уже не может развиваться в мифологии, в искусстве, в философии, как то было ранее в случае религиозного гнозиса. Для достижения достоверности идеолог должен ограничиваться лишенным красок миром учебников по науке и технике. Но речь идет даже не о самой науке, поскольку достижения ученого в постижении феноменов, в открытии их законов, недоступны для идеолога, довольствующегося тем, что он просто включает их в ту или иную заранее заготовленную ячейку системы.

Но тут мы подходим к имеющему решающее значение парадоксу: в тот самый миг, когда диалектика порывает с миром, она приводит к воздействию на него. Знание, которое не соизмеряется с реальностью, так как реальность им не воспринимается и не созерцается, самопроизвольно ставит перед собой цель: воздействовать на реальность, чтобы изменить ее. «*Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, — пишет Маркс, — вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь, посюсторонность своего мышления... Филосо-*

¹⁷ F. Engels, 1952, стр. 205.

¹⁸ L. R. Graham, 1974, стр. 28.

фы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»¹⁹. Кабинетные ученые, каковыми были младогегельянцы, отставляют в сторону книги, чтобы окунуться в политику.

Именно своим отношением к политической деятельности идеология отличается от простого и вечного духа системы. Политическое действие становится и орудием завоевания, и способом жизни, который отбрасывает устаревшие философские системы. Надежду на спасение теперь несет политическая деятельность.

Генрих Гейне писал в 1834 г.: *«Немецкая революция не станет умереннее и мягче оттого, что ей предшествовали кантовская критика, трансцендентальный идеализм Фихте и натурфилософия. Через эти доктрины получили развитие революционные силы, которые лишь ждут момента, когда они смогут вырваться и заполнить мир ужасом и изумлением»*²⁰. Гейне представлял себе кантианцев, которые «с мечом и топором в руках перевернут всю почву нашей европейской жизни, чтобы вырвать последние корни прошлого», вооружившихся фихтеанцев, «фанатиков воли», и самых страшных среди них, натурфилософов, которые «деятельно вмешаются в немецкую революцию, отождествив себя с работой разрушения».

Однако судьба марксизма в Германии была иной. Вместо того чтобы сделаться ядром новой революционной антиреальности, он послужил интеграции рабочих в немецкое общество. Рабочее движение, руководители профсоюзов и кооперативов заблокировали сползание марксизма в идеологию. Они действовали не для того, чтобы перестраивать действительность по марксистской модели, но лишь для того, что Бернштейн назвал *«привнесением демократии»* в Германию. Они, на самом деле, и к этому стремились. Завоевания рабочих не причислялись к знамениям эсхатологического сражения, цели которого помещались по ту сторону их требований. Результаты борьбы оценивались именно как завоевания для рабочих. А так как рабочий класс представляли сами рабочие, то марксизм был подвергнут практической проверке. И наступил момент, когда Бернштейн стал настаивать на том, что социал-демократии стоит избавиться от доктрины, которая, после ее научного (эмпирического) опровержения, сохраняла только идеологическую функцию. Социал-демократы жили в реальности, а потому узрели в марксизме то, что скрывало от них реальность, мешало ее ясно видеть. В качестве теории марксизм был

превозможен и отброшен. Что же касается диалектики, то Бернштейн характеризовал ее следующим образом: *«Гегелевская диалектика тем более опасна, поскольку она никогда не является совершенно ложной: она похожа на истину, подобно тому, как блуждающий огонек напоминает солнечный свет. Она не противоречива, поскольку заявляет, что любой предмет несет в себе свою противоположность»*²¹.

Тем не менее, Гейне не ошибся. Другое течение, вышедшее из того же самого немецкого романтизма, претерпевало в те же годы процесс идеологизации. Националистическая и расистская мысль, получившая распространение в XIX веке, в XX столетии получила свое «научное» обоснование, обогатилась политической программой, захватившей и интеллигенцию, и массы. Гитлер привел это движение к власти.

Мы не станем проследивать развитие этой ветви от того же идеологического ствола, но ограничимся той ветвью, которая принесла свои плоды в России. Но перед тем как двинуться на Восток, нам нужно коротко подвести итог пути, пройденного идеологией во Франции и в Германии.

Взаимоотношение кризиса религии и развития современной научной и рационалистической мысли не привело во Франции к появлению *центрального видения*; скорее, произошел распад мысли на множество истин. Напротив, в Германии романтическая философия, а именно, философия Гегеля, предложила самый всеобъемлющий синтез со времен Аристотеля. В ней соединились Небеса, Земля и человеческая История, причем это было осуществлено в стиле великой философской системы. Но в то же самое время, претерпевая мутацию и изменив свою сущность, она может послужить каркасом для идеологии. Она передала идеологии свои притязания на универсальность. Возникла видимость того, что Вселенная разгадана, причем в тот самый момент, когда идеология с нею порывала.

Эта идеология достаточно понятна. Сопоставляя элементы, которые она последовательно себе присваивала, мы можем ее описать, так сказать, генетически, а потому лучше понимаем, чем она не является.

Мы имеем дело с систематизированной доктриной, обещающей спасение путем приобщения к ней; она претендует на то, что соответствует космическому порядку, разгаданному в его эволюции; она заявляет, что опирается на научную истину; она навязывает политическую практику, имеющую своей целью полную трансформацию общества по имманентной ему модели, которая уже содержится в обществе и открывается в нем идеологией.

¹⁹ Theses sur Feuerbach, в *K. Marx, F. Engels*, 1947, стр. 57, 59.

²⁰ Цит. по *K. Lowith*, 1969, Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne.

²¹ *Bernstein*, 1974, стр. 67.

Общность с религией у идеологии исчерпывается надеждой на спасение (эта общность не признается самой идеологией); с философией и наукой ее роднит рационализм (извращенный способом его употребления). Этого недостаточно для того, чтобы говорить об их настоящем родстве. Идеология обладает ментальной структурой гнозиса, но видоизмененной той достоверностью, которую она заимствует (если не сказать — ворует) у науки. Полем ее действия является политика.

Идеология представляет собой хорошо датируемый феномен, для возникновения которого требуются особые обстоятельства. Ни либерализм, ни национализм, ни традиционализм, ни большинство вариантов социализма XIX века не подпадают под понятие идеологии в том узком смысле, в каком мы употребляем это слово. Ему соответствуют только два исторических образования и только они: гитлеризм и ленинизм. При этом можно заметить, что гитлеризм, допускающий иррациональные полурелигиозные элементы, нестабильный и эфемерный, в качестве идеологии далек от совершенства, если сравнивать его с ленинизмом.

Наконец, если происхождение идеологии (как продукта одновременной порчи и религии, и науки) принадлежит интеллектуальной истории, то последняя сменяется затем политической историей. В своей первоначальной форме идеология возникает во Франции, затем, в более развитой, появляется в Германии, причем началом ее в обоих случаях оказывается кризис старого порядка. Она требует поддержки определенной социальной группы — интеллигенции.

В этих двух странах она либо рассыпалась, либо сдерживалась успешным развитием гражданского общества.

Все эти обстоятельства, за исключением последнего, мы обнаруживаем в России.

РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ В РОССИИ

Франция и Германия представляют собой миры достаточно богатые и разнообразные, в них можно выделить много других аспектов истории духа, нежели тот, что мы наметили, руководствуясь тем, что произошло позднее в России.

Эта страна проще. Ее культура моложе, пишущих людей меньше, а мыслителей еще меньше. А главное, кажется, что они вдохновляются историей, чье продолжающееся давление на весь мир представляется всеохватывающим. Они не могут выскользнуть из чересчур сильного магнитного поля этой истории. И потому поколения исследователей разбирали следы предков большевизма, которые давно должны были быть стерты. Эта история оказалась сверхизучена, и все, что не имело отношения к великому событию русской революции, в конце концов было, порой насильственно, к нему привязано.

I

В России, как и во Франции и в Германии, проблема идеологии возникает лишь на фоне религиозного кризиса. К сожалению, религия в России занимает особое место. Хуже того, считается, что ее знают, хотя она была искажена множеством сложившихся много позднее легенд. Действительно, русская религиозная мысль в XIX веке строила себе все более и более совершенную родословную, которую в начале XX века уже можно было принять за подлинную¹. Значительные усилия исследователей и эрудитов были потрачены на создание этой вымышленной истории, поэтому когда пытаются восстановить подлинную, оказываются перед все более и более хрупкой чередой предположений и догадок. Попробуем, однако, набросать главные черты этой картины.

Русский народ был приобщен к восточной греческой версии христианства в конце X века. Что означало это приобщение? Запечатленное религией романтическое представление о средневековом христианстве, как пе-

¹ Наилучшим и наименее затронутым этим искаженным изложением истории является написанное в 1937 году *G. Florovsky*. Работа *Миллюкова* (1900) не утратила по сей день своей ценности.

реживающем эпоху «подлинной веры», сегодня большинством историков отброшено. Величие соборов, куполов и святых может быть отнесено только к элитарной культуре, а она всегда охватывает лишь меньшинство. Большинство же живет, как и сегодня, в повседневном язычестве, то есть в христианопоподобной религиозности, в сути своей весьма отдаленной от догмата. Эта картина подходит и для Запада, и в еще большей мере для русского народа, жившего в отдалении от центров цивилизации, к тому же одичавшего в результате монгольского нашествия и последовавшего за ним бегства в леса и упадка городской жизни. То, что русский народ получил Литургию и Библию на своем собственном языке, сообразно византийским обычаям, установило вокруг него стену, поскольку не было нужды изучать греческий и латынь, два великих языка и религиозной, и светской культуры². В отличие от латинского стиля в православии больший упор сделан на Литургии, нежели на этическом и интеллектуальном воспитании. И русский народ оказался более приобщен к Литургии, нежели к катехизису. Насколько известно, древняя русская народная религия, по-прежнему существующая, безусловно трогательная и впечатляющая, и о которой мы не беремся судить, в еще большей мере, чем в мире латинском, отмечена невежеством и магией. В частности, религиозная культура наполнена библейскими апокрифами, фольклорной литературой с ее многочисленными чудесами, или же литературой апокалиптической, требующей богословского толкования еще настоящей, нежели канонические апокалипсисы, а такового толкования, как правило, и не было³.

Если в XIX веке благодаря протестантским библейским обществам русский народ и располагал каноническими писаниями, то это был в первую очередь Новый завет, иначе говоря, отнюдь не полный и уравновешенный канон. Это невольно приводило к *маркионству*⁴. Еще раз повторим: не существует единообразных критериев, позволяющих решить, был ли русский народ в XIX веке более или менее христианским, нежели французский католический народ или немецкий протестантский. Но без сомнения, идея *Святой Руси* не менее мистична, нежели *Христианский мир* Новалиса, Шатобриана или Пеги.

Народная религия ускользает от обследований и издали представляется весьма устойчивой. Христианская культура элиты живет в ритме страны. Превратности истории воздействуют в основном на верха. Из этих превратностей следует подчеркнуть три: государство, протестантство и католичество.

² G. Florovsky, 1970, стр. 132.

³ N. Ross, 1973.

⁴ Литургия, напротив, предоставляла большее место Ветхому Завету

Во-первых, воздействие государства. У законности Великого князя Московского было два источника. Он был наследником татарского хана. Хан располагал законностью завоевателей. Русская церковь призывала молиться за него. Его наследник, царь Московский, мог считать себя завоевателем собственных подданных. В этом своем качестве он владел ими, как рабами⁵. Но царь стремился и к законности православного императора. Как базилевс, он должен был следить за верой своих подданных. А последние были крещены как раз в ту эпоху, когда между Римом и Константинополем начал углубляться раскол.

В предшествовавших катастрофах и последовавших за падением Константинополя и, в частности, за неудачей Флорентийской Унии антилатинские настроения стали очень сильными в православии; их распространяли греческие епископы, нашедшие себе уютные места в России варварской, но независимой от турецкого господства. Возникла та точка зрения, что Россия после того, как Рим впал в ересь, а Константинополь попал в руки ислама, стала единственной носительницей подлинной веры, остатками Израиля, если не новым Израилем. Такое противопоставленное другим странам обособленчество было выгодно государю, поскольку оно религиозно обосновывало национальное единство и династическую законность. Псковский монах Филофей, придумавший в начале XVI века тему Москвы — третьего Рима вдохновляясь апокрифическим Апокалипсисом IV Книги Ездры, приветствовал в Василии III *«единственного властителя всех христиан. В его царстве вся власть христианская»*.⁶ Раскольнический дух ненависти к латинянам способствовал концентрации власти и ее абсолютизации в московском самодержавии. Говоря словами Иосифа Волоцкого, по природе своей царь подобен людям, но достоинством своим он равен Господу Богу. Он не просто слуга Господа, но представитель Его, следящий за чистотой веры и благополучием церкви. Потому и дан ему Господом меч⁷.

По сравнению с властью базилевса власть царя куда как безграничней. Она священна, и все, даже церковь, должны быть ей послушны. С этого момента цари начинают рассматривать церковь главным образом с точки зрения ее способности укреплять их самовластие и служить их замыслам. Это не слишком оригинально. В это время Тюдоры в Англии рассуждали точно также.

С Запада на русскую церковь воздействовали две силы: католичество и протестантство.

⁵ M. Cherniavsky, 1970, стр. 65 и далее.

⁶ Цит. D. Strevooukhov, 1970.

⁷ F. Dvornik, 1970, стр. 730.

Католическое влияние осуществлялось в XVII веке через Польшу, но не прямо. В самом деле, чтобы принять политический и культурный вызов польско-литовского Запада и, в частности, угрозу униатства, русская церковь была вынуждена заимствовать кое-какие инструменты из арсенала противника, хотя бы чтобы лучше ему противостоять. Это воинственное подражание внешним формам для того, чтобы ничем не поступиться во внутренней сущности, характерно для всего того, что называют европеизацией России, ее приобщением к Западу. Полею борьбы была Белоруссия и Украина, вскоре попавшая во власть Москвы. В Киеве, по примеру польских академий, была создана православная академия. В ней обучали схоластическим методам размышления, и для русских это было первое знакомство с рациональной западной строгостью и точностью мысли. Языком культуры была латынь. Катехизис основывался на катехизисе иезуита Петра Канизия. Следуя опять же западному образцу были открыты первые семинарии, первые школы в России, и греческая традиция преподавалась там на латыни, по латинской методе, с помощью книг на латыни. В 1685 году в Москве открылось первое высшее учебное заведение, «греческая» академия, сохранявшая, однако, латинскую традицию киевской академии.

Для самодержавия в соскальзывании к католицизму заключалась опасность: вместе с культурой и знанием в Россию могли быть завезены римские идеи независимости церкви от преходящей власти государя. В конце XVII века у московских патриархов появились некоторые поползновения в сторону независимости, которую они могли оправдать подлинной, а не подкрашенной московской властью византийской традицией. Но пример этой независимости они видели на Западе⁸. Однако в это время произошла Петровская революция.

Петр Великий с помощью своего патриарха Феофана Прокоповича навязал России сверху квазиреформу⁹. Когда крестьяне закрепощены, а бояре и аристократия либо вырезаны, либо приведены к повиновению, Церковь остается единственной организацией, частично ускользающей от государственного контроля. Петр Великий понял, что насильственная «протестантизация» России — самый быстрый способ исправить это упущение. Лютер подчинил церковь князьям. Недавно Пуфендорф, которого Петр Великий читал, показал, что по праву государство превышает всего, и для мира и общественной безопасности важно, чтобы и клир ему подчинялся. Сообразно лютеранским представлениям подлинная церковь

невидима, и свобода христианина — внутренняя свобода. Это вполне могло служить замыслам самодержца.

Московский патриархат был закрыт и заменен Святейшим Синодом, подобием лютеранского синода, то есть учреждением чиновников в рясах и в мирском платье, назначаемых государем для управления делами церкви. Свод правил для церкви (Духовный регламент, 1720 год) подражал *Kirchnerordnungen* лютеранских государств, и в особенности Уставу 1686 года шведского короля Карла XI. Он содержал также откровенно протестантские богословские утверждения, например принцип, по которому для спасения достаточно Писания, а традиция — излишняя. Тем самым под видом борьбы с суеверием государство покушалось на Литургию и таинство церкви. В семинариях лютеранская схоластика Герхарда и философия Вольфа (в учебнике Баумейстера) вытесняли Фому Аквинского и Кэтану¹⁰. Впрочем, намерением Петра, осуществленным его наследниками, было превращение церковного обучения в ядро или в парник для образования государственного. Превращение сети приходов в сеть школьного просвещения было практикой лютеранской Германии. Но в духе петербургской империи та же сеть могла играть роль духовной полиции.

В результате в конце XVIII века православная церковь в сильной мере утратила свой авторитет в двух слоях общества: в народе и среди аристократии. Часть народных масс оставила патриархальную церковь. Раскол увлек за собой лучшую часть традиции. Если *Святая Русь* и существовала где-то, то только в затерянных на северо-востоке деревнях, избежавших жестоких преследований центральной власти. Вместе с тем появилось множество сект, не слишком отличавшихся от сект протестантской Европы. Антииерархические, просветительские, фундаменталистские по своему характеру, они поглощали народное религиозное рвение.

В европеизированной части России, в том, что именовалось «обществом» (то есть в дворянской и чиновничьей среде), официальная церковь не воспринималась всерьез. Это порождало два типа поведения. Первый, следуя светской петровской линии, ориентировался на вольтеровский деизм, процеженный через сито немецких просветителей и подталкиваемый тем, что можно назвать правительственным франкмасонством. Второй стремился удовлетворить свои религиозные потребности вне церкви. Поэтому Россия после того, как ей навязали жесткую синодальную лютеранскую организацию, к тому же разращенную самодержавными проектами, повернулась в надежде на возмещение и вполне добровольно к другому аспекту германского протестантизма, то есть к сентиментализму и пиетист-

⁸ В самом деле, было бы ошибочно просто приписывать Византии московский «цезаризм-папизм». См. *D. Obolensky*, стр. 21–23.

⁹ См. прекрасную главу у *Treadgold*, 1973. О связях Киев—Запад см. *J. Rupp*, 1970.

¹⁰ См. статью *Россия* в «Словаре католической теологии», на редкость содержательную.

ской мистике. Для немецкого пиетизма Галльского университета (тут можно обратиться даже к религиозным проектам Лейбница) Россия — страна предназначения¹¹. Перешедший в православие украинский еврей Симон Тодорский, учившийся в Галле, привез в Россию в 1735 году русский перевод «Истинного христианства» Арендта, оставшийся почетной книгой для русской церкви вплоть до XX века. Спенер, Арендт, Арнольд стоят на библиотечных полках русских монастырей, вместе с Фенелоном и «Подражанием Христу», особо почитаемым пиетистами. Но наиболее эффективной двигательной силой мистики и эзотеризма Просветителей было франкмасонство, к нему в России примыкал и двор, и город. Библия просветителей «Об ошибках и Истине» Клода де Сен-Мартена, опубликованная в 1775 году, попала в Россию в 1777 году и вскоре была переведена на русский. Великий князь Павел приобщился к шведскому франкмасонству в 1777 году. Его жена, будущая императрица Мария Федоровна, была знакома с Сен-Мартеном в своем вюртембергском поместье Монтбелиар.¹² В 1780 году франкмасонство в большинстве своем склонилось к рационализму и мистицизму. Издатель Новиков взялся распространять эту литературу в большом количестве экземпляров. Заезжий немецкий профессор Иоганн Шварц основал русскую ветвь ордена розенкрейцеров, целью которого было распространение научных и философских знаний и помощь в нравственном совершенствовании, «дабы быть безгрешным, как Адам до грехопадения». Его последователь Лопухин, крестный отец Киреевского, в своем произведении «Некоторые черты внутренней Церкви» развивает в конце века умеренно еретическую мистику¹³. В этой работе содержатся характерные темы грехопадения Адама, созданного андрогином и изгнанного из царства Света, конечного возрождения, внутренней церкви, истинной церкви Иисуса Христа, лишь внешним воплощением которой является существующая церковь, и, наконец, сотериологическая расшифровка истории. Существенно, что даже Лопухин намекал на положение используемой монахами-исихастами молитвы и издавал вперемешку Парацельса и Макария Египетского, Молино, Сен-Мартена и св. Григория Паламу¹⁴. Действительно, можно заметить, как начинает вырисовываться тот бессознательный синкретизм современной европейской теософии и греческой патристики, который ляжет тяжелым камнем на позднейшую русскую религиозную мысль.

¹¹ Об отношениях между Лейбницем и Петром Великим см.: *J. Baruzi*, 1907, гл. III. О связях Галльского университета с Россией см.: *V. Raeff*, 1967а, 1967, гл. V.

¹² *D. W. Treagold*, 1973, стр. 125, *A. Faivre*, 1973, стр. 168.

¹³ Эта работа была издана в 1800 году по-французски.

¹⁴ *A. Faivre*, 1973, стр. 96.

В конце того же века возникло католическое противотечение. Екатерина предоставила убежище ордену иезуитов, распущенному папой во всей Европе. На захваченной русскими территории Польши было несколько колледжей иезуитов. Они создали несколько других в Санкт-Петербурге, им удалось, особенно при Павле I, совершить несколько надевавших много шуму обращений при дворе¹⁵.

Слишком много шуму и слишком близко ко двору, и это не могло не вызвать реакции. Она приняла форму подлинной пиетистской революции, охватившей всю Россию с 1815 по 1825 год. За главной ее волной, пришедшей из Германии, следовала дошедшая до России волна веслианского и квакерского *revival*, уже поколения потрясавшего Англию. Эта реакция шла не от православия. Оно было слишком ослаблено, чтобы принять в ней участие. Источник реакции был чисто протестантский¹⁶.

Как это было вполне естественно для России, инициатором выступил сам император. Александр I, читавший Библию во французском переводе, теософов и возглавивший борьбу против Наполеона, принял протестанство в 1812 году. В письме к своей сестре он объясняет ей разницу между церковью внутренней и церковью внешней¹⁷. Он рекомендует ей Арнольда, Толера, Сведенборга, Сен-Мартена, «Подражание Христу», всех классиков пиетизма и ни одного автора русской православной традиции. В его окружении можно встретить моравских братьев, квакеров, Юнга Штиллинга, Баадера, мадам де Крюденер и другие фигуры международного пиетизма. Петербургское библейское общество, основанное англичанами, начинает впервые переводить Библию на обычный русский язык. Это Библия без примечаний (*sola scriptura*), в английском стиле, она не простирается далее Нового Завета. В Святейшем Синоде князь Голицын и его друзья Лабзин (ученик Шварца) и Кодшелев (старый друг Лаватера, Сен-Мартена, Экхартхаузена) намереваются создать сообразно еще смутным планам новую государственную религию. Александр мог рассчитывать на поддержку мелкопоместного дворянства. Действительно, католичество искушало лишь высший слой аристократии, где оно соединялось с либеральными мечтами о монархии под контролем аристократии, опять же в английском стиле. Отнюдь не к этому стремилось мелкопоместное дворянство, предпочитавшее свободе и привилегиям равенство под властью деспота. К тому же, у мелкопоместных дворян не было средств для воспитания во французском духе, и пиетистские идеи,

¹⁵ *V. J. Rouet de Journal*, 1922.

¹⁶ *D. W. Treagold*, 1973, гл. V: Rationalism and sentimentalism.

¹⁷ См.: *F. Ley*, 1975, стр. 56.

разносимые торговцами, ремесленниками, офицерами и техниками, были куда доступнее их социальному и культурному уровню.

Однако эта революция быстро закончилась. Государство отдавало себе отчет в несбыточности этой затеи. Оно не сталкивалось с явным сопротивлением (и митрополит Московский Платон склонялся к пиетистским идеям), а скорее с пассивным недоброжелательством существующей клирической администрации, которую библейские общества могли вытеснить и сделать ненужной. А можно ли будет ждать от этих обществ столь же примерной покорности, что от веками дрессированного православного клира? И в конце концов, если католический уклон вел к либерализму, протестантский, не лишенный элементов кальвинизма, мог привести и к демократии. В 1824 году Голицын был смещен, а библейские общества распущены.

К этому давно толкала старая допетровская среда, замшелые аппаратчики вроде Магницкого и Ширинского-Шахматова, встревоженная ослаблением дисциплины в Церкви и стремившаяся к восстановлению строгого государственного контроля, хотя бы и в православных одеждах. Падение Голицына было делом их рук.

Так каково же было религиозное положение в России в тот момент, когда на сцену выступила немецкая романтическая философия? С определенной точки зрения оно не слишком отличалось от существовавшего в Германии в момент зарождения этой самой философии. С одной стороны, в духовном отношении не слишком блестящая и подчиненная властителю Церковь, неспособная руководить духовной жизнью интеллектуальной элиты. С другой — религиозный порыв некоторых светских кругов, находящихся на периферии, а то и вовсе вне господствующей Церкви. Другие черты чисто русские: бедность или даже убогость интеллектуальной жизни клира; узость отвоєванного у пиетистского *revival* пространства, охватывающего только дворянство, да и то только небольшую его часть; наконец, не слишком большая взыскательность этой среды, которая только начинает свое интеллектуальное образование и вынуждено занимать все идеи в Германии.

Не следует слишком доверять обобщениям. Существовал, возможно, ручеек живой традиции в русской Церкви. В конце XVIII века на окраине империи, в Молдавии, афонский монах украинец Паисий Величковский переводил *Филокалию* с греческого на церковно-славянский. *Филокалия* была антологией аскезы, мистики и молитв восточных отцов Церкви, опубликованная в Венеции в 1782 году. Нужно подчеркнуть, что *Филокалия* на церковно-славянском — сборник духовности, а не догматики и метафизики, сходен с французскими и немецкими сборниками той эпохи. *Филока-*

лия, используемая в русских монастырях, не противоречила пиетистской чувствительности, проникавшей в это время с другой стороны. Однако само это существование православной духовной жизни в традиционном облике предоставило оправдание последующим прививкам и обобщениям славянофильского романтизма. Оно же способствовало их фальсификации.

В самом деле, теологическое построение славянофилов, а затем и Достоевского, расцвело не на почве православной традиции, давно уже почти иссякшей. Оно пришло из других мест. И лишь позднее, чтобы соответствовать своей националистической логике, славянофильство ею заинтересовалось, а точнее, заново реконструировало, создавая себе тем самым поддельную родословную.

Нет смысла продолжать далее историю религиозного воспитания России. Нужно, однако, отметить одну устойчивую особенность русской религиозности и русской религиозной мысли: некоторое пренебрежение к каноническим формам, к праву и упор на переживания, на чувство.

Очевидно это пришло не из Византии. Достаточно зайти в греческую или сербскую, а то и украинскую церковь, чтобы заметить, что даже Литургия, столь напряженно чувственная в русской церкви, не обладает там столь трогательным воздействием. Это пришло от немцев, а точнее от Петровской полуреформы. Церковь, полностью подчиненная государю и вынужденная прислуживаться, не склонна придавать особенно высокой ценности тому, чего она лишена, то есть праву. Вместо этого она широко раскрывается навстречу религиозной патетике, хлынувшей из пиетистских течений. Эта патетика запечатлелась в неизменной литургии Хризостома, изменила песнопения, придав им иную тональность. Как классическая пьеса в новой постановке оказывает иное воздействие, так и православная форма наполнилась новым содержанием. Однако было бы ошибкой, той самой, которую сделали славянофилы и их последователи, приписывать этому современному духу древность традиции.

II

Немецкая идеалистическая философия принесена в Россию иллюминатским *revival*. Во всеобщей реакции против рационализма просветителей, против безрелигиозности и революционных идей, откровенно религиозная немецкая философия хорошо согласовывалась и с воззрениями правительства, и с воззрениями Церкви. Шеллинга торопливо преподают в университете и в богословских академиях. Точнее сказать, не самого Шеллинга, а упрощенное шеллингианство. В Москве образовался маленький кружок аристократов, друзей духовности: Кошелев, Киреевский, Шевырев, Погодин, Одоевский. Около 1830 года они сблизились с не-

сколькими профессорами, преподававшими в университете то, что Александр Койре назвал «шеллингианством предисловий».¹⁸ Эти профессора учились в Германии у эпигонов мэтра: Окена, Клейна, Вебера. Они часто использовали обзоры «*Revue des deux mondes*» и резюме Виктора Кузэна. Так формировался круг мыслей этого поколения.

Эта вульгаризация шеллингианства была соблазнительной, поскольку выдавала себя за всеобщее знание. До той поры Россия ничего не знала о западной науке. Она только вывозила техников, артиллеристов, инженеров и архитекторов. Вместо того чтобы приступить к длительному и трудному обучению точным наукам, соблазнительно сразу же ухватиться за единую, хотя и расплывчатую, космологию. «Наука о природе» ищет «глубинное» (вот ключевое слово) единство природы, иначе говоря, центральное мировоззрение, в котором объединялись бы магнетизм, электричество (то есть гальванизм), химизм, затем физиология и психология и, наконец, Дух. Стоит найти такую точку опоры, и точные науки, то, что Велланский называет «расхожими доктринами физической науки», представляются поверхностными и «односторонними». Этот смутный органицизм, эти схемы эволюции, в которых «в полутьме смешиваются идеи, идущие от Шеллинга с идеями, пришедшими от Парацельса, Бруно и Хердера»,¹⁹ кажутся этому поколению последним словом науки. Провинциализированный гнозис позволяет сократить длительный процесс приобщения к культуре и европеизации, не слишком себя утруждая.

Более того: этот гнозис позволяет, стоит только его усвоить, презирать всю ту культуру, которую он критикует и стремится собою заменить, либо обобщает и хочет воплотить, то есть всю совокупность доидеалистской европейской культуры. До Шеллинга на Западе было лишь поверхностное, частичное и легкомысленное знание, и все эти три эпитета отнесены ко всей английской и французской классической культуре. Это же позволяет поставить затем (и в более лестных выражениях) жгучий вопрос о русской сущности и национальной культуре.

Этой проблемы не возникало на франко-английском Западе. Запад достаточно уверен в себе и в своем прошлом, чтобы не задаваться вопросом о преимуществе того, чтобы быть французом или англичанином. Скорее она свойственна Италии или Германии, где отсутствие единого национального государства воспринималось как ущемленность. Но в обеих этих странах достаточно было обернуться на славные достижения культуры, чтобы успокоиться. Достаточно было переместить центр тяжести национализма с национального государства на национальную культуру,

чтобы найти в себе принцип превосходства. В России национальное государство только что доказало свою мощь, раздавив одного за другим трех великих завоевателей XVIII века: Карла XII, Фридриха II и Наполеона. Но в глазах части собственной аристократии это государство нуждалось в оправдании. Если у России нет ни памяти, ни истории, если ее культура, как писал Чаадаев, вещь отсутствующая, то государство — лишь пустая форма, и его существование неоправданно. Короче, нужно определить миссию России.

Я не намереваюсь излагать здесь систему взглядов славянофилов. Я хотел бы только указать на то, что в проповедях Киреевского и Хомякова готовило путь для идеологии.²⁰

Суть же в следующем. Пути их мысли, их проблематика, их главные идеи пришли к ним с европейского Запада, включая и самую важную идею национализма. Их задачей стал импорт национализма, но импортные этикетки должны были быть с него спороты. Надо было национализировать германский национализм так, чтобы казалось, будто происходит он из глубин русской нации, как явление чисто местное, как носитель русских ценностей. Нужно было облечь эту культурную новинку в одежды древней традиции. Поскольку национализм утверждается в противоборстве, надо было противопоставить Россию Германии и европейскому Западу, используя немецкие и западные аргументы, но обращенные к Западу, и ни в коем случае не ссылаться на их подлинный источник. Чего нет у славянофилов, так это ссылок и цитат.

Таким образом надлежало создать бытие-фикцию, историю-фикцию, религию-фикцию, политику-фикцию.

Я приведу несколько примеров, почерпнутых у Киреевского и Хомякова²¹.

Главной темой Киреевского является критика рационалистической концепции человека и, следовательно, всего рационализма. Ему он противопоставляет подлинно цельную личность, объединенную вокруг невидимого жизненного источника, доступного, однако, тому, кто его ищет. Рационализм разрушает внутреннюю цельность, препятствует подлинному конкретному взаимопониманию, разбивает человеческий дух на некото-

²⁰ Работы о славянофильстве могут быть разделены на две группы. К первой относятся его сторонники. Их подавляющее большинство. Упомянем, в частности, *A. Gratieux*, 1939 и 1953, *P. K. Christoff*, 1961. Ко второй группе, насколько мне известно, относятся только две, обе замечательные, работы: *F. Rouleau*, 1972, к сожалению еще не изданная, и *A. Walicki*, 1975. К ним можно прибавить, по особым причинам, *P. Baron*, 1940.

²¹ *Киреевский*, 1911. Что касается богословия, то в работах Хомякова (1872) содержится самое существенное.

¹⁸ *A. Koyre*, 1929, стр. 99.

¹⁹ Там же.

рое число отдельных способностей, ревниво относящихся к своей независимости и очень скоро приводит к ссоре. Деспотизм разума ускоряет распад духа, совершенно так же, как его аналоги в социальной области: римское право и внешняя власть Римской Церкви связывают людей вместе вместо того, чтобы их объединять, и ускоряют тем самым процесс атомизации общества. Только верующий православный знает, что полнота истины требует полноты личности, и постоянно ищет эту целостность. Так противопоставляются два типа цивилизаций, одна — «внутренняя» (православная), другая — «внешняя» (западная); одна всеобщая, другая — «логическая и техническая». Если кажется, что Запад превзошел Россию в науке и технике, то это потому, что он избрал легкий и чисто внешний путь развития, тогда как Россия предпочла трудный путь внутреннего развития, нравственный и глубокий, высший в абсолюте²².

Сообразно общему мнению, Киреевский почерпнул эти идеи у греческих отцов Церкви²³. В 1842 году он посетил в Оптиной пустыни старца Макария и перевел вместе с ним множество высказываний Исаака Сирина. В них он нашел мысль о внутренней концентрации и цельности. И у Максима Исповедника разум — орган одного лишь знания, тогда как мудрость охватывает весь человеческий дух. Вывод: славянофильство — простое продолжение в современности той религиозной традиции, которая господствовала в России со времен Владимира Святого и лишь временно ослабела из-за жестоких реформ Петра I и его последователей. Киреевский, беседуя о Шеллинге со своей женой, услышал в ответ, что она уже читала это у Исаака Сирина. И действительно, раскрыв тотчас Исаака, он нашел там главные мысли Шеллинга, только исправленные и углубленные.

К сожалению, доказано, что Киреевский уже пришел к этим идеям до того, как заинтересовался патристикой. А если открыть книгу Фредерика Шлегеля «*Философия жизни*», то можно обнаружить там в полном объеме и понятие средоточия души, и разрушение внутреннего единства рассудком, и сравнение вытекающего из него внутреннего конфликта с социальным хаосом²⁴. Идея Киреевского о разуме, оживленном верой, содержится у Якоби. Киреевский яростно критиковал римскую идею права и противопоставлял ему обычай, развивающийся естественно, как живой организм: он повторял таким образом Савиньи. Его полное отрицание Рима, римского права, Римской империи, в которой он видел источник рационализма, капитализма, Французской революции и наполеоновского деспотизма, пришло к нему от Адама Мюллера²⁵. По Киреевскому, существует два типа общественных связей, первый — основанный на внешнем принуждении, характерный для латинских и германских обществ, другой — основанный на согласии, гармонии, общности веры, на любви. Таковы общественные связи, объединяющие русских между собой и с их царем.

Однако уже в 1814 году немецкий теософ Франц фон Баадер различал два типа связей, существующих и в природе и в обществе: связь, основанная на любви и взаимном притяжении, и связь, основанная на принуждении, механически соединяющая социальные элементы. Любовь делает силу излишней.

Тому же Баадеру в эпоху расцвета иллюминатства была поручена редакция учебника по религиозному просвещению русского клира. В конце своей жизни он писал министру Уварову, что Запад погибнет либо под механической диктатурой католицизма, либо от анархии и раздробления протестантизма; что Реформация — лишь продолжение в иных формах римского принципа; что поскольку философия пришла в упадок после Декарта, рассудок и вера оказались противопоставлены друг другу; наконец, что Провидение охранило русскую Церковь от разрушительного влияния Европы. Церковь остается единственной силой, способной излечить оба других христианских вероисповедания и привести Европу к духовному возрождению: это наиболее полное изложение философии истории Киреевского²⁶. Те же заимствования и те же фальсификации можно обнаружить и у Хомякова. Его главный богословский трактат «Церковь одна» по его желанию должен был быть опубликован по-гречески, с предисловием, в котором он указал бы, что речь идет о неизданной рукописи, отражающей православную мудрость и освященной владыками²⁷. Это была бы богословская Песнь Оссиана. По Хомякову, сущность древней Церкви заключалась в тождестве единства и свободы, синтезе, выраженном в духовной любви. Рим сохранил единство, но пожертвовал свободой. Реформация пожертвовала единством ради свободы. Только православие осталось верным изначальной традиции, тому, что он называет «соборностью» или духом согласия, который и ведет согласных к единению. Хомяков умалчивал, что повторяет слова Мелера, тюрингенского теолога, который еще в 1825 году противопоставлял «множеству без единения» протестантов католический принцип единства во множественности, гармонически согласую-

²² О необходимости и возможности новых принципов в философии, 1856.

²³ В. Zenkovsky, 1953, т. I, стр. 237 и далее.

²⁴ А. Walicki, 1975, стр. 154.

²⁵ Там же, стр. 161.

²⁶ E. Susini, Lettres inedites de Franz von Baader, Paris, 1942, стр. 456–461. Цит. по Walicki, 1975, стр. 164.

²⁷ Перевод R. Tandonnet в приложении к A. Gratieux, 1953.

щий индивидуальное разнообразие с единым сообществом, что вполне адекватно хомяковскому определению соборности²⁸.

Полемика с римским католицизмом привела Хомякова к поддержке той мысли, что догматическая истина покоится на церковном согласии, а не на иерархическом авторитете и даже не на Писаниях. Однако считать, что непогрешимость принадлежит всему христианскому народу в его целокупности, значит отвергать авторитет Церкви и в конечном счете проповедовать религиозную демократию. Это очень напоминает эволюцию Ламенне, хотя он, естественно, и не упомянут, поскольку соборность без иерархии может обитать только в русской православной Церкви.

Догматика не должна основываться на доводах рассудка. Западному богословскому рационализму, достигающему, по его мнению, своих вершин у Гегеля, Хомяков противопоставляет «дух единый», распространенный в России и соединяющий волю с верой. Воля и вера не нуждаются в демонстрациях. Они суть знание непосредственное и внутреннее. Это текстуально совпадает с той критикой, которую Якоби, а позднее и Шеллинг адресовали Гегелю (вера есть *Unmittelbare Wissen*)²⁹.

Безусловно, Киреевский и Хомяков внимательно прочитали отцов Церкви восточной традиции. Но сделали это они тогда, когда их система взглядов уже сформировалась, и с той целью, чтобы в этой системе сослаться не на ее подлинные источники. Речь шла о том, чтобы внизу страницы поместить сноски, отсылающие к иным авторам, а не к тем, чье влияние на себя они отрицали и родство с которыми признать отказывались. Это приводило к чтению патристики в перспективе германского идеализма. *Quirgoquo* было возможно. В самом деле, отдаленные корни немецкого идеализма уходят к тому же неоплатонизму, которым питалась и часть патристики. Однако отцы греческой церкви пытались выправить или исправить неоплатонизм от наслоений гностических влияний. Если же перечитывать отцов Церкви в контексте эзотерического идеализма, эти усилия пропадают даром. Гностическое влияние выдвигается на первый план. Целокупность восточной традиции оказывается деформированной: то, что было главным, переносится на периферию, а то, что было побочным, помещается во главу угла. Сюжеты Оригена и Евагра о всемирном возрождении (*апокатастаз*), дионисийские сюжеты отвергнутого пути (апофаз) вновь подняты на щит, что и лишило теорию равновесия. Немецкие спекуляции осуществили это в своих собственных целях и подготовили русских сим воспользоваться. Это открывало широкий путь к идеологиза-

ции теологии, поскольку теперь она призвана не определить акт веры, а предоставить *Weltanschauung*. Таким образом верование относится уже не к объекту веры, а к той концепции мира, которая будто бы гарантируется откровением и традицией.

Налицо религиозная фальсификация, поскольку натурализация в России пиетистского *revival* (или масонского, или идеалистского) осуществлялась путем создания ложной традиции, которой на самом деле никогда не существовало. Славянофилы читали Исаака Сирина, Иоанна Климача и прочих точно так же, как немецкие романтики читали Экхарта, Сьюзо или Силезиуса, чтобы создать национальную теологию. Вместе с тем немецкие романтики действительно были наследниками Эрхарта, каким ни было бы искаженным их прочтение, тогда как славянофилы наследовали немецким романтикам, а отнюдь не Исааку Сирию и Иоанну Климаку. Однако историческая фальсификация становится еще грубее в построении основополагающей пары славянофильской мысли: Россия и Европа.

1831 год. Киреевскому двадцать шесть лет. Он впервые покидает свое родное имение Долбино и приезжает на шесть месяцев в Германию. И незамедлительно он начинает судить не только Европу, но и ее сущность, которую он называет *европеизмом*. По его мнению, это болезненное состояние. Европеизм состоит из многих слоев: из разрушительного духа Просветителей, из науки, «*признающей подлинными только воспринимаемые чувственно предметы*», из искусств, сосредоточенных на бесплодном подражании, из утилитарной морали. С другой стороны, дух контрреволюции впал в мистицизм, мечтательность и постоянные философские спекуляции. Синтез этих двух течений невозможен, возможно только их насильственное и искусственное объединение. Он еще не осуждает Шеллинга и Шиллера, но через несколько лет он и их отправит в ад общеевропейской культуры (статья «*XIX век*»).

В 1845 году Киреевский ставит еще более мрачный диагноз. Покончено с романтизмом, да и с поэзией тоже. Гегельянство распадается, подлинная религиозная жизнь окоченела. Европейская культура умирает, она уже мертва. Что до Соединенных Штатов, то это карикатура Европы. Если России за грехи свои и придется «*променять свое великое будущее на одностороннюю жизнь Запада*», то уж лучше стать немцем, англичанином, на худой конец французом, «*чем задохнуться в этой прозе фабричных отношений, в этом механизме корыстного беспокойства*». Запад скверен, а Соединенные Штаты, крайний Запад, крайне скверны³⁰.

²⁸ A. Walicki, 1975, стр. 193.

²⁹ A. Walicki, 1975, стр. 316.

³⁰ Киреевский, 1911, т. I, стр. 153–154.

В 1852 году положение становится еще серьезнее. Заглянув в европейские романы, Киреевский берет за европейскую семейную мораль и обличает неудовлетворенность и безнадежную пустоту европейцев, Он использует все трафареты: итальянец ленив, француз легкомыслен, немец тяжеловесен, англичанин высокомерен. Он также осуждает роскошь во всех ее видах. Когда *«роскошь проникала в Россию, но как зараза от соседей. В ней извинялись; ей поддавались, как пороку, всегда чувствуя ее незаконность, не только религиозную, но и нравственную, и общественную»*. Честь России в том, что она не вступает в сделку с материальным миром. Так она оправдывает свою нищету.

Киреевский заимствует это всеобщее осуждение Европы в готовом виде у европейских писателей, в журналах, в романах, статьях расписывающих эти банальности. Раз они в этом признаются, думает Киреевский, значит это правда. Он некритично воспринимает всю ту критику, которую европейцы адресуют самим себе. Он не замечает, что в этом критическом восприятии самого себя и заключается подлинный европеизм. Это же и мешает ему познакомиться с Европой.

Киреевский считает, что судит Европу со стороны. Но он — «со стороны», на манер Перса из писем Монтескье или Гурона, североамериканского индейца, созданного воображением Вольтера. Однако Киреевский родился в России, он отнюдь не порождение фантазии, что и делает его критику трудно опровержимой. Славянофильство — не просто продукт национализма, вроде того, что в эпоху Империи натравливал Германию на Францию. Оно питается нечистой совестью Европы, которая созерцает эту совесть отраженной на русском экране; Россия же возвращает это отражение Европе, лишь поскольку сама охвачена в той же мере европеизированным ощущением нечистой совести. Отсюда и соблазнительность славянофильского видения Европы для России, а также и для самой Европы. Она вполне готова принять всерьез петербургского Перса и московского Гурона, которого в университетах Парижа и Геттингена она научила азбуке философии. Отправной точкой славянофильства является не любовь к родине, а страх оказаться неспособным любить ее, сомнения, утрата доверия и интереса к ней и страшная зависть к Западу, откуда приходят и все ценности, и все уроки. В великом театре европейской культуры молодые русские интеллигенты смогли устроиться лишь на галерке и сбоку, на наименее почетных местах. Как только они видят на сцене сатиру этой культуры, она им страшно нравится. Европа осуждена и соответственно национальные чувства оправданы. Отдаленность от сцены, которую так болезненно переживали, оборачивается удачей и достоинством. И вместо того, чтобы участвовать в европеизации, они приглашают Европу участвовать в русификации.

В мировоззрении Киреевского Европа — данность непосредственная, а Россия — им самим созданная. Изображение Европы может быть и неполное, и субъективное, но во многих точках оно соприкасается с реальностью. А вот построенная, как негатив мало знакомой ему Европы, Россия оказывается совсем не такой, какова она на самом деле. Это тщательно нарисованная яркая картина, зеркальное отражение его представлений о Европе, как аллегория добродетели напротив аллегии порока. Это и есть утопия Киреевского.

Россия *«не знала ни железного разграничения неподвижных сословий, ни стеснительного для одного преимуществ другого, ни истекающей оттуда политической и нравственной борьбы, ни сословного презрения, ни сословной ненависти, ни сословной зависти»*. Такое благолепие еще существует в народных глубинах. Как же без этого, если даже русские достоинства неиспытанные и неопробованные — вечные? Они существуют в скрытом состоянии, как тайна. Славянофилы не участвовали в позитивной русской историографии. Они мало и плохо читают подробные статистические сведения, публикуемые императорским правительством. Они не берут на себя труд спуститься с крыльца своих прекрасных особняков, чтобы посетить своих крепостных и посмотреть, как живет народ из плоти и крови. Многие славянофилы были довольно жестокими помещиками. Просто потому, что народ — не в избах. Народ — это духовное, обитель таинства. Они не спешат его узнать, достаточно созерцать его. Достаточно убежденно провозгласить, что *«русский быт, созданный по понятиям прежней образованности и проникнутый ими, еще уцелел почти неизменно в низших классах народа: он уцелел, хотя живет в них уже почти бессознательно, уже в одном обычном предании, уже несвязанный господством образующей мысли»*³¹. Иначе говоря, чем русская жизнь невидимей, тем реальней.

Если славянофильское описание России ложно, то объясняющая это описание теория неизбежно становится еще более ложной. Киреевский исходил из банально ложной картины Европы и давал этому продукту воображения сначала историческое, затем философское и, наконец, богословское объяснение. Тем самым он укреплял свои впечатления и придавал им достоверность, способную выдержать испытание временем. У него была теория латинского христианства, Римской империи, западного феодализма. Возьмем, к примеру, Римскую империю³². В Риме уже заключен весь Запад. Действительно, «внешняя рационализация» уже вообладала над внутренней сущностью вещей. *«Это заметно в семейной*

³¹ Киреевский, 1911, т. I, стр. 203.

³² Там же, т. I, стр. 184.

и общественной жизни, в предпочтении грамматики и права, в «искусственной» гармонии, подавляющей естественную свободу и живую непосредственность душевных порывов». Римская религия — это что-то вроде предтечи католицизма: «за внешним ритуалом она почти забыла ценность таинства». Римляне связывает, как в современных обществах, «общая корысть» и «дух сообщничества из личных интересов». Даже римский патриотизм холоден и сух, поскольку продиктован гордыней. Есть только «сухой рассудок логика и корыстный рассудок человека действия». Как можно заметить, Киреевский применяет к римской истории те категории, которые романтизм применяет к Западу, а конкретнее — к французскому классицизму. Но то, что являлось лишь общим местом, ни истинным, ни ложным в применении к современности, примененное к римскому прошлому становится абсолютно ложным историческим суждением. Киреевский теоретизирует по поводу впечатления вместо того, чтобы его критиковать, и тем самым еще глубже тонет в заблуждениях.

В политических воззрениях славянофилов преобладает одна тема: отказ от экономики предпринимательства, основанной на договоре и денежном обращении, отказ от либерального индивидуализма. В этом они не отходят от романтической и консервативной мысли, которая, как и мысль революционная, проклинала отчуждение и религию денег. В этом их инвективы сближались с марксовыми: одни и те же темы обнаруживаются у консерваторов и у социалистов той поры.

Тем не менее есть у славянофилов одна черта, которая отделяет славянофилов от консерваторов, и эта же черта ставит особняком Маркса среди социалистов. Их протест основан не на моральных соображениях, а подкрепляется их философией истории. Во Франции и Англии консерватизм не утруждал себя теоретизированием. В духе Бюкке древности и величия явлений прошлого достаточно для обоснования консерватизма. Даже в среде французских традиционалистов, среди которых католицизм обогатился новыми элементами, за традицией так строго следили догматические авторитеты, что любое отступление быстро осуждалось. В России же светские богословы предавались размышлениям вне связи со своей Церковью, хотя и претендовали на свою верность традициям и в помощь себе призывали романтическую историософию, ту самую, которая служила почвой и для марксизма.

Историософия Хомякова дуалистична. Религия является главным историческим фактором, но сама религия воспринимается, как порождение природы или составляет природный принцип. Здесь Хомяков не так уж далек от Фейербаха.³³ Существует два борющихся между собой религиоз-

ных принципа: иранский (или религия свободы) и кушский (или религия необходимости). Вся история выводится из их конфликта и их развития. Религиозный дуализм совпадает здесь с дуализмом расовым: человеческие расы делятся на иранские и кушские. Таков же и географический дуализм, его полюса расположены в Иране и в Эфиопии. К кушскому типу относятся цивилизации Египта, Вавилона, Китая, Южной Индии. Там правит материализм, формализм, право, государство. Античный мир представляется смешением двух принципов, Греция более иранская, Рим более кушский, что доказывается «со всей очевидностью» условностью и искусственностью римской религии и права. Христианство — это триумфальное возрождение иранского принципа, каким являлся в известной мере и древний иудаизм. Но этот спасительный луч был поглощен толщей кушизма: таков римский католицизм. Напротив, на севере и на востоке христианство коснулось германских и славянских племен. К сожалению, германцы оказались заражены Римом, и кушский принцип появился вновь в идеалистической философии. Если что и есть хорошее в Англии (Хомяков был ангофилом), то это связано со славянскими элементами. Разве слово Англ происходит не от названия славянского племени Углич? Именно славяне представляют иранский принцип во всей его чистоте. Это заметно в греческой религии, в «Илиаде», проникнутой славянским духом: Троя была славянской колонией. Но нигде славянство не является нам в столь чистом виде, как в русском народе. И, таким образом, интересы России совпадают с высшими интересами всего человечества³⁴.

Оставим этот русистский бред. Перед нами историография гностического типа в его классическом виде: два принципа (иранский и кушский, а также материя и дух, деньги и дар, право и любовь), их локальное смешение, их окончательное и спасительное разделение. В общем, два принципа и три времени манихейства, но вместо их выражения через мифологию, они представлены с помощью истории, будто бы подлинной и реальной, объектом науки, в ней можно удостовериться. Это знак перехода от гностической мысли к мысли идеологической.

Редко славянофильская мысль осмеливалась на такую откровенность. В этом отношении Хомяков довольствовался тем, что следовал за Фридрихом Шлегелем. Последний в своей «Философии истории» различал два типа развития: один плотский, другой духовный, и ссылался на две первоначальных расы, каинитов и сеттитов³⁵.

³³ Отмечено А. Walicki, 1975, стр. 209.

³⁴ «Записки о всемирной истории», 1500 страниц без ссылок! См. А. Gratioux, 1939, т. II, стр. 51 и А. Walicki, 1975, стр. 208–230.

³⁵ А. Walicki, 1975, стр. 222.

Наибольшую путаницу производит то, что Хомяков и Киреевский свои гностические схемы прикрывают и маскируют плащом христианской традиции. Все исторические, политические, национальные концепции сливаются в экклезиологическом дуализме.

В действительности Иран и Куш — фантазии совершенно излишние. Они лишь попытка объяснить естественным способом иную антитезу, антитезу христианского Востока и Запада, или, что одно и то же, антитезу России и Европы. Сообразно эзотерическому мышлению, каждая реальность выражает и маскирует иную, скрытую и более «глубокую» реальность. Пары: рационализм—всеохватывающая мысль, сельская община—капитализм, либерализм—патриархальность, даже Иран и Куш, в конце концов, охватываются парой русское православие—протестантизм с католицизмом в одной корзине.

Православная церковь олицетворяет историческое будущее человечества, идеальное общество или христианскую *politie*. Она же является мистической реальностью России. Поэтому Аксаков и говорил, что история России — святая история. Как таковое, такое представление о Церкви в известном смысле традиционно. Но для других она связано с романтической экзальтацией *Volkgeist*, поскольку народ (христианский) — источник творческого вдохновения, вместилище свободы и судья подлинной непогрешимости. Она связана и со старым пиетистским и масонским основанием, поскольку подлинная Церковь — не видимая институция, а Церковь внутренняя, незримая³⁶. И сразу исчезает необходимость что-либо доказывать, поскольку реальности осязаемые (Россия, ее политический режим, ее прошлое, русская сельская община — все то, что охватывается Церковью) есть реальности преходящие, а подлинная реальность — в ином месте и может быть постигнута лишь мистически, через приобщение к тайне внутренней, незримой Церкви. Славянофильское мировоззрение, хотя и считает себя обоснованным эмпирически, всегда может ускользнуть от проверки опытом, воспарив и сославшись на высший разум, к которому нужно приобщиться, чтобы его постигнуть. Это вполне типично для идеологии.

Но что делает ситуацию совершенно безвыходной, так это вливание христианского богословия. Немецкий гнозис в эзотерической масонской или в рационалистической романтической форме, у которого славянофилы позаимствовали почти все, представляется в своем собственном виде как таковой. Славянофильский гнозис считает себя сверхправославным, сверхтрадиционным, и он породил достаточное количество текстов, по-

черпнутых из лучших источников, чтобы поймать его за руку было трудно. Я — птица, вот мои крылья... Эта фикция, отказывающаяся признать себя таковой, опирается и на святых отцов и на реальность и становится фикцией двухступенчатой, ложность ее почти невозможно выявить.

Устроившись в религиозном сердце России, славянофильская фикция стала совершенно несокрушимой. Тому, что было по сути преходящим настроением, модой, она придала устойчивость традиции. Вместо того чтобы, как в Германии, опереться на философию, она обошлась без нее. Единственное из всех мировоззрений, формировавшихся в Европе в романтическую эпоху, славянофильское мировоззрение сумело укорениться в теологии, зацепиться за устойчивый принцип, за Церковь и христианскую веру. Отсюда и ее постоянство. Этим же объясняется и то, что по сей день она представляет собой альтернативу любой другой противостоящей ей позиции, западникам, народникам, либералам, коммунистам.

Однако став идеологией, славянофильство сохранило характер секты (что серьезно усугубляет раскол христианского Востока) и секты дуалистской, с ее ненавистью и отлучениями. И проникнув в русское христианство, славянофильство развернуло его, как рычагом, против своих собственных врагов. Подлинное наследие славянофилов не какие-либо ценности, а их отрицание, антиценности.

Это те же антиценности, что и у русского революционного движения. Презрение права, как договора, заключенного между собой свободными людьми, как естественного условия свободы и самостоятельности каждой личности. Для славянофилов, как и для революционеров, право — это суперструктура. Презрение и к либерализму, то есть к политической свободе как условию, основанию и первому камню приемлемого политического порядка, каким бы он ни был. «*Политическую свободу*, — писал Аксаков, — *свободой назвать нельзя*». И меняя, а точнее путая перспективу, добавил: «*Подлинная свобода — это дуновение Святого Духа*». Презрение и к Западу во всех его формах, римской и германской, немецкой и французской, католической и протестантской, средневековой и современной. Наконец, ужас перед капитализмом, то есть существующим и развивающимся миром, и особенно перед миром, который становится богаче. Производство товаров, особенно если они красивы и роскошны, товарообмен, денежное обращение вызывают бешенство и у славянофильского, и у революционного духа. Все лучше для России, лишь бы не либеральный на западный манер правовой порядок, лишь бы не рыночная экономика. Все лучше и, как скажут неославянофилы типа Бердяева, даже большевики. Потому что для славянофилов большевики совместимы с дуновением Святого Духа, а либеральные буржуа — нет.

³⁶ P. Baron, 1940, стр. 116.

Как бы ни была богата последствиями эта общность тематики, она не так существенна, как общая матрица мысли. Обычно славянофилам ставят в упрек их антирационализм, и действительно, в глазах целых поколений они обесценили всякую попытку воспринимать реальность на уровне рассудка. Все, что они ненавидели, обзывалось рассудочным: Запад, католичество, протестантство, либерализм и так далее. В этом смысле они существенно нарушили равновесие способностей нации, только приступившей к интеллектуальному обучению: они побудили ее жить сообразно привязанностям, удерживая ее в эмоциональном отрочестве. Пиетистские течения, уравновешенные в Германии солидными интеллектуальными институтами и серьезной тренировкой способностей к взаимопониманию, проникнув в молодую и интеллектуально почти что девственную страну, беспрепятственно подтолкнули ее к наиболее легким, не требующим усилий путям. Славянофильство намеревалось заменить право любовью; на самом деле оно делало большее: заменяло мысль чувством.

Если бы тем дело и ограничилось, это было бы полбеды. Обесценив рассудок в его аналитическом использовании, славянофилы не отказывались от понимания реального. Но это понимание должно было быть глобальным, ему не нужны ни аргументы, ни доказательства, поскольку оно дается целиком таинственным образом, как центральное видение в эзотерических сектах. Блестки подлинной харизмы, содержащиеся в этом видении, не в состоянии его исправить, но придают ему очарование и привлекательность. Многие русские, считая, что приобщаются к христианству, попались на эту приманку и приобщились к славянофильству. Думая, что избежали таким образом утопического революционного духа, они оказались в ловушке у его близнеца. Однако претендующая на реальность утопия уже не утопия. Славянофильская фальсификация истории и политики представляет как уже существующее, как свершенное Россией, лишь воображаемое. В реальности не существовало ничего из того, что они говорили о сельской общине, о взаимной любви царя и народа, о всеобщности, о согласии, о примиренности и так далее. Но они утверждали, что именно это и видят, и констатируют опытным путем в русской реальности. Так славянофилы оказываются вне революционного утопизма, рассматривавшего не настоящее, а будущее, и заранее ненасильственно и благодушно присоединяются к коренной лжи большевиков у власти, заключающейся в констатации социализма как уже существующего. Такой же разрыв между реальностью подлинной и той, о которой славянофилы говорят, что видят ее. Подготовило путь для идеологии не отступление русского разума в сторону чувственности, а его приобщение ко лжи.

Фальсифицируя прошлое манипуляциями историей, фальсифицируя настоящее навязыванием видения несуществующего, славянофильство в своих крайних и бредовых аспектах подобно ленинизму. И тот, кто освобождается от одного, очень рискует оказаться во власти другого.

Какое заключение можно сделать по поводу религиозной истории России?

Создается впечатление, что в Европе идеология зарождалась только в обстановке религиозного упадка. В Англии религиозный кризис привел к дифференциации. Плюрализм религиозной жизни позволил каждой группе населения, от наиболее благополучной аристократии и до самых обездоленных, вести тот стиль религиозного существования, который ей подходил, будь то в «высокой и строгой» Церкви, будь то в каких-либо диссидентствующих и восторженных сектах. Кальвинизм, тщательно разделив оправдание и освящение, что Лютер склонен был смешивать, повернулся к этике, а не к спекуляциям. В нем высоко ценится право, а для оправдания не прибегают к космологии. Так что помощь идеологии не требуется.

Единство французского католицизма не допускало ни подобной гибкости, ни адаптаций. Половинный успех католической реформы, утрата квалификации, пережитая в конце XVII века, привели к тому, что у Церкви не было никаких шансов охватить интеллектуальную жизнь нации. Первые намеки на идеологию, первые эзотерические спекуляции, революционный дух зарождаются в существенно более поздний период, и без связи с религией, отступающей во все более и более замкнутую среду.

В Германии последствия гораздо менее четкие. Лютеровская реформа, философские и научные течения не пресекли гностические спекуляции конца средневековья, а напротив, привели к их новой вспышке и расцвету. Нет преемственности, но есть сосуществование, порой смешанное, между теми частями, которые в Англии и Франции остаются отдельными. В сороковые годы идеология, у левых гегельянцев, теряет романтические спекуляции в процессе отсева.

Однако в России исторические данные побуждают рассуждать скорее о внешнем воздействии, нежели о самостоятельном кризисе. В России была религия, но не было независимой религиозной мысли. Упадок Церкви начался очень давно, да и неизвестно, существовал ли когда-либо взлет. Петровская революция превратила клир в чиновничью касту, а ее предназначение — в государственную службу. А религиозная жизнь, православная или иная, питается потоками, приходящими с Запада: католическими, протестантскими, пиетистскими, афонитскими.

Романтическая философия пришла по следам международного пие-тизма. Объясняя взлет идеологии, нет нужды говорить о кризисе христианства в России, поскольку христианская традиция была недостаточно содержательна и недостаточно устойчива, чтобы составить почву для кризиса. Повсюду идеология воюет с религией и искореняет ее. Но в России, как то доказывается славянофильским движением, идеология делает свои первые шаги с религиозного пробуждения. В ней религия возрождается как мысль, как рвение, как интеллектуальная сфера, в извращенной форме религиозной идеологии.

ЛИБЕРАЛИЗМ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ

Славянофилы всячески старались держаться в стороне от таких официальных рупоров властей, как Погодин и Уваров. Они не желали компрометировать себя связями с государством, поскольку не признавали петербургской бюрократии.

Им был присущ некий скрытый анархизм, выразившийся в отказе от политической борьбы несмотря на то, что они обладали политической программой. Осуждение славянофилами определенных злоупотреблений властей не могло завоевать им расположение двора. Они нередко становились жертвами цензуры. Со своей стороны, Николай I считал себя наследником Петра Великого. Он видел в этих московских помещиках потомков тех бояр и аристократов XVIII века, которые попытались создать некое подобие оппозиции самодержавию и наметить первые очертания независимого гражданского общества. Имперская бюрократия, старавшаяся подтолкнуть Россию на путь «развития» и использовавшая для этого рациональные и даже рационалистические методы, не жаловала мечтательного иррационализма Киреевского и его друзей.

Однако режим Николая I мог с успехом использовать идеи славянофильства, правда, несколько исказив их, но не настолько, чтобы славянофилы заметили это. Стремясь вытащить Россию из «отсталости», он пытался представить суждения славянофилов как прославление существующей отсталости. Разрыв между положением России и положением Европы мог привести к славе первую и к посрамлению вторую, если бы он был вызван не отставанием, а различием по существу. Чтобы ускоренным шагом догнать Европу, русский режим усилил свой деспотический характер, создавая тем самым новый разрыв, на сей раз непоправимый; однако, ему можно было придать иной облик, призвав на помощь мифотворчество, подменяющее реальные государственные узы воображаемыми узами любви. Отныне не существовало такого русского порока, которого нельзя было бы представить как преимущество и религиозное превосходство.

При взгляде извне сговор царизма и славянофильства более очевиден, нежели при взгляде изнутри. Мишле усмотрел в нем саму сущность русской выдумки: *«Тенденция такого государства — становится все ме-*

нее и менее государством и все более и более религией. Все в России религиозно. Ничто не законно, ничто не справедливо. Каждый является или желает быть святым... Величайшая затея! Вам недостаточно создать в вашем доме мир гражданского порядка, низший мир! И вы притязаете на высший мир религии! Враги Закона, вы хотите подняться выше Закона, вы посягаете на мир Благодати! Бессильные в делах человеческих, вы величаете себя Богами».¹ Русская ложь, по мнению Мишле, это — ложь государственной идеологии и пропаганды, которая отвергает реальность, чтобы поставить на ее место навязываемую ею сверхреальность. «Русский — это ложь. Она и в общине, ложной общине. Она и в помещике, и в священнике, и в царе... (обман из обманов, высшая ложь, которая венчает все обманы...) Крепче измышлений, хитростей и шлюзий».² Пролив свет на эту сверхреальность, которую преподносят Европе как реальность России, Мишле присоединяется к чаадаевскому полному отрицанию: «Я говорю, я утверждаю, я клянусь и я свидетельствую, что России не существует»³.

Такой же позиции придерживался и Кюстин. Таков же и взгляд Маркса, который в своем знаменитом высказывании утверждал, что эта империя «даже после свершений мирового масштаба не перестает считаться не столько реальностью, сколько вопросом веры».⁴

Гражданское общество, если только оно включается в эту диалектику, целиком принадлежит Европе. И его самосознание называется либерализмом.

В истории идеологии нет места для истории русского либерализма, и я не стану излагать ее. В этом я следую примеру большинства нынешних историков, которые увязывают свое изложение истории с каким-либо великим революционным событием, а посему истории либеральной России касаются мельком. Раз эта история не участвовала в революции, она мертва. Но нельзя допустить, чтобы это умолчание исказило бы пропорции истории. Являясь в течение всего XIX века отличительным признаком гражданского общества, либерализм был господствующим течением, проникавшим во все круги общества и вступавшим в соглашение со всеми группами. Поскольку русское государство тесно связано с гражданским обществом, желает его развития и рекрутирует из его рядов своих служащих, то возникает корпус воспитанных в духе идей Просвещения чиновников, постепенно усвоивших тот правительственный либерализм,

образец которого явили нам Гизо, Констан и Токвиль, и который был приспособлен к условиям самодержавия.⁵ Этот либерализм был присущ и императорской семье. Менее искаженный, более радикальный, или более близкий к истинному либерализму, он заполняет журналы, господствует на страницах прессы, на университетских кафедрах, в литературе. В нем наблюдаются все градации: от безграничной преданности самодержавию (оправдываемой тогда гегелевскими соображениями о тождестве сущего и разумного) до самой откровенной и вызывающей оппозиции ему.

Либерализм отвечает правильному историческому видению России. В самом деле, он способен был дать о прошлом очищенное от романтических мифов представление и объяснить положение, в котором находился историк. История России, которую излагают Соловьев, Чичерин, Кавелин и их последователи по «государственной школе», это прежде всего история формирования государства, а затем уж история гражданского общества. Особенность России кроется в природе этих отношений: в раннем развитии государства и в отставании развития гражданского общества, в сверхмощи первого и в слабости второго. Ситуация, сложившаяся в Европе нового времени, требовала перестройки их отношений. Для вышеупомянутых историков, как и для всех либералов, не было никаких сомнений в том, что Россия, чтобы реализоваться и исторически созреть, не должна довольствоваться такой целью, как достижение какой-нибудь стадии европейского развития. А для этого необходимо было, чтобы государство привлекло на свою сторону наиболее просвещенную часть населения (которая станет постепенно большинством), а в своих действиях строго придерживалось законов.

Что касается первого, то славянофилы были согласны на деле, но не в теории, поскольку вместо того, чтобы говорить о представительстве, они предпочитали вещать о соборности.

Что касается второго, то тут согласия не было вовсе. Славянофилы не видели того огромного прогресса, которого Сперанский достиг, просто сличив, упорядочив и систематизировав по велению царя законы государства. Славянофилы усматривали в законе притеснение и предпочитали государству правовому государство существующее, как более соответствующее царству Духа.

Программа либералов не представляла собой доктрины. Это был некий свод идей, в рамках которого можно было придерживаться различной политической тактики. Один и тот же либерализм может побудить Пушкина к восхвалению Николая I и к его проклятию, смотря по тому, исполь-

¹ J. Michelet. 1968, стр. 203 и 205.

² Там же, стр. 36.

³ Там же.

⁴ К. Маркс. 1954, стр. 207.

⁵ О Токвиле см.: Cf. S. F. Starr, 1972, стр. 71 и далее.

зует или подрывает, по его мнению, существующий режим в настоящий момент шансы России, как их видели либералы. Так будет продолжаться до крушения старого порядка. Либералы станут противниками марксизма, но появится также и либеральная версия марксизма. В основе либерализма лежит принятие мира таким, каков он есть. Мир прекрасен по своей сути, и особенно мир русский. Стремление улучшить его ведет к политической борьбе, относительно методов которой могут существовать разногласия, но не относительно принципа и цели. У министра, воспитанного в традициях просвещенного абсолютизма (Киселев при Николае I, Самарин и Витте при Александре III и Николае II) и у демократа, и даже у социалиста здесь может существовать, независимо от напряженных отношений между государством и гражданским обществом, некое общее видение блага России и разграничение, с общего согласия, поля борьбы, где разворачивается политический конфликт. Поскольку либерализм мыслит политически, он не мыслит идеологически. Он хочет изменить реальность в допустимых пределах и не помышляет о замене ее другой реальностью.

Как я уже говорил, славянофильство противопоставляет себя другим идеологиям: народничеству, марксизму, большевизму. Но оно вступает в сговор со всеми идеологиями, чтобы противостоять либерализму, хотя этот последний идеологией не является.

Либерализм представляет собой единство во времени. Его дух существует неизменно, но в разнообразных формах и до тех пор, пока он вдохновляет гражданское общество в его стремлении к существованию и признанию. Исторически сложилось так, что та форма, которую он принял, дабы противопоставить себя славянофильству, получила наименование западничества. При своем зарождении это была не противоположная идеология, а противоположность идеологии.

Западничество было вначале возвратом к здравому смыслу. Славянофилы преображали действительность сверх пределов допустимого. *«На славянофилах лежит грех, — писал Герцен, — что мы долго не понимали ни народа русского, ни его истории... их... дым ладана мешал нам...»*⁶ Первые творения Герцена и Белинского дышали свежестью вновь обретенной истины. От них веяло вольностью и подчас веселым озорством Пушкина. Они были свободны от чопорности и благочестия Киреевского и Хомякова. Как не подписаться под протестом Белинского против ложных проблем и ложных решений славянофилов: *«Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пизтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно*

*она слышала их), ни молитвы (довольно она твердила их), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства... права и законы, разнообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение».*⁷ Наконец, Белинский формулирует самые насущные вопросы в России: отмена крепостного права и телесных наказаний, введение правового государства, строгое выполнение законов. У западников не было системы взглядов, которую они могли бы противопоставить славянофилам, вот почему, хотя в учебниках истории они и фигурируют как пара, между ними нет симметрии. Кавелина, Грановского, молодого Герцена и Белинского связывали, самое большее, некие общие ценности. Они верили в разум и не доверяли иррационализму. Они не смешивали независимое «я» с «цельной личностью». Они верили в универсальный характер права, традиционного естественного права и естественного права в понимании депутатов французского Учредительного собрания. Западники не питали ненависти к денежному обращению, к богатству как таковому. Наконец, они признавали необходимость государства и, как и либералы, пользу конституции, либо точного соблюдения законов.

Их спор со славянофилами не касался национального вопроса. Западники были не меньшими националистами, чем славянофилы, и не очень симпатизировали Европе, выказывая ей такое же высокомерие и презрение. Но в то время как среди единомышленников Киреевского национальный вопрос ставился в религиозной форме и лишался политической значимости, у западников он ставился в политическом плане, а религиозный вопрос намеренно обходили. По правде говоря, большинство из них не питало склонности к религиозным проблемам.

Религия была поистине камнем преткновения в теоретических спорах двух лагерей. Кроме того, необходимо различать светское знание и философский атеизм. Русская мысль крайне нуждалась в секуляризации с тех самых пор, как религиозная идеология оправдывала, восхваляла и преобразовала язвы на теле общества. Против этого лицемерия восстали как Пушкин, так и Белинский и Герцен. Нельзя сказать, что Белинский зашел далеко, когда заявил, что предпочитает просветителей и почитает Вольтера большим *«сыном Христа... , нежели все Ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи».*⁸ Секуляризация неотделима от либерального сознания, которое отличает вымыслы от реальности, предпочитает реальность и не терпит несправедливости, даже под покровом

⁶ А.И. Герцен. Былое и думы. М., 1970, стр. 436.

⁷ В.Г. Белинский. Письмо к Гоголю. «Литературное наследство», т. 56, стр. 572.

⁸ Там же, стр. 575.

религии. Напротив, философский атеизм тесно связан с революционным духом.

В самом деле, внутри западничества начинает выделяться более радикальная группа. Дальнейшее развитие событий можно было предвидеть. С того момента, как русский вопрос был поставлен в политическом плане, становится ясно, что нигде в Европе либеральная программа не была столь далека от своего осуществления. Можно было ожидать, что эта группа дойдет до отчаяния, что означало бы одновременно крушение политических надежд и отказ от собственно политической позиции. В самом деле, если все усилия гражданского общества напрасны, если невозможно обрести в государстве партнера, если невозможно ни ввести конфликт в нормальные рамки, ни придерживаться правил игры, то заманчиво занять позицию полного отказа. Заманчиво создать воображаемый мир, идеального двойника мира, объявленного воплощением скверны. Вот тогда и возникает потребность в идеологии.

II

Именно это произошло при Николае I. В итоге «реакция» продолжалась с 1815 года, если понимать под этим выражением отказ государства от сотрудничества с гражданским обществом. Поколение «сороковых годов» разделилось на тех, кто питал отвращение к активной жизни (это отвращение вскормило хандрящий романтизм лишних людей), и тех, кто мечтал о безграничной активности. Эти последние черпали из того же источника, что и славянофилы, из немецкой философии. Но поскольку эти молодые люди вступили на историческую сцену позже, то к этому времени сам источник несколько изменился: вместо Шеллинга, Шлегеля и Баадера они читали Гегеля, а вскоре и Фейербаха. Но и здесь их оригинальность состояла в том, каким образом они истолковывали и приспособляли к плану, разработанному ими для России, популяризируемые идеи.

Проследим эту эволюцию на примере некоторых из них.

Произведения Гегеля стали известны в России около 1835 года и пустили ростки в одном кружке молодых людей. Душой этого кружка был Станкевич, который принял Гегеля, как предшествовавшее поколение приняло Шеллинга: с восторгом перед открывшимся знанием. «С моей души упали оковы, когда я узрел, что не существует знания вне идеи, которая охватывает все... Отныне передо мною есть цель: я жажду абсолютного единства в мире моего знания, я хочу понять каждое явление, увидеть его связь с жизнью всей Вселенной, его необходимость, его роль в эволюции идей».⁹

⁹ Письмо Станкевича Грановскому от 29 сентября 1836 года.

В письме — тон просветителя, ибо существовал еще в ту эпоху в России философский энтузиазм. А в это время его друг Бакунин изучал или, вернее, просматривал Гегеля с тем же чувством религиозно-романтической экзальтации.¹⁰ Он пребывал в поисках всеобъемлющего знания, полного гнозиса, в ходе которых смешивал Фихте с метром из Иены, нимало не заботясь о точности. В 1840 году, прибыв в Берлин, с бьющимся сердцем при виде этих новых Афин, он меняет веру. Он обращается не к философии, а к действию. «Настоящая жизнь — это действие, и только действие — настоящая жизнь».¹¹ Политическое действие, само собой разумеется, есть революционная борьба. В 1842 году в статье «Реакция в Германии», появившейся на немецком языке в журнале левых гегельянцев, он дает философское определение, но только философское, двух основополагающих констант русского революционного движения — максимализма и партии.¹² Бакунин будет колебаться, его бесформенный труд будет развиваться в самых разных направлениях, но эти два момента останутся неизменными.

Согласно максимализму, последовательного реакционера следует предпочесть реакционеру, «склонному к соглашению». Чистые реакционеры последовательны. Они «осознают указанное противоположение в его чистом виде; они прекрасно чувствуют, что положительное и отрицательное столь же несоединимы, как огонь и вода».¹³ На языке Бакунина, отрицательное — это революция. Поступая так, «они поддерживают со всей решимостью и пылом радикальное и непримиримое противоположение». Иначе говоря, они подталкивают к освободительному взрыву и поддерживают порыв революционеров. Хуже, стало быть, «соглашатели консерваторы», которые верят в золотую середину и в примирение непримиримого. Бакунин отсылает их к «Логике» Гегеля: смысл отрицательного в разрушении положительного. Соглашатель отвратителен, потому что он не понимает дела борьбы, в чем согласны революционер и реакционер: «...демократия заключается не только в оппозиции властям преобладающим, не только в каком-то особом конституционном или политико-экономическом преобразовании, но знаменует полный переворот всего мирового уклада и

¹⁰ Он тотчас же обретает гностическое обезличивание: «Мое личное «я» убито навсегда; оно не ищет более ничего для самого себя; его жизнь отныне будет жизнью абсолюта, где мое личное «я» обрело больше, чем потеряло» (Письмо братьям от 4 февраля 1837 года).

¹¹ Цитируется по: А. Коуре. 1950, стр. 138.

¹² См.: «Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst», 1842, № 247–51. Бакунин был тогда связан с Руге.

¹³ М.А. Бакунин. Реакция в Германии. — М.А. Бакунин. Избранные философские сочинения и письма. М., 1987, стр. 211.

предвозвещает еще небывалую в истории, совершенно новую жизнь».¹⁴ Эта цель — никак не меньше, чем конец этого мира и эсхатологические роды земного Иерусалима. Вот почему в качестве прообраза партии была взята своего рода церковь: «...демократия (иначе говоря, послереволюционное государство) есть религия, и, уразумев это, сама станет религиозною, т.е. проникнутою своим принципом не только в мышлении и в суждениях, но и преданною ему в действительной жизни, в мельчайших ее проявлениях, только тогда демократическая партия действительно победит весь мир».¹⁵ Идея партии рождается, следовательно, как нечто первостепенной важности, как орудие спасения, как зародыш будущей реальности, как сотворенный микрокосм совершенно другой природы. И в этом качестве она требует от своих членов безграничной преданности и поглощает их целиком, вплоть до «мельчайших проявлений» их жизни. Она ведет обособленное существование до дня качественного скачка, когда неожиданно реальность соединяется с ней. «По своему существу, по своему принципу демократическая партия есть всеобщее, всеобъемлющее, но по своему существованию в качестве партии она представляет собой некую обособленность — отрицательное... Демократизм наличествует еще не таким, каков он есть сам по себе, в своей утвердительной полноте, а лишь как отрицание положительного, и потому он в этой несовершенной форме должен погибнуть вместе с положительным, чтобы затем из своего свободного основания воспрянуть в возрожденном виде, как живая полнота самого себя. И это внутреннее изменение демократической партии будет не только количественным изменением, т.е. не только расширением ее нынешнего обособленного и потому дурного существования, Боже упаси, подобное расширение привело бы только к всеобщему опошлению, и конечным результатом всей этой истории было бы абсолютное ничтожество, — но и качественным преобразованием, новым, живым и животворящим откровением, новым небом и новою землею, юным и прекрасным миром, в котором все современные диссонансы разрешатся в гармоничном единстве».¹⁶

Охваченный этим туманным гегелевским пафосом, Бакунин даровал России формулу Революции как полного переворота всего мирового уклада. А потому ее орудие, партия, будет несчастна, как несчастна интеллигенция, которую Бакунин мечтает целиком превратить в партию Революции. Но это еще далеко от реальности, за исключением чувства тревоги, испытываемого этим безответственным поколением, которое отказывается включиться в общественную и политическую жизнь (впрочем, ему в

этом тоже отказывают). В ожидании воплощения Бакунин обогащает и дополняет ее с помощью идей, заимствованных у Гегеля.

Следует отметить, что главное заимствование Бакунина, так же как и Маркса, и Ленина (и не важно, как они его исказили) — это диалектика. Диалектика, где момент отрицательного торжествует абсолютно. «Противоположение есть не равновесие, а перевес отрицательного, которое составляет преобладающий момент противоположения».¹⁷ Это уже не гегельянство, поскольку всякое примирение противоположностей, всякий синтез невозможен. Но к черту Гегеля! «Отрицание, осуждение на гибель, страстное уничтожение положительного»,¹⁸ — вот что важно, и никакой озабоченности по поводу будущего. Дух позаботится об этом. Все дело — в «отрицании» настоящего. «...дух, который только потому разрушает и уничтожает, что он есть... вечно созидующий источник всякой жизни».¹⁹ Из этого следует, что революционный дух не должен опираться на заранее разработанную программу. Он свободен от построения утопии, поскольку только после разрушения возникнет «новое, живое и животворящее откровение».²⁰

А до тех пор достаточно разрушительного действия.

Бакунин вот-вот должен был покинуть орбиту России. Позади он оставлял своего друга Белинского. Но этот последний тоже изменился. Он вверился Бакунину (Гегелю, думал он), полностью отказавшись от своей воли. Гегель, которого проповедовал Бакунин в 1835 году, был еще Гегелем чистого и простого восприятия реальности, примирения с сущим. Но в России реальностью был Николай I. Белинский не мог этого долго выдержать, не мог поставить знак равенства между Николаем I и воплощением Идеи. Не столь сильный в «диалектике», как Бакунин, Белинский не способен был, подобно своему другу, заставить своего идола совершить пол-оборота влево. Стало быть, не было больше покоя в гегельянской тиши. Его подлинной заботой была нравственность, а истинной нравственности в гегельянской *Sittlichkeit* он не находит. Поэтому Белинский отбрасывает Гегеля, как «старые штаны», и даже отворачивается от философии. Отныне его идеалы — социализм на французский манер, практики-«нигилисты», Вольтер, энциклопедисты и поборники террора Французской революции. По правде говоря, Белинский не знал толком, к чему он пришел. В последующих поколениях «отец русской интеллигенции» (так называл его Александр Блок)²¹ мо-

¹⁷ Там же, стр. 218.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же, стр. 226.

²⁰ Там же, стр. 210.

²¹ А. Блок. Народ и интеллигенция. — А. Блок. Блок о литературе. М., 1980, стр. 164.

¹⁴ Там же, стр. 209.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же, стр. 210.

жет быть востребован любыми враждующими группами, всеми подряд. Его неприязнь к философским умозрительным построениям и его нравственная взыскательность почти предохранили его от идеологии. Его политический протест радикален, но он порожден скорее духом возмущения, жаждавшим восстановления справедливости, нежели революционным духом, стремившимся к новой действительности, не помышляя о справедливости. Он признавал устойчивость существовавшей действительности и в конце жизни доводит свой реализм до оправдания буржуазии и капитализма: мнение исключительное в русской мысли. В связи с этим Белинского можно причислить к либеральной традиции.

Но если этика спасла политические воззрения Белинского от идеологии, то она позволила восторжествовать ей в его эстетике. Белинский первый увидел, что национального гения, который, по мнению славянофилов, обитал в произвольной историософии, следует искать там, где он действительно пребывал, — в молодой литературе Пушкина и Гоголя. Литературная критика должна выявить ее дух и смысл. Благодаря ее посредничеству общечеловеческие и русские ценности, содержащиеся в литературных творениях, послужат парадигмой для всей нации в целом. Следовательно, продукт культуры не является достоянием, собственностью только некоторых, его следует разделить поровну между всеми. Так, Белинский породил столь опасную идею об ответственности писателя перед публикой, идею, которая не переставала с тех пор отравлять русскую словесность. Он заразил писателя чувством виновности вопреки его собственному чувству самосохранения и позволил публике, или, вернее, любой политизированной части публики шантажировать его, спекулируя на лучших чувствах. Независимости искусства был нанесен этим серьезный удар. Вот почему так легко удастся заменить, уже прямо в следующем поколении, моральный шантаж на шантаж идеологический. Под страхом общественного позора писатель вынужден будет придерживаться программных постулатов революционной партии и, что окажется еще более катастрофическим, ее доктрины.

В 1844 году Белинский радуется «началу счастливого примирения философии с практикой левого течения нынешнего гегельянства». Это уже не книжная и не школьная философия: «Она должна быть холодной, суровой, мрачной, как разум, но в то же время вдохновенной, как поэзия, страстной и исполненной симпатии, как любовь, живой и возвышенной, как вера, сильной и героической, как подвиг».²² Рациональная, предмет веры, носительница ценностей действия — таков образ долгожданной идеологии будущего.

А в это время Герцен находился в ссылке, далеко от Москвы, вдали от своих друзей, за эволюцией которых он не мог наблюдать.

Герцен еще увлекается Шеллингом, религиозным романтизмом и новым христианством Пьера Леру. И вдруг он услышал об одной книге и заказал ее: «Вообразите мою радость: по всем основным вопросам я был согласен с автором».²³ Это было «Prolegomena zur Historiosophie» молодого гегельянца, поляка по имени Чешковский.

Гегель, утверждает Чешковский, дал человечеству такую степень самосознания, что оно познало закон своего развития в прошлом. Итак, если оно знает свое прошлое, свое настоящее и закон своего развития, то человечество способно узнать свое будущее не из предсказаний, но путем предвидения. Это предвидение человечеству и надлежит осуществить. Историософия «становится эффективным, объективным осуществлением осознанной истины».²⁴ В состоянии самосознания не нужно более проводить различие между фактами и действиями: «Факты (или: естественные события) составляют бессознательную практику, следовательно, предшествуют теории, тогда как действия составляют сознательную практику, т.е. следуют за теорией».²⁵

Когда сознание достигает зрелости, во внешней реальности возникает «поворотная точка», благодаря чему факты превращаются в действия. Решения человечества становятся, стало быть, «совершенно идентичными замыслу божественного Провидения».²⁶ Гегель умозрительно открыл логику исторических событий. Необходимо применить ее на практике. А вот и решающая формула: «Мы полагаем удовлетворить два противоположных требования: позволить опыту следовать своим естественным путем и в то же время с неукоснительной точностью систематически применять логическую дедукцию».²⁷ В самом деле, эта формула прекрасно объясняет полную несовместимость политики утопической и политики идеологической. Сообразно последней нет оснований воплощать идеал. Необходимо предоставить свободу саморазвитию вещей, такому, как его предвидит теория, и просто сознательно присоединиться к нему. Самая волюнтаристская политика тождественна предоставлению событий их естественному ходу: такова «реалистическая» иллюзия, которая вызовет к жизни ленинизм.

Чешковский считал свою книгу ученическими опытами и никогда и не помышлял о том, чтобы найти ей практическое применение. Обширные

²³ M. Malia. Cambridge, 1961, стр. 197; R. Labry. Paris, 1928, стр. 202.

²⁴ A. Cieszkowski. Paris, 1973, стр. 22.

²⁵ Там же, стр. 24.

²⁶ Там же.

²⁷ Там же, стр. 50.

²² См.: А. Коuvre. Цитируемое произведение, стр. 163.

фамильные владения ожидали в Польше возвращения студента. Но, прочтенная в медвежьем углу Российской империи, эта книга произвела на Герцена огромное впечатление. Даже до прочтения Гегеля Герцен понял, что необходимо идти дальше. Действовать. *«Философия практики, — смог прочитать он, — ее самое конкретное влияние на жизнь и общественные отношения, развитие истины в конкретное действие — такова в будущем судьба философии в целом. Стало быть, в настоящем начнется ее нормативное влияние на общественные отношения человечества, для того чтобы объективная истина проявилась не только в сущей, но и в формирующейся реальности»*.²⁸ Но это уже из Маркса. Таким образом, Герцен может заявить, что Гегель — это *«алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского»*²⁹, что более созвучно Руге, М.Гессу и философии Действия младогегельянцев, чем духу метра из Йены.

Вернувшись в Москву в 1842 году, Герцен услышал в заунывной песне мужика на обочине дороги *«усилия духа, ищущего выхода из тупой среды пролетариата, чтобы войти в царство Божие»*.³⁰ Переведем: он стал социалистом.

Герценовский социализм сродни той стадии европейского социализма, которую Маркс и Энгельс уже преодолевали. Это критика не капиталистического способа производства, но ущерба, который буржуазная жизнь наносит личности и эстетическим ценностям. Он читает французские газеты, которые заполнены спорами между либералами и социалистами, но касается того социального и экономического положения, о котором Россия даже не имеет еще представления. В то время Герцен был социалистом, но пришел он к этому через либеральный максимализм. Но вот он в изгнании. Он открывает для себя Францию в салонах, где его не очень привечали и ценили. Как и все русские путешественники в XIX веке, он испытывает ужас и отвращение к немецкой, английской и французской Европе, Европе развитой, буржуазной, благоразумной, либеральной. Она пробуждает в нем националистическое ожесточение. Все понятно, это ожесточение притаилось в матрице славянофильской мысли. Герцен видит в Европе воплощение Римской империи периода ее упадка, в славянах — варваров, которые идут ее разрушить, дабы возродить, а в социалистах — первых христианских мучеников. Используя географическое манихейство славянофилов, Герцен пришел к отождествлению либерализма с Западом и социализма — с Россией.³¹ Перед нами возрожденный мессианизм. Новая социалистическая реальность

²⁸ Там же, стр. 116.

²⁹ А.И. Герцен. Былое и думы. М., 1970, стр. 347.

³⁰ R. Labry. Paris, 1928, стр. 241.

³¹ M. Malia. Цитируемое произведение, гл. XIV и XV.

ясно вырисовывается на том же воображаемом месте, которое славянофилы окружили ореолом христианства — на базе крестьянской общины. Именно в рамках общины свершится взаимное проникновение интеллектуальных ценностей элиты и духовных ценностей народа, и произойдет их взаимное превращение. Россия — социалистическая по своему существу, как она была по своему существу христианской. Так зародилось народничество и сбылось предсказание Мишле: *«Такова русская пропаганда, бесконечно меняющаяся сообразно народам и странам. Вчера она говорила: «Я — христианство», завтра она нам скажет: «Я — социализм»*.³²

Использование националистической темы, перемещение налево ценностей потенциальной правой, превращение, на этот раз секуляризованное, русской отсталости в решительное опережение Европы, должно было обеспечить успех народничеству. Это был не меньший отрыв от действительности, чем у славянофилов, поскольку сама по себе крестьянская община, которую Герцен не дал себе труда изучить получше, чем Киреевский, не была больше носительницей социалистической утопии, как не была и носительницей христианской патриархальной утопии. Однако народничество призывало не к созерцанию несуществующего, но к действию во имя воображаемого. После Бакунина и Белинского Герцен тоже призывает к действию. Вместо пассивных мечтаний, подобно славянофилам, о возникновении имманентной, но незримой реальности, вместо стремлений, подобно либералам, обустроить действительность в пределах возможного и разумного, он призывает к активной самоотверженности во имя новой действительности, зародышем которой обладала только Россия. Он высвобождает революционную надежду.

Герцен, Белинский, Бакунин усвоили диалектику, но они не были материалистами. Герцен, следуя в этом моде, занялся изучением естественных наук.³³ В своих «Письмах об изучении Природы» он протестует против философского империализма. Он хочет основывать умозрительные построения на эмпирии и логику на истории.³⁴ Герцен не очень далек от намерения вновь поставить диалектику с головы на ноги, следуя примеру своего современника Маркса, однако, остается верен умозрительному гегелевскому идеалу.³⁵ И так,

³² J. Michelet. Paris, 1968, стр. 97.

³³ Нужно было видеть его, когда он бичевал «ординарную» науку в тех же выражениях, что и славянофилы: она и «односторонняя» и «отвлеченная», ее «полнота не полна» и т.д. См.: А.И. Герцен. Дилетантизм в науке. — А.И. Герцен. Избранные философские произведения. М., 1948, стр. 77. Да еще эти его близкие к марксизму слова: «История человечества — продолжение истории природы». Там же, стр. 88.

³⁴ Там же.

³⁵ «Дело науки — возведение всего сущего в мысль. Мышление стремится познать, усвоить вне сущий предмет и с первого приступа начинает отрицать то.

в тот момент, когда политическое действие становится возможным, а именно в середине века, приходится констатировать отступление диалектической темы на второй план, на первый план выдвигается тема материалистическая.

Бакунин, Герцен, Белинский были, в силу обстоятельств, кабинетными революционерами. Они видели будущее развитие России, как бурное, драматическое, иными словами диалектическое. Диалектика была удобным способом мышления для России. Она позволяла совмещать сожаления о настоящем и восторги по поводу исторических судеб отечества. В умозрительные построения она привносила судороги действия.

Революционеры шестидесятых годов находились в другом положении. Чернышевский, Добролюбов и Писарев считали, что настоящий момент благоприятен для действия. Они заблуждались, но они мечтали о создании первых тайных обществ. Они прежде всего борцы. В большинстве своем скромного происхождения, они испытали на собственной шкуре омерзительную жестокость русской жизни. По сравнению со своими предшественниками, они принадлежали к менее европеизированным и менее привилегированным сословиям. Революционный разрыв с общепринятой моралью, с кодексом нравов, с религией привел этих поповичей и детей мелкопоместных дворян к резкому психологическому конфликту.

У их родителей не было библиотек, и никто из них и не помышлял отправлять своих сыновей путешествовать в Германию. С чем они познакомились, так это с вульгарным материализмом, который пришел на смену великим мастерам идеалистического синтеза, и скорее с Фогтом, Молешоттом и Бюхнером, чем с Фейербахом.

У них не было необходимости обращаться к действию. Они уже вступили на этот путь. У них не было необходимости размышлять в общих чертах об историческом развитии России, ни убеждаться в том, что практика — последнее слово спекулятивных построений. Они уже участвовали в ней. Что им было необходимо, так это система воззрений, способная оправдать их действия политически и морально. Что до политического оправдания, то тут не было никаких проблем. Россия зывала к переменам, и формулы социализма уже были выработаны на Западе и привиты в России Герценом. Оставалось оправдание в моральном плане. Нужна была доктрина, которая позволила бы преодолеть разобщенность, колебания, комплекс вины у тех, кто замыслил террор. Материализм для этого подходил.

что его делает внешним, другим, противоположным мысли, т.е. отрицает непосредственность предмета, обобщает его и имеет уже с ним дело как со всеобщим». *А.И. Герцен. Письма об изучении природы. — А.И. Герцен. Избранные философские произведения. М., 1948, стр. 124.*

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Бакунин, Белинский, Герцен являют собой исключения для своего сословия. Они не были его олицетворением, не представляли его и не выражали его интересов. Их сословие — дворянство и, что почти одно и то же, высшие слои бюрократии и элита гражданского общества. Это сословие не связывает себя с какой-либо доктриной — хотя и есть некоторое сближение между ним и либерализмом. Но можно принадлежать к нему, не будучи либералом. Оно существует во взаимосвязях с государством, с одной стороны, и с экономикой и собственностью, с другой. Таким образом, это по своей сути социальная группа.

Однако начиная с 1850 года, рождается сословие нового типа, суть которого неотделима от идей, которые оно исповедует и распространяет: это — интеллигенция.

Слово это немецкого происхождения (*Intelligenz*), славянизированное поляками, но именно русские обеспечили ему мировой успех.

Можно заметить, что явление это должно было появиться прежде во Франции, в конце Старого порядка, и в Германии эпохи романтизма. Среди журналистов из числа левых гегельянцев, республиканцев Июльской монархии заслуживает, по аналогии, того же наименования.

В XX веке явление приобрело планетарный размах: оно отмечено в Латинской Америке, в Африке, в Китае, в арабском мире.

Вот уже целое тридцатилетие интеллигенция, в развитых западных странах лишь промелькнувшая (Франция Третьей республики, Германия Вильгельма), либо вовсе не существовавшая (Соединенные Штаты, Япония, Англия), распространяется все шире и шире.

Успех слову обеспечили русские, поскольку нигде, кроме России, это явление не обрело столь выраженные черты, вплоть до создания определенного социального типа. Русская интеллигенция может служить парадигмой.

Представляется, что для возникновения интеллигенции необходимы три предварительных условия.

Первым условием является существование общенациональной государственной системы образования и государственного контроля над другими

формами обучения.¹ Этим обстоятельством объясняется то, что наиболее «отсталая» из великих европейских нация породила социальный тип, возобладавший в XX веке так же, как буржуазия — господствовала в XIX веке. В самом деле, для царского правительства самым дешевым и самым эффективным капиталовложением для того, чтобы вывести Россию из отсталости, ставившей под угрозу ее имперские позиции, было создание системы образования. Государственное образование стало ключом к созданию бюрократической и военной организации, способной принять вызов, который Запад бросил Центральной и Восточной Европе. Из-за отсутствия системы образования погибла Польша и Турецкая империя, фактически от руки России.

Построение системы образования, задуманное Петром Великим, планировавшееся при Александре I, было блестяще осуществлено Николаем I. При его правлении дворянство и часть свободных сословий были вполне приемлемым образом охвачены школьной системой. Русская гимназия не слишком отставала от французских лицеев того времени. Созданный по немецкому образцу университет, преподавательский состав которого в значительной мере формировался в Германии, был вполне сравним со своей немецкой моделью. Конечно, значительная часть населения оставалась за пределами этой системы. Она охватывала лишь элиту гражданского общества. Во всей империи было только около двадцати тысяч гимназистов и четырех тысяч студентов.

Однако сама цель государственного воспитания могла посеять конфликт. Формированием кадров государство стремилось компенсировать слабость гражданского общества. Но тем самым государство укрепляет, развивает и делает сознательным то же гражданское общество. Во Франции и Англии гражданское общество брало на себя, или, по крайней мере, контролировало воспитание своих детей. В России дворянство пыталось это сделать в меру своих сил и способностей. Но тщетно, поскольку государство не выпускало образование из своих рук, в расчете на то, что оно будет служить исключительно его интересам. Так система образования оказалась в поле конфликта между государством и гражданским обществом. Государство и задумало, и содержало систему образования, пополнило ее за счет гражданского общества и, в конечном счете, возвращало ему выпускников к вящей его пользе. Система формирует поколение молодых людей, оторванных от семейных традиций, отлитых по единому образцу и по окончании учебного заведения образующих новую касту со своей субкультурой, со своими привычками, со своим особым поведением, не похожую на все прежние сословия русского общества.

Вторым предварительным условием является неспособность гражданского общества навязать этим молодым людям, выходцам из ее собственной Среды, свои ценности и свой «смысл существования». При Николае I дворянство ослабело, утратило веру в свои силы и кастовый дух. Оно стремилось слиться с массой молодых людей, получающих серийное образование в гимназиях и университетах. Немного осталось тех, кто продолжал следовать по традиционному пути дворянских детей: гвардейский полк и доступ ко двору и высшим должностям, либо кадетские корпуса и служба в регулярной армии, а после отставки в сорок лет — возвращение к гражданской жизни и ведение хозяйства в семейном поместье.

Большинство вынуждено было смириться с новой системой экзаменов и дипломов. У обедневшего дворянства нет выбора: его дети сливаются со студентами, выходцами из всех классов и всех рангов, чтобы образовать с ними единый класс, русское третье сословие, состоящее из журналистов, инженеров, представителей новых либеральных профессий, преподавателей, внутри которого кристаллизуется интеллигенция. То, что в ней преобладают молодые люди дворянского или разночинного происхождения, значения не имеет: эти различия уже не в счет, поскольку тон задают не дворяне или разночинцы, а сама интеллигенция как таковая.

Третьим предварительным условием является кризис Старого порядка в самом широком смысле слова. В России он стал возможным по крайней мере с 1825 года, когда декабрьские события продемонстрировали ослабление политического согласия. Часть дворянства была недовольна политическим развитием. Государство не доверяло дворянству, не включало его в свою работу, предпочитая управлять с помощью чиновников. Открытие Европы, то есть удручающего разрыва, отделявшего ее от России, порождает у дворянства чувство национальной тревоги, оно теряет веру в способность государства вершить судьбы отечества. Гражданскому обществу, по-европейски образованному стараниями государства и возвращающему государству плоды просвещения, представляется все более ненормальным, что подавляющее большинство населения живет в условиях рабства, а остальные лишены самых элементарных правовых гарантий. Этот скрыто тлеющий кризис обострился после смерти Николая I и охватил сферу политики. То, что произошло в 1855 и 1861 годах, лишний раз подтверждает правоту замечания Токвиля, что для самодержавного режима самым опасным моментом является тот, когда режим пытается реформироваться. Кризис начала царствования Александра II напоминает Англию в 1640 и Францию в 1789 году. Священный союз людей доброй воли как в правительстве, так и в гражданском обществе, единодушный в том, что реформы проводить необходимо, начинает распадаться по мере их

¹ См. следующие работы: *D. Brower*, 1975; *A. Besancon*, 1974.

осуществления. Это — классический процесс радикализации. Формируется левое крыло, потом крайне левое, и правительство не может остановить этой эскалации. Если оно не приемлет новых, все более и более радикальных требований, оно отбрасывается вправо. Перед выбором оказывается и оппозиция. Тех, кто не решается следовать за движением влево, начинают презирать как объективных союзников режима. Между 1861 и 1862 годами все просвещенное общество было вынуждено выбирать свой лагерь: либо оно приемлет реформы, даже критикуя их и требуя их расширения, либо оно отвергает их все чохом во имя революции.

Революционным процессам вообще свойственна такая поляризация. Смещение политического центра тяжести к индипендантам во времена Кромвеля и к якобинцам в 1792 году — явление вполне типичное. Но в России не было революции. Государство оставалось прочным, оно было вольно пойти на уступки или прибегнуть к репрессиям. Когда оно сочло, что пришла пора подавлять 1863 год, все вошло в свое русло. Даже не возникло революционной ситуации. Крестьяне, даже если бы они и последовали за революционерами и восстали — о чем они и не помышляли — способны были на бунт, в крайнем случае на жакерию. Но они не были способны сделать революцию.

В России гражданское общество было слишком слабым, чтобы решительно противостоять всеильному государству. Оно не могло навязать новые принципы национального правления взамен традиционного принципа монархии Божьей милостью. В 1905 году все классы общества, включая крестьянство, в еще незрелом союзе попытались опрокинуть Старый порядок. Но даже в этот момент он удержался, и держался вплоть до февраля 1917 года. А в 1861 году он еще был полон сил.

Из этого следовало, что революционный процесс осуществлялся в замкнутом пространстве, внутри одного только гражданского общества (темное крестьянство оставалось вне его), а точнее, внутри самой просвещенной его части. Он привел к тому, что от общества отделилась самая радикальная часть, отказавшаяся сотрудничать с государством, вступить с ним в диалог и вообще поддерживать какие-либо отношения. Для государства это был серьезный удар, поскольку не слишком многочисленный правящий класс оказался обреченным на изоляцию, а то и на обскурантизм, и был отрезан от той Среды, за счет которой он пополнялся. Но еще большей бедой это было для самого гражданского общества. Оно оказалось обойденным, урезанным, осужденным на смерть отделившейся от него частью, а именно интеллигенцией.

Для того чтобы интеллигенция обрела плоть и сохраняла устойчивость, требуются три выше приведенных предварительных условия. Но

их еще недостаточно. Нужно четвертое, то есть наличие идеологии в том смысле, который я пытался определить.

У идеологии тройная функция.

1. Она определяет рамки интеллигенции. Для принадлежности к ней социальное происхождение никакого значения не имеет. Среда это самая разнообразная, по примеру состава школьников и студентов империи. В шестидесятые годы численно преобладало дворянство. Но были и поповичи, и дети мелких чиновников, и лавочников, и даже крестьян. Последние, поскольку быть из простых считалось хорошим тоном, склонны были напоминать о своем происхождении, тогда как их благородные товарищи предпочли бы, чтобы об их корнях забыли. Однако эта перевернутая иерархия несколько не определяла социальных отношений, как это было во внешней среде, определяющей была только приверженность некоторому кругу идей. Говорить вслед за Лениным о социальной эволюции интеллигенции (сначала дворянской, затем разночинной и, наконец, пролетарской) бессмысленно, поскольку принцип присоединения к ней чисто интеллектуальный: *Ubi doctrina, ibi patria*.

В рядах интеллигенции признается только одно преимущество: превосходство в усвоении доктрины. Принадлежность к доктрине десоциализирует: неважно, кто ты и откуда пришел. Напротив, воображаемые социальные корни можно приписывать и врагам, и друзьям.

Тот, кто не принадлежит к интеллигенции, отнесен к более низкой категории. Если, например, он сторонник «буржуазных» идей, то он — «буржуа». Точно так же, исповедуя «пролетарские» идеи, становятся частью пролетариата, и это касается любого другого класса, с которым интеллигенция решила себя идентифицировать. Нужно только помнить, что речь идет об идеальной, умозрительной принадлежности, поскольку реальная принадлежность интеллигенции не касается.

Как отмечал Владимир Ведле, *«по молчаливому соглашению, господствовавшему в этом новоявленном клире, его не были ни в какой мере достойны ни священники, ни офицеры, ни государственные служащие, даже самые образованные и блестящие, да и вообще все те люди, чье мнение могло показаться хоть сколько-нибудь реакционным, консервативным или просто умеренным и способным, узнай о нем в высших сферах, быть там поддержанным. Конечно, между университетским профессором, в равной мере фрондером и либералом, и террористом с бомбой, кандидатом на виселицу, дистанция могла быть весьма значительной; но минимум разрушительного духа был необходимым и достаточным условием, чтобы быть принятым в лоно новой элиты»*.²

² W. Weidle, 1949, стр. 108.

Из общности разделяемых ценностей рождается среда со своими особыми нравами, опознавательными знаками, со своей манерой одеваться и определенным стилем общения. Лишь по идейным, теоретическим вопросам возникают разрывы и расколы, равно как и согласия, и объединения.

Тем самым интеллигенция отчуждается и от своей функции, и от своего социального происхождения: ни уровень образования или квалификации, ни даже интеллектуальная профессия не позволяют к ней примкнуть, как и отсутствие этих признаков из нее не исключает.

2. С другой стороны, идеология обеспечивает сплоченность интеллигенции перед лицом государства, она дает интеллигенции программу, которая может меняться, но исключает компромисс. В самом деле, она предлагает готовую схему общества с новым политическим укладом, новыми взаимоотношениями между гражданами, новой культурой. Она вооружает интеллигенцию моральным оправданием и тем самым облегчает для нее нарушения морали и законов, неизбежные при установлении новой системы. Можно предположить, что существует соразмерность между радикализмом политической программы и государственным подавлением, с которым он сталкивается. Зная русский государственный режим, можно было бы предвидеть, что русская интеллигенция будет тем требовательней, чем жестче режим. Однако при всех взлетах и падениях режим постепенно смягчался, а революционная программа не смягчалась вовсе. Это связано с тем, что картина русской реальности, созданная идеологией, застыла и окаменела, а режим в ней был представлен как сатанинский. И поскольку он абсолютное зло, то против него можно использовать его же средства, но в противоположных целях.

В своих взаимоотношениях русское государство и революционная интеллигенция образуют пару, в которой каждый стремится стать двойником другого. Интеллигенция организуется по образу полиции, поскольку считает, что государство организовано именно так; государство же, со своей стороны, пытается создать полицию по образу партии, какой она представляется государству. Государство меняется, меняется и интеллигенция, но там, где они соприкасаются, они неизбежно обращаются друг к другу своей самой архаичной стороной. И эта сторона, обремененная тяжестью мечтаний, неспособна измениться.

3. Но еще более важная функция идеологии — защита подлинной сущности интеллигенции относительно гражданского общества. Интеллигенция выделилась из гражданского общества, но последнее все время стремится вернуть ее обратно. В сфере интеллектуального труда безработицы не было, разве что добровольная. Неправда, что существовало перепроизводство выпускников университетов. Это мнение было широко распрост-

ранено в то время, но оно ошибочно. Стоило только студенту захотеть, и он без труда находил себе и место работы, и положение. Вплоть до первой мировой войны быстрый экономический рост приводил к постоянной нехватке кадров в промышленности и в торговле, не хватало инженеров, преподавателей, юристов. Студент мог быть подпольщиком, мог быть арестован и осужден. По отбытии наказания все дороги перед ним были открыты.³ От него даже не требовалось становиться реакционером. Это даже могло повредить его престижу в обществе. Идеология препятствовала такой перевербовке. Она предоставляла интеллигенции основания предпочитать свой особый образ жизни, часто суровый и аскетический, тому, который предлагало ему общество «вовне». Идеология отождествляла вхождение в нормальную жизнь с предательством, с подлостью, с бесчестьем.

Молодого человека, который вздумал бы жениться, получить наследство, поступить на какую-то службу, чаще всего обливали презрением, насмешками, обвинениями в карьеризме и обуржуазивании.

В политической сфере это обособление интеллигенции от гражданского общества является самым важным. В самом деле, при старом порядке, с его постоянно тлеющим кризисом, интеллигенция и гражданское общество вместе находятся в оппозиции. По своей ли природе или по иным причинам, но обе стороны стремятся положить конец старому порядку, и обе в широком смысле «объективно» революционны. Однако гражданское общество стремится к тому, чего достигло в XIX веке английское, французское и немецкое общество. Цель гражданского общества ограничена, зато конкретна, и есть реальный пример для подражания. Оно стремится осуществиться на пути своего естественного, стихийного развития, и, чтобы выразить это стремление, достаточно самого расплывчатого либерализма. Идеологическая интеллигенция стремится к установлению совершенного общества, обещанного доктриной, хотя примеров такого общества нигде не существует. Ее цель абстрактна, зато безгранична. Поскольку нет единой меры для конечного и бесконечного, любая уступка, которой может удовлетвориться гражданское общество (и которой энергично добивалась интеллигенция), будет сочтена ничтожной, как только удастся вырвать ее у государства. Таким образом, общество является попеременно то союзником, то предателем. Союзником неизбежным, поскольку одна интеллигенция не в силах добиться вышеупомянутой уступки, но непременно и предателем, поскольку удовлетворяется достигнутым и не следует за интеллигенцией в новом требовании, которое она немедленно выдвигает, и

³ Николай Обручев, опасный заговорщик шестидесятых годов, в конце жизни стал генералом и начальником Главного Штаба. Это вполне типичный случай. См.: *A. Ulam*, 1977, стр. 71.

которое, следуя логике ее максималистской программы, служит как для пропаганды самой программы, так и для разоблачения предательства гражданского общества. Идеология служит для контроля над этим двойным движением, для того, чтобы в ходе политических сражений определять, с кем вступать в союз, а затем, несмотря на возможный успех, поддерживать священное недовольство. Идеология определяет место и время, когда интеллигенции вступить в союз с обществом и когда разрывать его.

Аналогичную функцию отбора идеология выполняет и по отношению к тем классам, с которыми интеллигенция поддерживает «перспективные» отношения. Действительно, объективно ограничивая интеллигенцию, идеология субъективно ее аннулирует. Благодаря идеологии, интеллигенция никогда не действует от своего имени, а только от подставного. Предполагается, что она представляет высшие интересы Народа, сначала крестьянского народа, потом рабочего народа в той мере, в какой эти социальные группы занимают в ее идеологии и ее планах переустройства общества ведущую роль. Эти классы больше, чем союзники, поскольку согласно идеологии им принадлежит историческая инициатива, и с ними интеллигенция, отрекаясь от собственной сути и самостоятельного бытия, сливается в союзе. Интеллигенция идет впереди этих классов, стремясь оторвать их от гражданского общества и приобщить к идеологии. Такова была задача «хождения в народ» в семидесятые годы, а потом и упорной продолжительной работы по проникновению в молодой рабочий класс России. Тем не менее, какое место ни занимали бы эти классы в размышлениях интеллигенции, они обычно естественно стремятся вернуться в гражданское общество и следовать своим нормальным путем. Это обстоятельство крайне неприятно для интеллигенции, которой трудно совместить образ крестьянства или пролетариата, нарисованный идеологией, с тем образом, который преподносит реальность. Но и тут идеология приходит на помощь и учит не поддаваться стихийно выраженной воле этих классов. Если крестьянин или рабочий не действует сообразно идеологическим канонам, значит они подпали под чуждое влияние, приписываемое либо остальному гражданскому обществу, либо даже государству.

Здесь мы подходим к парадоксу интеллигенции.

Когда идеологическое приобщение намеченных классов достигло известных результатов, интеллигенция исчезает в своих собственных глазах: идеология подтверждена этим исчезновением, поскольку в ней для интеллигенции как таковой нет места. Более того, вступая, в свою очередь, в идеологический круг — и таким образом в интеллигенцию — рабочий и крестьянин подвергаются той же десоциализации, которой подвергся прежде их товарищ студент. Они присоединяются к эгалитарной респуб-

лике идей, которая дает им классовую принадлежность, разумеется, идеологического характера, но совпадающую с их естественной принадлежностью. По мере того, как рабочий покидает рабочий класс, он осознает свою пролетарскую природу, с которой идеологически уже слился и представитель интеллигенции.

Но бывают времена, когда идеологическое приобщение терпит крах, и интеллигенция оказывается сведенной к своему собственному личному составу. Тогда она становится только непреклонной хранительницей идеологии. Она более не осознает самое себя, ну разве что как внешнюю форму, ожидающую своего содержания, то есть крестьянства или пролетариата. Последние же тем временем рассматриваются как *prima materia*, сырье, ожидающее отливки в форму, предназначенную для него интеллигенцией. С этой точки зрения, в интеллигенции нет ничего осязаемого, никакой социальной реалии: она представляет собой чистую идеологию.

Однако, с точки зрения гражданского общества, она существует как обособленное ядро, социально легко узнаваемое. Она — особая часть гражданского государства, ходом навязанного ею политического противостояния отделена и от гражданского общества намеченными ею крайними целями и отчуждается от обеих сторон склонностью к добровольному устранению и к постоянной замкнутости.

Существование интеллигенции осложняло задачу гражданского общества в России. В Англии XVII века у гражданского общества, конечно, тоже существовало выполнявшее свою роль и проигравшее в ходе революции крайнее крыло, но оно не походило на интеллигенцию. Оно мыслило не идеологически, а религиозно. Оно не было обязано своим существованием государству и не государством было воспитано. Оно не предъявляло претензий к гражданскому обществу и не замыкалось на самом себе, но тысячами нитей держалось за гражданское общество, связь с которым не прерывалась. В действительности оно не переставало быть его частью. То же можно сказать о якобинском крыле революционной Франции. Конечно, его энтузиазм был скорее рационалистическим, чем религиозным, и, таким образом, в чем-то предшественником идеологического. Но это крыло еще не обладало достаточно сильной идейной сплоченностью, чтобы предотвратить переходы в гражданское общество и всякого рода отступничество. Самые отъявленные якобинцы не упускали случая вести с гражданским обществом переговоры, хотя бы чтобы приобрести имущество или обобрать своих врагов. Ставши собственниками (их идеалы этого не запрещали) они на законном основании возвращались в гражданское общество и были заинтересованы в его сохранении. Так что прежде чем им удалось разрушить гражданское общество, якобинцы были уничтожены

теми из них, кто присоединился к нему или намеревался это сделать. Протоинтеллигенция утратила власть, а вскоре и независимость. Можно заметить, что у нее было несколько случаев перестроиться в Париже «Отверженных» или Жюль Валлеса. Демократия завершила ее разложение.

Слово «интеллектуал», не соответствующее точно русскому слову «интеллигент», возникло во время дела Дрейфуса. Но «интеллектуальная» партия никогда не была ведущей, по крайней мере, вплоть до эпохи Народного фронта. Впрочем, инакомыслие французской демократии было поделено между правым и левым экстремизмом. Вплоть до второй мировой войны французская культура была в основном литературной и артистической, она не была идеологической.

Конечно, по поводу левых гегельянцев и марксистствующих в Германии можно говорить как о немецкой интеллигенции. Но и здесь связи с государством слабее, чем в России, поскольку немецкие университеты пользовались подлинной автономией, а связи с гражданским обществом были гораздо теснее. В 1848 году Германия извела революцию, впрочем, быстро закончившуюся. Это событие происходило в гораздо более современном обществе, Наполеон уже частично освободил от его Старого порядка. Торжествующий национализм, в остатках интеллигенции охотно приобретающий идеологическую окраску, сам стремился присоединить интеллигенцию к гражданскому обществу и к государству. Пройдя романтическую стадию, немецкая культура оставила отчасти искусства, но вместе с ними и идеологию: она стала научной и энциклопедичной. Судьба марксизма еще лучше подчеркивает различие. Ему удалось укрепиться в рабочем классе и раньше, и полнее, чем в России. Но не для того, чтобы противопоставить его гражданскому обществу, а наоборот, для того, чтобы заставить войти в него. Социал-демократия образовала левое крыло немецкой демократии как составная часть расширенного гражданского общества. Она стремилась возглавить его, а не разрушить.

Среди многих факторов, позволивших гражданскому обществу во Франции и в Германии поглотить интеллигенцию (если она и была когда-нибудь от него отделена), главным можно считать следующий: ни во Франции, ни в Германии не смогла укрепиться идеология столь же простая, исчерпывающая, прочная и организованная, как русская идеология. Культурный слой, и более разнообразный, и более многочисленный, не принимал ее и был способен сразиться с ней и уничтожить. В Германии пришлось дожидаться поражения, крушения бисмарковского равновесия и русской революции, чтобы возродилась интеллигенция, то черпающая из советского идеологического источника, то порождающая более ли менее бесформенные встречные течения. Во Франции пришлось дожидаться второй мировой войны.

В современную эпоху развитие интеллигенции в мире усложнилось. В некоторых случаях (в Латинской Америке, в Африке), мне кажется, можно пользоваться схемой, применяемой в России. Впрочем, нужно учитывать такие новые факты, как поспешное расширение сети среднего и высшего образования, унификация школьного, университетского и журналистского мира и так далее. Но во всех случаях применяется и воспроизводится почти без изменений одна и та же идеологическая модель — та самая, что была разработана в России в XIX веке и предложена миру в 1917 году. Она доказала свою эффективность. Повсюду именно идеология отрезает и отторгает часть общества. Она не продукт интеллигенции. Скорее это она, идеология, и производит интеллигенцию.

В России гражданское общество страдало врожденной слабостью по отношению к государству. Государство его породило. Даже осуществление проектов развития бюрократического государства, включая систему государственного образования, шло на пользу в первую очередь гражданскому обществу. Когда было отменено крепостное право, общество стало быстро развиваться в том же направлении, что и в Западной Европе. Как и там, оно требовало для себя возрастающего участия в общественных делах и в конечном счете отмены самодержавия. В этой политической борьбе его конкурентом стала интеллигенция. Общество знало о ее целях и об их несовместимости с его собственными. Ему приходилось, таким образом, бороться на два фронта. Если порой оно и соглашалось на сотрудничество с интеллигенцией, то в других случаях отмежевывалось от нее, ища защиты или принимая руководство государства. Таков был результат политической мимикрии шестидесятых годов. Если во Франции радикальные элементы возникали по мере развития революционного процесса, то в России они были объединены и сплочены с самого начала, еще до того, как сам процесс начался. Во Франции Старый порядок рухнул, поскольку гражданское общество призвало на помощь народные классы, крестьянство и городскую толпу, союзников, конечно, опасных, но естественных. В России такой призыв оказался значительно опаснее, поскольку эти классы задолго до начала революционного процесса были обработаны и, может быть, даже организованы интеллигенцией для борьбы в той же мере против гражданского общества, что и против государства.

Этот тройной узел — государство, гражданское общество, интеллигенция — никогда не был развязан. Каждый из трех участников был ослаблен возможной коалицией двух других, но мог быть и усилен в случае их раскола. Этот треугольник покоился на массе пассивных подданных. Режим хотел расширить гражданское общество, добавив к нему часть этой массы, такова же была и цель гражданского общества. Но интелли-

генция хотела превратить эту массу в своего помощника и использовать в своих интересах.

Можно отметить несколько этапов этого долгого сражения.

1. Примерно с 1863 по 1874 год интеллигенция, еще едва зародившаяся, прозябает в безвестности и неврозе. Государство и гражданское общество живут в целом в согласии, к взаимной выгоде обоих. Спектр публично допустимых и вполне узаконенных политических позиций достаточно широк и простирается от строгого консерватизма до либерализма самого критичного. Конец правления Александра II ознаменовался, однако, новой вспышкой нетерпения левого крыла либералов, то ли соблазненного рыцарскими подвигами народнической интеллигенции, то ли помышлявшего использовать террористические акты народников как средство давления на правительство, чтобы вырвать у него главную конституционную уступку.

2. Убийство Александра II в 1881 году отбрасывает интеллигенцию в тень и вынуждает умолкнуть скомпрометированное гражданское общество. Это был последний взлет Старого порядка. Но поскольку он оставался верен петровскому реформаторскому духу и мог без препятствий осуществлять свои планы развития, гражданское общество тоже развивалось небывалыми темпами. Государственное образование начало приобретать массовый характер, что не пошло, тем не менее, на пользу интеллигенции, поскольку она не могла систематически подчинять идеологии всех студентов, и они делали самую обычную карьеру.

3. Начало царствования Николая II (1894–1905), вследствие чувства облегчения, наступившего после смерти его отца, выявило состояние отношений между интеллигенцией и гражданским обществом. Первая, похоже, находилась в стадии распада. Долгое время она обладала своего рода культурной монополией, и могла действовать устрашающе в философской, культурной и артистической сфере. Она представляла собой вторую цензуру, гораздо более эффективную и более стеснительную для тех, кто не разделял ее вкусов, нежели цензура правительственная. Но тем временем гражданское общество вновь обрело свою культурную независимость. Поэзия, философия, живопись освободились, вновь обретая тот статус, которым обладали до 1860 года, то есть до зарождения интеллигенции. Они избавились от ее террора. Более того, интеллигенции был нанесен удар в самое сердце, в том, что ее скрепляет — в идеологии. В самом деле, таков был смысл ревизионистского кризиса в марксизме, однако разгром не был полным. Интеллигенция нашла в своих рядах людей, способных спасти идеологию, затем ее ценности и, наконец, ее сущность. С этого момента Россия живет в режиме двойной культуры. Культура

гражданского общества вполне цельная, она обладает и своей основой (скажем, свободными от идеологии инженерами) и своей аристократической вершиной в лице поэтов и философов серебряного века. У нее есть своя национальная традиция, символом которой был Пушкин, и свои аналоги за границей.

У культуры интеллигенции, построенной на идеологии, тоже есть своя база (пролетарствующая интеллигенция) и своя вершина, «теоретики идеологии». У нее была и национальная традиция, восходившая к Белинскому и заграничные образцы в лице немецкой социал-демократической культуры. Культура интеллигенции и культура гражданского общества взаимно презирали друг друга. Идеология не признавала за тем, кто не с ней и против нее, право на существование. В рафинированной петербургской и московской среде не могли себе представить, что Чернышевский, Плеханов или Ленин представляют какую-либо культурную ценность. Каждая из этих двух культур развивалась и считала, что время работает на нее и против соперника. Для мыслителей Серебряного века народническо-марксистская традиция — архаизм, который будет постепенно стерт общим прогрессом страны. Однако, культура интеллигенции, легко усваиваемая, как всякая идеология по определению, с успехом пользуется распространением образования в массах. Она могла стать привлекательной в случае политического кризиса.

4. Таковой начался в 1905 году и в общем следовал революционному сценарию англо-французского типа. Одна за другой приходили в движение все социальные группы и поднимались на штурм обветшалой монархии. Как известно, революция быстро закончилась. Вплоть до первой мировой войны три протагониста оставались на своих позициях и развивались независимо.

Покачнувшись государству удалось устоять и остановить революционный процесс. Но ему не удалось восстановить тот контроль над всей Россией, которым оно обладало при Александре III.

Реформа Столыпина была последней возможностью опередить гражданское общество, предприняв начинание, которое должно было пойти на пользу как самому государству, так и обществу, но на которое общество еще не было способно. В последний раз государство, совсем в духе просвещенного абсолютизма оправдало себя, подменив своим действием пассивное бездействие гражданского общества. Потом оно стало клониться к упадку. Оно еще было способно стеснять, тормозить, препятствовать. Но оно уже было неспособно создавать и еще менее возглавлять осуществление нового проекта общества, как это удалось государству Бисмарка.

Гражданское общество переживало расцвет. Оно заняло все пространство, освобожденное сжавшимся государством. Оно быстро росло числом. Оно оказалось способным построить политический аппарат в национальных масштабах, многообразный, как то и должно, и выражающий все оттенки либерализма, от радикализма самого смелого до консерватизма самого осторожного экономической области оно взяло на себя инициативу и обходилось без государственной опеки. Оно добилось присоединения к себе значительной части крестьянства, и крестьян-собственников, и кооператоров. Оно не приложило серьезных усилий на то, чтобы подружиться с элитой рабочего класса, ни на то, чтобы его организовать.

Чтобы включить в гражданское общество огромное, бедное и невежественное крестьянство и накапливавшиеся в городах пролетаризированные массы, требовалось время. Гражданскому обществу надлежало также потеснить конкурента, интеллигенцию, пытавшуюся в это же время организовать эти классы в собственных целях.

Этого гражданское общество сделать не смогло.

Вот почему в эти годы интеллигенция привлекла к себе особое внимание как таковая. Она стала объектом исследований и дискуссий. Иванов-Разумник⁴, чтобы не ходить далеко за примером, нарисовал ее картину в духе легенды: интеллигенция — сознание России. Сознание в гегелевском смысле, как часть социального тела, способное осмысливать реальность и осознавать самое себя. Но также и сознание — совесть, поскольку как таковая, она борется за благо и против изначальной несправедливости. История интеллигенции смешивалась с историей общественной мысли.

Интереснее две другие попытки осмыслить интеллигенцию, как социальную формацию на общих основаниях, как любой другой класс среди прочих.

Михайский прошел путь от польского национализма через правоверный марксизм, откуда не пришел, в 1903–1908 годы, к собственной теории. В «Интеллектуальном труженике» (1905 год) он утверждал, что поскольку знание — средство производства, то интеллигенция — класс эксплуататорский. Он завоевывает себе место, присоединяясь к другим трудящимся классам, подчиняя их своему собственному капиталу (который и есть знание), и использует их как рабочую силу для достижения своих целей. Социал-демократия — классовая идеология интеллигенции. Понятие «бесклассовое общество» — опиум для обманутого рабочего класса, На самом деле новый класс стремится к государственному порабощению

рабочего класса, к установлению выгодной для него иерархической системы и захвату для себя лучших мест. На первый взгляд Михайский придерживается циничных и реалистических воззрений последователя Порето, либо испытывает законное недоверие к социал-демократическим активистам, перенесшим на рабочий класс методы обработки, которые их старшие братья-народники испытывали на крестьянстве. Так что михаевщина могла бы показаться защитной реакцией независимого рабочего синдикализма, сопротивляющегося проникновению революционного духа. И нет ничего удивительного в том, что он выражается марксистским языком: интеллигенция представляется ему паразитирующим классом, присваивающим прибавочную стоимость.

Действительно, кое-какие анархо-синдикалистские черты у Михайского есть. Но они питаются скорее неизлечимым бакунианством. Он хотел бы ответить на «заговор» интеллигентов заговором рабочих борцов, сверженных революционеров под маской революционеров, и его лекарство слишком напоминает болезнь, которую он хочет излечить. Но Михайский — не столько разгневанный рабочий, сколько интеллигент, обнаруживший собственную демагогию и жаждущий исцелиться, возведя ее в квадрат. Его идеи будут питать усовестившихся большевиков. По его примеру они возведут отраженное отрицание самих себя в еще более высокую степень, нежели их товарищи.⁵

В знаменитом сборнике «Вехи» встретились инакомыслящие от интеллигенции, примкнувшие к гражданскому обществу и вознамерившиеся оглянуться на свое прошлое. *«Мне приходилось уже печатно выражать мнение, что русская революция была интеллигентской... Руководящим духовным двигателем ее была наша интеллигенция, со своим мировоззрением, навыками, вкусами, даже социальными замашками. Сами интеллигенты этого, конечно, не признают — на то они и интеллигенты — и будут, каждый в соответствии своему катехизису, называть тот или другой общественный класс в качестве единственного двигателя революции».* Конечно, добавлял Булгаков, эти социальные группы, крестьянство, пролетариат могли бы прийти в движение и по собственной инициативе, но интеллигенция предоставила им *«весь идейный багаж, все духовное оборудование вместе с передовыми бойцами, застрельщиками, агитаторами, пропагандистами, был дан революции интеллигенцией. Она духовно оформила инстинктивные стремления масс, зажигала их своим энтузиазмом, словом, была нервами и мозгом гигантского тела революции. В этом смысле революция есть духовное детище интеллигенции».*

⁴ Иванов-Разумник, 1908.

⁵ M. Nomad, 1958, B. Souvarin, 1977, P. Avrigh, 1967, M. Heller, 1974.

ции, а следовательно, ее история есть исторический суд над интеллигенцией»⁶.

В «Вехах» Бердяев, Гершензон, Струве, Франк анализируют, критикуют и осуждают интеллигенцию. Изгоев приводит социологическое исследование студенческой среды. «Вехи» действительно стали вехой на пути от пророческой литературы Достоевского и Тургенева к недавним работам американской исторической школы, в которых дается полный социологический анализ этой среды.⁷

Однако в тот самый момент, когда она стала объектом изучения, когда ее стали побуждать к самосознанию, интеллигенция начала меняться и исчезать.

Происходило это двумя путями. С одной стороны, интеллигенция интегрировалась в гражданское общество. Быстро росло число студентов, особенно начиная с 1910 года (в 1913 году их было 70 000), но о перепроизводстве по-прежнему не могло быть и речи. В стране с экономикой на подъеме, в обществе, становящемся все более современным, где уж совсем непропорционально развивался третий сектор, мест хватало для всех. Интегрированная в общество интеллигенция — адвокаты, профессора, инженеры, представители свободных профессий — охотно специализировалась и в сфере политики, как это наблюдалось и в западных демократиях. Но политика эта *кадетская*, то есть либеральная. Конечно, еще существовало некоторое количество студентов-бомбометателей с револьвером, воскрешавших призрак семидесятых годов. Но они уже фактически не представляли студенческую среду как таковую, как однородное ядро интеллигенции. Ставшие во время мировой войны офицерами и вольноопределяющимися, студенты будут последними противниками большевиков.

Ничто не свидетельствует так ярко об этой интеграции, как смещение семантики слова интеллигенция. Оно теряет идеологический смысл и обогащается иным. Оно обозначает уже социально-профессиональную группу, «белые воротнички». Интеллигенция вновь обретает *mutatis mutandis*, ту функцию, которая ей отводилась в государстве Просветителей, как это предполагалось в начале XIX века, то есть функцию социальной группы, выполняющей определенные задачи, и слово интеллигенция уже никоим образом не подразумевает протеста. Эта группа не подменяет и не дублирует гражданское общество, она продуцируется им в общем процессе разделения труда.

⁶ «Вехи», сборник статей о русской интеллигенции, Москва, 1909 год.

⁷ R. Pipes, 1961, M. Raeff, 1966, M. Confino, 1972.

С другой стороны, интеллигенция интегрируется в революционные партии.

В интеллигенции следует различать идеологическое ядро и его обрамление. Интеллигенция — не политическая партия, и в партию организуется только ее ядро. Но ядру нужен находящийся под ее влиянием и руководством пограничный слой, обрамление, которое и позволяет ядру влиять на «внешнее» общество. Ядро рассматривает гуманитарные ценности интеллигенции как орудие, как средство. Но обрамляющий слой верит в них искренне, и даже должен верить искренне, чтобы оказывать на общество то влияние, на которое рассчитывает ядро. Ядро, естественно, преобразуется в революционную партию. Но обрамление, после захвата власти, должно быть уничтожено.

С социологической точки зрения революционные партии порождены интеллигенцией, но с давних пор они рекрутировали в классах, которые намеревались привлечь на свою сторону, немало крестьян и рабочих, а также деклассированные элементы и люмпенов. Идеология вела свою работу по десоциализации и унификации. Интеллигенция теряет те контуры, которые были у нее в шестидесятых годах. Становление и легализация партий стирает эти контуры полностью. Этот процесс идет тем успешнее, чем революционной партией и чем совершенней ее идеология. Массовая и слабо централизованная партия социалистов-революционеров с расплывчатой доктриной своим правым крылом соприкасалась с миром либеральным. То же можно сказать о партии меньшевиков. Увязнув в логике своих социал-демократических воззрений в немецком духе, она постоянно клонилась к ревизионизму. Но у большевиков идеология окружала партийца надежной крепостной стеной. Под ее защитой он был вычищен, отмыт и возрожден как «новый человек», особое существо без отца и без матери. Хотя их руководители и принадлежали по своему происхождению и воспитанию к интеллигенции, они не испытывали к ней особых симпатий. Напротив, Ленин питал к интеллигенции стойкую ненависть, сродни той, что прежняя интеллигенция обращала на гражданское общество: эти последние стали подобны друг другу и, стало быть, способны на такое же предательство.

На стыке Старого порядка и Революции интеллигенция находилась на пути к исчезновению под действием двух независимых друг от друга механизмов. Ее члены либо дезертировали и, порывая заколдованный круг идеологии и укореняясь в гражданском обществе, обретали свое реальное бытие. Либо оставались внутри этого круга, где идеология завершала свою работу по уничтожению изначальных социальных особеннос-

тей, в том числе и особенностей интеллигенции, чтобы создать новую категорию, существующую только в идеологии и благодаря ей.

Можно заметить, что интеллигенция не представляет собой по своей природе постоянный социальный тип, и в этом отношении Ленин был прав. В России она — переходный момент, этап, созданный историческими условиями, кристаллизованный идеологией и растворенный в конце концов той же идеологией.

Идеология ее породила, идеология ее и разрушила.

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Чернышевский и Добролюбов презирали и ненавидели романтическое поколение¹. Они упрекали его в самолюбовании и самокопании. В благозвучных сетованиях литературных героев сороковых годов, раздираемых между недостижимым идеалом действия и праздною на деле, они усматривали просто малодушие. А в стремлении к психологическому и моральному усложнению — попытку оправдать своё ничегонеделание. То, что их предшественники называли диалектикой, они именовали фразерством и болтовней. «Отцы» были богатыми, но передовыми; образованными, но революционерами. «Дети» же видели в богатстве и культуре, которых они были лишены, бесполезную роскошь, противоречившую прогрессивной политической доктрине, препятствие на пути революции.

Чтобы преодолеть душевные метания и разброд, новое поколение попыталось «упроститься».

Чернышевский излагает свои взгляды в диссертации по «практической философии», которая дает в достаточной мере общее представление об идеях, распространенных в шестидесятые годы². Он пишет критическую статью о брошюре Лаврова, которая касалась нравственных проблем и опиралась на морализирующий позитивизм. Лавров, вполне искушенный в различных течениях западной мысли, склоняется в своей брошюре к идеям Жюль Симона, Прудона, Милля, Шопенгауэра. Чернышевский грубо отсылает его к «науке», то есть к современному немецкому сциентизму.

Суждения науки, как он ее понимал, аподиктические. Она удовлетворяет потребность в достоверном знании не только в плане естественного порядка, но и нравственного и метафизического. В самом деле, не существует разрыва между этими различными порядками, поскольку человек, как единое нераздельное целое принадлежит материальному миру. *«Философия видит в нем то, что видят медицина, физиология, химия»*. Если бы

¹ О Чернышевском существует обширная литература, но, на мой взгляд, образ, воссозданный В. Набоковым в IV главе «Дара», является истинным шедевром. См.: В. Набоков. Дар.

² Н.Г. Чернышевский. Антропологический принцип в философии. — Н.Г. Чернышевский. Избранные философские сочинения. М., 1938, стр. 43–118.

человек обладал помимо реальной своей натуры еще какой-либо, то эта другая натура непременно обнаружилась бы в чем-то. «*Это доказательство, — подчеркивает он, — имеет совершенную несомненность*».³ Человек ест и человек думает. В этом нет никакой тайны, как и в том, что «*дерево растет, горит*»⁴. Материализм (по соображениям цензуры он говорит монизм, единство законов природы) был понят очень давно гениальными людьми. «*Но только в последние десятилетия наше знание достигло таких размеров, что доказывает научным образом основательность этого истолкования явлений природы*»⁵. Мы живем в век коперниковых открытий в области химии и физиологии. Однако шаткость воззрений, выражающихся в смеси скептицизма с излишней доверчивостью, происходит именно от недостаточного знакомства с идеями, выработанными современной наукой. Основаниями своих теорий она берет отныне истины столь же достоверные, как и «*обращение земли вокруг солнца, закон тяготения, действие химического сродства*»⁶. Это можно проверить и наглядно доказать. «*При таком характере новых идей человеку, раз принявшему их, не остается уже никакой дороги к отступлению назад*»⁷. В действиях молодых людей этого времени не наблюдается ни поисков истины, ни поисков мудрости. Они преподносятся совершенно готовыми, очевидными сами по себе. «*Таким образом существующий характер нынешних философских воззрений состоит в непоколебимой достоверности, исключающей всякую шаткость убеждений*». Поэтому понятен резкий презрительный тон по отношению к противнику или колеблющемуся. Его искания не ставятся ему в заслугу, а расцениваются как малодушие, глупость или злонамеренность. Идеологическая достоверность — это единое целое. Ее предложения доказательны сами по себе. Вещь не может быть одновременно зримой и служить объектом веры. Объект религиозной веры невидим. Но идеология имеет своим объектом вещи видимые, которые можно пощупать, вполне очевидные. Отрицать их глупо или преступно, поскольку они не являются вопросом веры, но существуют фактически. Один из персонажей романа Чернышевского «Что делать?» встречает идеологического героя, Рахметова. «*Мы потолковали с полчаса; о чем толковали, это все равно; довольно того, что он говорил: «надобно», я говорил: «нет»; он говорил: «вы обязаны», я говорил: «нисколько». Через полчаса он сказал: «Ясно, что продолжать бесполезно. Ведь вы убежде-*

³ Там же, стр. 61.

⁴ Там же, стр. 63.

⁵ Там же, стр. 70.

⁶ Там же, стр. 75.

⁷ Там же.

ны, что я человек, заслуживающий безусловного доверия?» — «Да, мне сказали это все, и я сам теперь вижу». — «И все-таки остаетесь при своем?» — «Остаюсь». — «Знаете вы, что из этого следует? То, что вы или лжец, или дрянь!» Но он говорит таким тоном, без всякого личного чувства, будто историк, судящий холодно не для обиды, а для истины».⁸ Мы здесь присутствуем у истоков зарождения оскорблений по идеологическим мотивам: «ренегат» Каутский, «гитлеровец» Троцкий. Они вызываются ожесточением идеологии по отношению к тем, кто не подчиняется тому, что является, с точки зрения идеологии, несомненной очевидностью. Идеология не представляет собой согласия, чреватого риском и основанного на авторитете, признаваемом другими. Она является констатацией, подтвержденной личным опытом. Она не вера, она — псевдоэмпиризм.

В научной достоверности Чернышевский усматривает гаранта действия: «*Когда придет такая пора, когда представители элементов, стремящихся теперь к пересозданию западноевропейской жизни, будут являться уже непоколебимыми в своих философских воззрениях, это будет признаком скорого торжества новых начал и в общественной жизни западной Европы*»⁹.

Наука включает в себя также антропологию, психологию и нравственные знания. Не существует свободной воли. «*Все явления нравственного мира протекают одно из другого и из внешних обстоятельств по закону причинности*». «*Хотение... только субъективное впечатление*». «*То явление, которое мы называем волею, само является звеном в ряду явлений и фактов, соединенных причинною связью*»¹⁰. Человек, следовательно, не несет ответственности, поскольку он действует под влиянием либо внешних обстоятельств, а именно материальных, либо внутренних, зависящих от уравновешенности его страстей, которые стихийно толкают его к тому, что для него приятно, и отвращают от того, что для него неприятно.

Человек — эгоист. Если рассматривать вблизи какой-нибудь поступок или чувство, с виду бескорыстные, то мы увидим, что в основе их все-таки лежит та же мысль о личной пользе, удовольствии, личном благе и чувстве эгоизма. Чернышевский приводит тому пример: Эмпедокл бросается в кратер, чтобы сделать ученое открытие. Ньютон отказывает себе во всякой любви к женщине, чтобы нераздельно отдать все свое время научным исследованиям. «*Точно то же надобно сказать о политических деятелях*»¹¹. Итак, что есть добро? Это — польза. Как установить иерархию до-

⁸ Н.Г. Чернышевский. Что делать? М., 1966, стр. 304.

⁹ Н.Г. Чернышевский. Избранные философские сочинения. М., 1938, стр. 75.

¹⁰ Там же, стр. 81.

¹¹ Там же, стр. 85.

брых дел? *«Решить это очень нетрудно»*: общечеловеческий интерес стоит выше выгод отдельной нации, общий интерес целой нации стоит выше выгод отдельного сословия, интерес многочисленного сословия выше выгод малочисленного. *«В теории эта градация не подлежит никакому сомнению, она составляет только применение геометрических аксиом ... к общественным вопросам»*¹². Такова научная нравственность. Она проста и совершенна. *«У нравственных наук готов теоретический ответ почти на все вопросы, важные для жизни»*¹³. По существу человек способен следовать ей путем простейшего выбора между более или менее полезным. *«Мышление состоит в том, чтобы из разных комбинаций ощущений, изготовляемых воображением при помощи памяти, выбирать такие, которые соответствуют потребности мыслящего организма в данную минуту, в выборе средств для действия, в выборе представлений, посредством которых можно было бы дойти до известного результата»*¹⁴.

И тем не менее человек действует дурно, он не соблюдает своего интереса. Крестьянские массы не восстали в России, чтобы захватить землю, объединиться в *артель* или в *мир* и осуществить тем самым программу народников. Их интерес? Они не видели его. Они не получили надлежащего образования. Хуже того, они были испорчены внешними условиями, семейными и социальными ужасами исконной Руси. *Что делать?*

Таково название романа Чернышевского, написанного в тюрьме и служившего учебником совершенной жизни для трех поколений революционеров. Это воспитательный роман. Юная девушка Вера, выросшая в ужасной семье, знакомится с «развитым» студентом, который способствует ее эмансипации. Другая девушка, проститутка, возрождается к новой жизни под влиянием другого, еще более развитого студента. По мере своего духовного развития Вера переходит под руководство этого второго студента. Всеобщее внимание привлекает молодой человек, олицетворяющий собой те вершины, которых можно достичь на пути этого развития. Это Рахметов, идеальный *положительный герой*.

Чернышевский строит литературную модель своей научной антропологии. Поскольку сам он в тюрьме и не может реализовать ее в действительности, то реализует ее, так сказать, в воображении. Другая реальность создается в *«ощущениях, изготовляемых воображением»*, взаимодействуя с действительной реальностью. Таким образом все происходит в точном соответствии с теорией.

Существует совершенно удовлетворительное состояние мира. Наука доказывает, что в нем все увязано, что оно желаемо и возможно. Мысль, просвещенная и направляемая научным открытием, постигает этот мир во всех его деталях, с абсолютной степенью достоверности. Этот мир не утопия, поскольку он соответствует самой элементарной непосредственности человеческого существа, руководствующегося простым принципом — чувством удовольствия и выгоды. Человек не нуждается ни в добродетели, ни в том, чтобы превозмочь себя, он должен только оставаться верным своей природе, следовать ее велениям и правильно понять своим интересам. Для человека, пробужденного наукой, этот мир предстает, как ясная картина, как план перед глазами.

Но та же рисуемая ему совершенный град наука показывает ему и исторические препятствия, встающие на пути его в этом мире. Борьба двух градусов, двух миров — это нечто большее, чем нравственная драма. Это драма онтологическая, где то, что не имеет права на существование (поскольку неразумно, не соответствует плану и принципу пользы), препятствует бытию того, что такое право имеет. Русское население распределяется сообразно степени знания и сообразно степени сопротивления этому же знанию. Точно так же и герои *«Что делать?»* как бы располагаются на ступенях некоей лестницы совершенства, по которым поднимается с одной на другую героиня Вера.

Граница между двумя мирами пролегает через сердце каждого. Человек несет на себе следы своего воспитания, сложившиеся годами привычки. Он не способен сразу начать жить в соответствии с простым правилом здравого расчета, он не готов еще к счастливой жизни. Студент Кирсанов только что принял тяжелое для него решение позволить Вере покинуть его ради Лопухова. Борьба была жестокой, но он исполнен внутреннего удовлетворения, ибо необходимо бороться с собой, чтобы достичь счастья. Лежа на диване, Кирсанов рассуждает: *«Будь честен, то есть расчетлив, не просчитывайся в расчете, помни сумму, помни, что она больше своей части, то есть что твоя человеческая натура сильнее, важнее для тебя, чем каждое отдельное твоё стремление... Одно правило, и какое немудрое, вот и весь результат науки, вот и весь свод законов счастливой жизни. Да, счастливы те, которые родились с склонностью понять это простое правило. И я довольно счастлив в этом отношении. Конечно, я много, вероятно больше, чем натуре, обязан развитию. А постепенно это будет развиваться в обычное правило, внушаемое воспитанием, всею обстановкою жизни. Да, тогда будет всем легко жить на свете, вот как теперь мне»*¹⁵.

¹² Там же, стр. 107.

¹³ Там же, стр. 108.

¹⁴ Там же, стр. 99.

¹⁵ Н.Г. Чернышевский. Что делать? М., 1966, стр. 251.

Две задачи стоят перед новым человеком: перевоспитать себя и перевоспитать общество в духе новой науки.

Чернышевский изображает во весь рост совершенного героя, который выполнил первую из этих задач. Рахметов был «святым», экзистенциальным образцом для Плеханова, Ленина, большевиков. Он стоит того, чтобы присмотреться к нему поближе. Чернышевский тоже хотел этого. У его романа есть подзаголовок: «Из рассказов о новых людях». Раздел XXIX главы третьей «Особенный человек» — в центре повествования.

Рахметов из богатой помещицкой семьи, ведущей свой род от татарина. В русской литературе таких людей изображали, как решительных, своевольных, суровых, то есть с чертами, совершенно чуждыми беспечности и добродушию русских. Такое происхождение — знак обособленности и необычной предназначенности. В пятнадцать лет он ушел из семьи из-за конфликта эдиповского характера. Отец — деспот, мягкая и нежная мать. Герой влюбился в любовницу отца. Именно тогда он и подпал под влияние Кирсанова, который стал для него *«тем, чем Лопухов для Веры Павловны»*, воспитателем, проводником в новую жизнь.

Нужно отметить, что его перерождение началось, прежде всего, в интеллектуальном плане. Поскольку существует абсолютная истина, гарантируемая наукой, культура прошлого представляет какую-то ценность лишь в той мере, в какой она содержит элементы этой истины. Чернышевский предлагает выбросить за борт почти целиком всю унаследованную и современную культуру: *«... Специалисты, идущие в уровень с понятиями нынешней науки, — находят, что в книгах, подобных сочинениям гг., нами названных и их предшественников, даже и ученого тряпья отыскивается слишком мало, так что чтение их составляет совершенную трату времени, ведущую только к засорению головы. Вот то же самое надобно сказать почти о всех прежних теориях нравственных наук. Пренебрежение к антропологическому принципу (материализму на эзоповом языке) отнимает у них всякое достоинство»*¹⁶.

Таково же и высокомерие идеального героя романа. *«По каждому предмету, — говорил он, — капитальных сочинений очень немного; во всех остальных только повторяется, разжижается, портится то, что все гораздо полнее и яснее заключено в этих немногих сочинениях. Надобно читать только их; всякое другое чтение — только напрасная трата времени»*¹⁷. Но при этом может иметь место смешение: в одной и той же книге абсолютная истина может соседствовать с явным заблуждением. Ра-

бота ума должна будет тогда незамедлительно отделить истину от лжи. Бывает также, что смешение может представлять интерес, как весьма общий образ мира, где добро и зло тоже идут рядом. Именно так Рахметов, просматривая книги в библиотеке Веры Павловны и отмахнувшись от Маколея, Тьера, Гизо, Ранке, вдруг напал на сочинения Ньютона и схватил том *«Замечания о пророчествах Даниила и Апокалипсис св. Иоанна»*. В самом деле, это *«классический источник по вопросу о смешении безумия с умом»*. *«Ведь вопрос, — продолжал он, — всемирно-исторический: это смешение во всех без исключения событиях, почти во всех книгах, почти во всех головах»*¹⁸. Умение отличать истину от лжи, добро от зла, умение их безошибочно распознать и является первым результатом интеллектуального озарения. Жадно слушал Рахметов Кирсанова в первый вечер, плакал, прерывал его слова проклятиями *«тому, что должно погибнуть»*, и благословениями *«тому, что должно жить»*. *«С каких же книг мне начать читать?»*¹⁹ — спросил Кирсанова юный обращенный. Кирсанов ввел его в курс дела, дав ему список книг. Купив в немецких и французских книжных магазинах на Невском, от Адмиралтейства до Полицейского моста, указанные книги, Рахметов затворился у себя и читал, не отрываясь, три дня и три ночи.

Что же он читал? Фейербаха, «отца новой философии». Материалистическую трилогию Фогта, Бюхнера и Молешотта. Да, несомненно, и других, но они не названы. Овладев теорией, он обратился к действию. Ненасытное чтение продолжалось лишь *«в первые месяцы его перерождения»*. Когда он счел, *«что приобрел систематический образ мыслей в том духе, принципы которого нашел справедливыми»*, книги стали для него делом второстепенным: *«я с этой стороны готов для жизни»*²⁰.

Это знание открывало путь к спасению. Но помимо него необходима тренировка всех способностей, чтобы подготовить тело к полученному знанию, наделить его силами, способными сделать это знание действенным. Рахметов подчинил себя особому режиму питания, где исключительную роль играло мясо (несомненно, под влиянием Фейербаха, ультраматериалиста в последний период). Такое питание и гимнастика вскоре превратили его в атлета, обладавшего почти сверхчеловеческой силой. Он вел самый суровый, почти мученический образ жизни, предназначенный закалить его волю, сделать его нечувствительным к страданиям, освободить его от укоренившихся привычек. В самом деле, нужно, чтобы воля послушно и без усилий приспосабливалась к *«кодексу счастливой жизни»*, определенному новой наукой. Вот почему усилия над самим собой, часто героические, не достоинства, а

¹⁶ Н.Г. Чернышевский. Избранные философские сочинения, стр. 116.

¹⁷ Н.Г. Чернышевский. Что делать? Стр. 302.

¹⁸ Там же, стр. 291.

¹⁹ Там же, стр. 297.

²⁰ Там же, стр. 301.

продиктованы расчетом. Это не жертвы, а просто уловки для получения существенной выгоды. Аскетизм — это рациональная форма гедонизма. Главное — освободиться от всего, что связывает. Однажды ему довелось влюбиться. Но он спохватился: «...я должен подавить в себе любовь: любовь к вам связывала бы мне руки, они и так не скоро развяжутся у меня, уже связаны. Но развяжу. Я не должен любить»²¹. Тут он очень строг. В самом деле, нужно быть свободным ради человечества и примера. «Я не пью ни капли вина. Я не прикасаюсь к женщине... Так нужно. Мы требуем для людей полного наслаждения жизнью, мы должны своею жизнью свидетельствовать, что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным страстям, не для себя лично, а для человека вообще, что мы говорим только по принципу, а не по пристрастию, по убеждению, а не по личной надобности»²².

Итак, никакой сентиментальности. Рахметов прост, зауряден, откровенно банален. Чернышевский подчеркнуто отвергает романтического революционера, яркий образ которого дал в своем романе «Рудин» Тургенев. Рахметов организован, точен, дорожит временем. Одевается как все, говорит как можно меньше, без всяких околичностей, как демонстрирующий опыт ученый, а не изобличающий оратор. Он говорил «без всякого личного чувства», излагая свою точку зрения и не навязывая ее. В самом деле, если собеседника не убедили его демонстрации, значит он не созрел, «неразвитой», и бесполезно настаивать.

Окружающие Рахметова друзья относятся к нему с почтительной опаской. Он внушает страх самим своим совершенством. Но некоторые разделяют его идеалы. Со стороны эти люди казались странными. Не являются ли они как бы новой сектой? Они образуют группу людей, действующих заодно, сильных одним и тем же знанием, поступающих сообразно одной морали, воодушевленных одной любовью к тому, что они называют «невеста». «Невеста» появляется в мечтах, или в снах Веры Павловны. Это Революция. Она может принимать и другие имена: любовь к людям, равноправие. Однажды, поведав Вере Павловне об истории человечества с момента его зарождения, она («невеста») сообщила о своем первом появлении на земле, возвешенном Руссо в «Новой Элоизе». «И с тех пор мое царство растет. Еще не над многими я царица. Но оно быстро растет, и ты уже предвидишь время, когда я буду царствовать над всею землею. Только тогда почувствуют люди, как я хороша. Теперь те, кто признают мою власть, еще не могут повиноваться всей моей воле... И я говорю им: знайте мою волю теперь лишь настолько, насколько можете знать ее без вреда себе»²³.

²¹ Там же, стр. 308.

²² Там же, стр. 299–300.

²³ Там же, стр. 398.

Действительно, мир — это школа. Те, кого знание освободило, должны это знание освобождать и распространять. И это в их интересах. Они еще так малочисленны. Тип этих людей «зародился недавно». Прежде были только отдельные личности, предвещавшие его; они были исключениями и, как исключения, чувствовали себя одинокими, бессильными и от этого бездействовали, либо «унывали или экзальтировались, романтизировали, фантазировали, то есть не могли иметь главной черты этого типа, не могли иметь хладнокровной практичности, ровной и расчетливой деятельности, деятельной рассудительности». Шесть лет назад этих людей не замечали. Через несколько лет, очень немного лет, их призовут на помощь: «Спасите нас!» Поскольку общество «должно перевоспитаться, это так!»²⁴.

«Кто перевоспитался, помогает другим». Таким образом то, что является мерилом для Нового человека, станет вскоре общей нормой. «Золотой век... еще впереди. Железный проходит»²⁵. Отныне общество, мир содержат зародыш своего спасения. Их мало, этих новых людей, «...но ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла бы... Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало; но они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли»²⁶.

Чернышевский — решающий этап в истории идеологии.

С Бакуниным, Белинским и Герценом русская мысль обратилась к действию. Она сама доказала теоретически необходимость действия. Но не найдя точки приложения, она повисла в воздухе. Тем более радикальная, что она не встречала никаких существенных препон в реальности, русская мысль поставила людей сороковых годов в неудобное положение. Какой разрыв между словами и делами! Какое бессилие!

С Чернышевским и его друзьями положение изменилось. Стало ясно, что действие прежде всего, так что за дело! Действие обратилось тогда к мысли, она должна указать ему цели, средства и оправдывающую их мораль. Умозрительные построения, еще довольно распространенные в первом поколении, внезапно иссякли. И самом деле, нечего искать, истина принимается бесспорно. Философский момент состоит в решимости искать истину. Идеологический же момент — в констатации истины. После чего остается лишь делать выводы. Особая манера Чернышевского, исполненная высокомерия и грубости, вытекает из ощущения простоты, очевидности («стоит один раз», «одно правило», «совершенно элементарно» —

²⁴ Там же, стр. 222, 270.

²⁵ Там же, стр. 272.

²⁶ Там же, стр. 311.

эти выражения повторяются без конца), радости этого открытия и раздражения из-за добровольной и корыстной слепоты не желающих видеть.

Поражает крайняя скудость гнозиса Чернышевского, если сравнить его с блестящей теорией познания идеалистов, процветавшей в России в начале века. Баадер, Гаман, Шеллинг, Бёме были тем источником, из которого черпали славянофилы и еще Герцен, упивавшийся ими в свои молодые годы. Воображаемый монах мистического франкмасонства был еще жив в них. Но Чернышевский ненавидел набожность, остерегался чувства, поносил прекраснотушие. Конечно, «невесту» можно рассматривать как гностический миф. Но какой жалкий! Он предстает перед нами в снах Веры Павловны: это фурьеристский фаланстер, автоматизированный благодаря техническому прогрессу. *Хрустальный дворец* Пэкстона, декорированный иллюстраторами Жюля Верна: вот картина его утопии. Дело в том, что наука, принятая всерьез, подрезает крылья воображению. Она позволяет лишь экстраполировать. Кроме того, воображение бесполезно, поскольку сама материя в своем саморазвитии берет на себя заботу о будущем человечества. Развитие — это все, действие сопутствует ему, но запрещает себе слишком забегать вперед.

Теория познания Чернышевского, хотя и прикрытая обычно обильными мифологическими измышлениями, достаточно банальна. Мир представляется как смешение элементов добра и зла, где зло держит добро в заточении. Спасение приносит знание. Это знание рационального характера, оно полное, мощное и абсолютно достоверное. Оно дает подлинный план мира, ключ от его судьбы. Оно показывает, что мир можно спасти, достаточно по-другому устроить его, отделить элементы добра, которые представляют будущее, прогресс, жизнь, от элементов зла, принадлежащих прошлому, реакции, смерти. Как у Мани, существует два принципа и три времени. Осуществить это отделение должны Новые люди. Им, пробужденным знанием, открывается доступ к новой жизни. Рахметов — современный (стало быть, «научный») тип *совершенного* манихея. Пробужденный приобщением к знанию, он вступает в круг спасенных и спасающих человечество. Пытаясь отделить в себе добро от зла, он ведет аскетический образ жизни избранных, сохраняет целомудрие. Его содержит общество, оно его кормит, одевает в обмен на его постоянную активную деятельность. Он следует морали, совсем непохожей на общепринятую, но которая присуща самому знанию и которой придерживаются между собой только гностики, приобщившиеся к знанию. Другие не несут ответственности, поскольку их действия предопределены извне. Его же работа состоит в распространении знания, в расширении проблем, связанных с точным наблюдением доктрины, в том, чтобы показать пример и поднять на свою вершину пробужденных и сознательных.

Однако одной чертой он отличается от *совершенного*. У него нет обряда, нет трансцендентности. Космическое смешение классической теории познания возвращало к первоначальной метафизике религиозных деяний. Материалистическая космология связывает человека со Вселенной, но Вселенной имманентной, механической, такой, какой ее рисует наука, вне которой не существует изменения. Рахметов побеждает не молитвой и обрядом. Его поле деятельности — общество, его средства — политика.

В центре внимания Чернышевского нравственная проблема. Стремясь обеспечить революционному действию определенную невинность, он отправляется в Европу за сугубо детерминистским материализмом. Действия человека предопределены: следовательно, он не несет ответственности. Если он действует сознательно, значит он осознает необходимость своего действия. Свобода — это осознанная необходимость (Ленин повторял это определение Энгельса). Вопрос о свободе смещается и связывается с сознанием. Сознание достоверно, следовательно действовать сознательно — значит руководствоваться им. Человеческое действие вновь обретает в сознании невинность, как в ту пору, когда оно бессознательно предопределялось извне. Сознательно или бессознательно, но человек перекладывает свою ответственность на то, что не является им самим. Где же тогда может корениться ошибка? В том единственном случае, когда человек, пробужденный к знанию, не повинуется его велениям. Ошибка может быть слабостью: в этом случае все объясняется тем, что *тренировка* не была доведена до такой степени, чтобы позволить одержать полную победу над механизмами, действующими обычно в невозрожденном мире. Но чаще нравственная ошибка может свестись к ошибке логической. Пробуждение не было полным, а выздоровление — окончательным, поскольку сознание не очищено, теория была плохо понята, либо упущена из виду. Грешить — значит отказываться понять, или плохо понимать, или вовсе позабыть. Это повод не для раскаяния, а для самокритики, не для прощения, а для испытания типа школьного, когда решается вопрос, может ли плохой ученик «продолжить занятия», оставить ли его на второй год, для повторного прохождения курса, или исключить.

Решение нравственной проблемы было главным для этого поколения. Действие становилось явно неотложным. Эти молодые люди вышли из мрачных глубин России, они были воспитаны в покорности царизму и православию. Их была всего лишь горстка. Как преодолеть непосильное чувство вины, парализовавшее их старших братьев, хотя и лучше подготовленных, чем они? Как действовать, не спотыкаясь о внутренние преграды?

Человек, естественно, желает знать: теперь он знает. По-видимому, приобщение к достоверному знанию и вхождение в круг Совершенных революционеров порождает такую радость, что она заставляет отступить

на второй план проблему, решением которой и было это приобщение. Чтобы действовать, необходимо было постигнуть совершенную жизнь. Она вела к самодостаточности и применению к ней критериев, которые не были критериями политической эффективности. В качестве первого отхода от действительности, политика становится побочным продуктом доктрины, тогда как доктрина была разработана, чтобы сделать политику возможной. Однако в 1860 году ни доктрина, ни политическая программа не были еще определены. Предполагалось, что доктрина существует, поскольку она Наука, но она не была разработана. А пока достаточно того, что она истинная. Политическая программа Чернышевского туманна и эклектична. Он еще придерживается идей Просвещения. Его антропологический принцип заимствован прямо у Гольбаха. Ленин восхваляет Чернышевского за его последовательный «антифеодализм»: яростное осуждение крепостничества, выступления в защиту просвещения, *самоуправления*, свободы и защиты крестьянских масс. Чернышевский был сторонником крестьянской общины и, в этом плане, союзником славянофилов, славянофилом левого толка, а ля Герцен. В то же время он был сторонником «буржуазного» прогресса и капиталистического развития, в той мере, в какой оно не подрывает шансов крестьянской общины. Таким образом, он также и западник. Следовательно, он отстоит достаточно далеко от классического народничества, для которого врагом номер один была не столько русская отсталость, сколько «капитализм». Чернышевский был бесспорным учителем молодого поколения, не по причине своей программы, которая могла меняться, а по причине своей концепции политического действия: в ней спасение. *Прежде чем суметь ответить на вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ? молодой человек, стремящийся вступить в настоящую жизнь, должен вступить в Революцию*²⁷.

Вот почему тип идеолога-революционера сформировался в начале шестидесятых годов в условиях, когда не существовало еще ни разработанной идеологии, достаточно было убеждения, что она возможна, ни тем более последовательной политической программы. В течение нескольких лет там и сям появляются борцы без доктрины и без программы, совершающие действие ради действия и сочетающие смелую веру в самих себя с временным незнанием доводов доктрины, которые могли бы оправдать это действие.

²⁷ А. Walicki, 1969, стр. 16.

МЕЧТА О ПАРТИИ

Чернышевский создал индивидуальную этику революции. Революционная жизнь в России превратилась в подражание Чернышевскому и его герою Рахметову. Как и в якобинской Франции, идеолог появился прежде идеологии. То же можно сказать о партии. В Европе эпохи Реставрации существовала модель тайного общества, общество карбонариев. Карбонарии или карбонаризм — особенность Старого порядка, где гражданское общество еще слишком слабо, чтобы совершить революцию, поэтому и Россия поспешила заимствовать именно эту модель. Молодые люди, у которых перед глазами был пример якобинцев, хотели заменить собой гражданское общество. Вместе с тем партия, возникшая в России, создавалась не как замена гражданского общества, а как продукт идеологии.

В процессе своего возникновения партия не стала дожидаться, пока идеология оформится. По правде сказать, прежде чем партия начала создаваться, о ней долго мечтали. Однако уже на стадии мечтаний она приобрела свои окончательные черты. *«Надо мечтать!»* — писал Ленин.

Вместе мечтали о партии молодой правонарушитель Нечаев и влюбленный в него старик Бакунин.

В отличие от Герцена, всегда говорившего, что верит в революцию, но не любит ее, Бакунин сохранил революционную страсть в ее первоначальном виде: разрушать, отрицать, ненавидеть — этого достаточно. Остальное сделает ритм диалектики. И вот в 1869 году в его швейцарском изгнании ему представился двадцатидвухлетний молодой человек. Это была любовь с первого взгляда. *«Они восхитительны, — говорил Бакунин, — эти молодые фанатики, верующие без Бога, герои без фраз»*. Сам же старик давно уже жил только фразами. Нечаев рассказал ему, что стоит во главе могучей дисциплинированной организации, готовой дать решительный толчок крестьянской революции в России сообразно программе, в которой Бакунин признал свою и подытожил следующим образом: *«Полное разрушение законно-государственного мира и всей так называемой буржуазной цивилизации посредством стихийной народной революции, направляемой неуловимой и безымянной коллективной диктатурой сторонников полного освобождения народа от всякого подавле-*

ния, сплоченных в секретное общество, которое всегда и везде действует с одной целью и по одной программе».¹

О такой организации, такой партии Бакунин мечтал уже тридцать лет. Ему давно было известно о существовании группировок решительных, дерзких и немудрствующих молодых людей. В 1866 году они готовили покушение на Александра II. Когда же Бакунин увидел прибывшего к нему молодого человека, то сразу узнал в нем свершение всех своих надежд. *Nunc dimittis!* Он наделяет Нечаева всеми достоинствами революционера: серьезностью, страстностью, несгибаемой волей, беспредельной преданностью делу. Конечно, ничего этого не существует. Дело, священное дело, приводящее в восторг старика, существует только в мечтах. Фантазмы — единственная реальность всей этой истории. Многие историки старательно пытались понять Нечаева, каким он был на самом деле. Ничего не получилось.

Достоевский прекрасно заметил, что дело было гораздо серьезней в намерениях, нежели в свершениях. В качестве вещественных улик фигурировал только труп студента и «Катехизис революционера».

В знаменитом тексте «Катехизиса революционера» некоторые части несут на себе следы пера Бакунина. Они наиболее расплывчаты. Бакунин-анархист лучше всего узнается в последней части, озаглавленной «Отношение товарищества к народу» и являющейся его политической программой. Партия (или Товарищество) ставит своей целью «*полное освобождение и счастье народа*». Это возможно только с помощью «*народной революции, которая разрушит все*». Она не должна рассматриваться как свержение одного режима другим или как замена одного государства на другое. Такова «*классическая модель Запада*» и следовать ей нельзя. Революция должна разрушить все государственное и все традиции государственного и классового строя России. «*Наша задача — разрушение ужасное, всеобщее, полное, безжалостное*». Последующее воссоздание — это уже дело будущего «*народного движения и жизни*». А пока следует объединиться с «*теми элементами народной жизни*», которые со времен основания московской государственной силы не переставали протестовать не на словах, а на деле «*против всего того, что связано с государством: против дворян, чиновничества, попов, гильдейского мира и против кулака-мироеда*». «*Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России*».

¹ Confino, 1973.

Вместе с этим откровенным призывом к правонарушению, к бакунинскому анархизму может быть отнесена еще одна черта: «*Революционер презирает всякое доктринерство и отказывается от мирной науки, представляя ее будущим поколениям. Он знает одну науку, науку разрушения. Для этого и только для этого он изучает теперь механику, физику, химию, пожалуй, медицину... Цель же одна — наискорейшее и наивернейшее разрушение этого поганого строя*». В ней содержится отказ от научного знания — явление, выпадающее из русской революционной традиции. Распространять утилитаризм на науку и сделать из революции высшую, но пустую ценность — нет, русский революционер не может с этим согласиться. Правонарушение и культурный нигилизм — безусловная принадлежность революции, но они не могут быть ее принципами. Поэтому Ленин станет яростным врагом бакунинского анархизма, также как и морализма семидесятых годов. В последнем он видит непоследовательность: научное знание уже содержит в себе нравственность, таким образом, нравственность не может претендовать на независимость. В первом же Ленин видит противоречие, поскольку «*гностическая*» революция не может считать себя агностиком. Нужно, чтобы была программа. Даже если ее следует скрывать по тактическим соображениям, она должна существовать в принципе, хотя бы в латентном состоянии. А за программой — рбщая доктрина.

Все остальное в «Катехизисе революционера» взято из стандартного набора русской революционной фразеологии, он не менялся от Чернышевского до Ленина.

О проектах организации много не скажешь. У тайных обществ нет ничего специфически русского, они быстро распространяются в Европе в эпоху Реставрации. Основной формой таких обществ является к р у ж о к, и для целого поколения молодых людей в России он составлял все поле социальной жизни. Происходит ли кружок от немецких *collegium pietatis* XVIII века? Во всяком случае, он существует. Он объединяет нескольких молодых людей вокруг одного из них, обычно наиболее яркой личности, имя которой кружку и достается. Например, говорят о кружке Станкевича².

В Англии объединение происходило на основе воспитания в одном колледже, занятий одним видом спорта, сходной карьере, то есть единство базировалось на социальном сходстве. Мировоззрение не играло большой роли, а вежливость побуждала избегать разговоров на эту тему. В России

² E. J. Brown, 1966, M. Raeff, 1967 (b), A. Koyre, 1929.

социальное происхождение порой вообще не имело значения. В Германии кружки благочестия преследовали исключительно цель совершенствования. Русский кружок — это не только нравственная цель, но и стиль жизни. Очень скоро к этому добавился и политический аспект.

В шестидесятых годах характер кружка изменился. Возраст и воспитание утратили значение, кружок стал по преимуществу студенческим. Университет не предоставлял возможности для социализации студентов, и именно кружок стал местом встреч молодых людей, съехавшихся со всех концов России, содружеством юных провинциалов, несколько растерявшихся в большом городе, кассой взаимопомощи, местом обмена идеями и брошюрами, причем и те, и другие часто были подрывного характера. Уже и речи не идет о мысли возвышенной и чистой, скорее о присоединении к формирующейся субкультуре, наиболее точным выражением которой был Чернышевский и его журнал.

В результате университет пережил кризис, на некоторое время закрывался, многие студенты были отчислены. Кружки быстро стали рассадником революционной деятельности. После 1863 года первые группы террористов формировались в той же среде, что и «Общество Любомудрия» на полвека раньше³.

Кружок стал секретным. В «Катехизисе революционера» сказано, что *«механизм организации держится в секрете»* от постороннего глаза. Внутри кружка *«следует исключить любые разговоры, не имеющие отношения к цели»*. Это очень важное положение. Оно препятствует превращению кружка в дискуссионный клуб, позволяет не соскользнуть на привычную для русской интеллигенции дорожку. Говорить следует только о задачах. Обязательно и использование условного языка, означающего принадлежность к определенной доктрине, так что в кружках выковывается будущий «новояз». Новый язык формирует среду и связи между ее членами, играя, с позволения сказать, религиозную роль. Поэтому от членов кружка требуется полная откровенность, открытость по отношению к духовному наставнику: *«Полная откровенность членов перед организатором является залогом успеха»*. Это наследие collegium pietatis: взаимная исповедь в целях нравственного усовершенствования.

Мы подходим к главному. Вступление в кружок — или в партию — это полная переориентировка жизненных ценностей, «metanoia», вхождение в новый мир, именуемый Революцией. Революционер покидает отца и мать, порывает со всеми своими корнями: *«Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни*

собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией».

Это напоминает лексику монашеского обета. Монах тоже оставляет все, даже меняет имя, он предан только Вседержителю. Бакунинское отрицание (Разрушение равнозначное Революции) — простая подмена божественного утверждения. Революционер отказывается от самого себя и поглощается революционным пада. Поэтому здесь уместен мистический тон и лексика. Однако эта вывернутая наизнанку мистика достаточно напоминает религиозную, чтобы произвести впечатление на Достоевского. Рисуя образ Ставрогина по подобию знакомых ему революционеров, Достоевский делает его почти святым. Он ставит атеиста (отрицание Бога, воспринимаемое как всеобщее бакунинское отрицание) на предпоследнюю ступень духовного возвышения, много выше наивной и спокойной верности простой религии. И Блок извлечет что-то из мистико-революционной музыки пожаров. Этот байронический демонизм находит в «Катехизисе» завершённую форму своей политизации, но сохраняет двусмысленное «нравственное достоинство» романтического извращения и всю ценность пламенного призыва. Русская религиозность охотно допускает существование причастия во Зле, причастия грешников, как существует причастие святых. Это и искушает не сложившиеся души подростков.

При внимательном чтении «Катехизиса» можно, однако, заметить, что его структура — не вывернутое наизнанку христианство, а манихейство в его естественном облики. Христианское монашество — не отрешение от мира, не отказ от цивилизации и естественного порядка, а признание Божьего закона, который этот мир не выполняет. Революционер же, напротив, *«в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира. Он для него — враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем, то для того только, чтоб его вернее разрушить»*. Он не смотрит на мир благожелательным и всепрощающим взглядом. *«Революционер вступает в государственный, сословный и так называемый образованный мир и живет в нем только с верою его полнейшего скорейшего разрушения. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире. Если он может остановиться перед истреблением положения, отношения или какого-либо человека, принадлежащего к этому миру, в котором все и всё должны быть ему одинаково ненавистны»*. Как совершенный, революционер просеивает смесь нечистот, уничтожая скверну и отделяя зерна от облепивших их плевел. Для этого он проникает всюду, чтобы не дать ни одной крупине мира ускользнуть от очистительной войны: *«14. С целью*

³ Besancon, 1974a.

беспощадного разрушения революционер может, и даже часто должен, жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционеры должны проникнуть всюду, во все слои, высшие и средние, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в третье отделение и даже в Зимний дворец». Однако, проникая повсюду, революционер ни с чем не смешивается. Его природа иная, он принадлежит иному обществу. Он не связан общей моралью, потому что общей морали не существует. Он не признает морали «поганого общества». Напротив, он полностью связан моралью, вытекающей из доктрины и распространенной среди посвященных: «Он презирает и ненавидит во всех ее побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему».

«Простой расчет» Чернышевского, который у последнего еще подкреплен общим рассуждением — пользой — отделяется от всего человечества, становится расчетом политическим (революция), непосредственно применимым только к революционеру, а косвенно — ко всем остальным в той мере, в которой это определено политическим расчетом. Единство морали отвергнуто, но это не приводит к аморальности, поскольку в новом обществе другая мораль, куда обязательней и строже.

Эта другая мораль описана в параграфах 5-ом, 6-ом и 7-ом второй части. Мораль эта сурова и пессимистична. «Революционер — человек обреченный». Безжалостный к государству и образованному обществу, он не должен ожидать от них пощады для себя. Гностик вовлечен в конфликт, который его превосходит, и не может быть в этом конфликте посредника между по сути своей противоположными сторонами. «Между ним, с одной стороны, и государством и обществом с другой, идет война, видимая или невидимая, но постоянная и безжалостная, не на жизнь, а на смерть». Компромисса быть не может, поскольку среднего пути нет. «Они или мы», — скажет Ленин.

Эта мораль запрещает любовь и дружбу. Во-первых, потому что война этому не благоприятствует. Во-вторых, потому что естественные чувства связаны с миром, который надлежит разрушить, и должны быть разрушены вместе с ним: «Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодной страстью революционного дела». Достоевский уловил эту черту. Его бесы требуют «права на бесчестье»⁴. А таковое предполагает аскетическую тренировку, пример которой преподносит Рахметов.

Эта мораль не лишена подобия демонизма, поскольку революционер двигает вперед мир изначальный, это его единственное вознаграждение: «Для него существует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение — успех революции». И хотя революционная мораль и применяется двояко, в зависимости от действий внутри партии или в подлежащем уничтожению мире, в принципе она едина.

Все зависит от политического расчета. Легко заметить, что революционеры освобождают себя от общей морали по отношению к неревolucionерам, но было бы ошибкой считать, что между самими революционерами эта мораль восстанавливается в своих правах. Она отвергнута другой моралью, в которой нет места справедливости и несправедливости. Отсюда и парадокс, многих сбивавший с толку: революционер, считающий, что его партия свята, ведет себя со своими товарищами с тем же явным цинизмом, что и с теми, кого он поклялся уничтожить. Разница только в том, что между революционерами о таком поведении существует принципиальная договоренность (правда, применяемые при этом правила не уточняются), тогда как по отношению ко всем прочим это чистой воды узаконенный обман. Первые поклялись соблюдать соглашение, содержащее пункт об отсутствии права и справедливости (существует только польза на каждый определенный момент), и они, обманутые, сохраняют удовлетворенность заключенным контрактом и тем, что жаловаться им не на что. Другие же, считающие, что право и справедливость существуют, наказаны как раз за то, что сочли сущими вещи совершенно отвергнутые.

В параграфе третьем речь идет об общих правилах сети: «Члены, отобранные в кружках для поступления в секцию, на первом собрании берут на себя обязательство а) действовать спайно, коллективно, во всем подчиняясь общему мнению, и оставляют секцию только чтобы перейти, по приказу комитета, в более узкий круг организации; б) во всех их отношениях с внешним миром следовать только интересам общества». Это учредительная хартия общества «совершенных», с которой они теряют всякую самостоятельность. Они соглашаются быть «средствами или инструментами для осуществления намерений и достижения целей общества». Исполнители не должны знать характер, а только детали порученного им дела: «Чтобы побудить их к действию, нужно ложно объяснять характер порученного им дела»⁵. Для *philia* в партии не больше места, чем в окружающем мире: «Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к такому товарищу определяется единственно степенью по-

⁴ Besancon, 1967.

⁵ Последние три цитаты приводятся в обратном переводе с французского по тексту Confino, 1973.

лезности в деле всеразрушительной практической революции». Иное чувство заменяет дружбу: солидарность. «В ней вся сила революционного дела». Дружба принадлежит уходящему миру, а солидарность — к тому, который его сокрушает. Дружба стремится к благу друга, солидарность — к благу революции. Солидарность, чувство более высокого уровня, нежели не имеющая собственной консистенции простая дружба, может войти в противоречие с последней: «Когда товарищ попадает в беду, решая вопрос спасти его или нет, революционер должен соображаться не с какими-нибудь личными чувствами, но только с пользой революционного дела. Поэтому он должен взвесить пользу, приносимую товарищем — с одной стороны, а с другой — трату революционных сил, потребных на его избавление, и на которую сторону перетянет, так и должен решить».

Солидарность, хотя и может облачаться в чувственные одежды, по сути своей интеллектуальна. Она покоится на соображениях доктрины, секретов мира, и на противоречии как таковом. У солидарных между собой революционеров нет того равенства, которое существует между друзьями. Партия организована иерархически, она и есть иерархия знания и подчинения. Низший для высшего — инструмент, которым он умело пользуется для наилучшего разрешения космического конфликта: «У каждого товарища должно быть под рукою несколько революционеров второго и третьего разрядов, то есть не совсем посвященных. На них он должен смотреть, как на часть общего революционного капитала, отданного в его распоряжение. Он должен экономически тратить свою часть капитала, стараясь всегда извлечь из него наибольшую пользу. На себя он смотрит, как на капитал, обреченный на трату для торжества революционного дела. Только как на такой капитал, которым он сам и один, без согласия всего товарищества вполне посвященных, распоряжаться не может».

Наряду с созидательной партийной иерархией и симметрично ей существует иерархия разрушения «поганого общества», разделенного на категории сообразно порядку уничтожения. «Первая категория — неотлагаемо осужденные на смерть. Да будет составлен товариществом список таких осужденных по порядку их относительной зловерности для успеха революционного дела».

Как не любовь определяет выбор товарищей, так и не ненависть определяет выбор врага. Эта ненависть может быть «частично полезной», способствуя пробуждению народного гнева, но приобщенный выше этого. Он руководствуется «степенью полезности этой смерти для революционного дела».

Ко второй категории относятся малопопулярные личности, временно пощаженные, поскольку своим существованием они толкают народ к возмущению. «К третьей категории принадлежит множество высокопос-

тавленных скотов или личностей, не отличающихся ни особенным умом и энергиею, но пользующихся по положению богатством, связями, влиянием и силою. Надо их эксплуатировать всевозможными манерами и путями; опутать их, сбить их с толку и, овладев, по возможности, их грязными тайнами, сделать их своими рабами». Затем «честолюбивые политики и либералы любой окраски». Под видом следования за ними, надо «прибрать их в руки, овладеть всеми их тайнами, скомпрометировать их донельзя, так чтоб возврат был для них невозможен, и их руками и мутить государство».

Потом идут «доктринеры» и прочие болтуны. Этим надо натаскивать и подталкивать на общественно-опасные заявления, что большинство из них приведет к гибели, но из «некоторых сформирует подлинных революционеров». Наконец, женщины. Слабая половина рода человеческого тоже подвергается расслоению. С одной стороны «пустые, бессмысленные, бездушные», они делят общую судьбу. Другие, добрые и преданные, часть которых «не доработалась еще до настоящего бесфразного и фактического революционного понимания», а часть к нему уже полностью приобщилась. Последние могут влиться в структуру общества.

Таков маленький семистраничный текст, написанный в 1869 году и представленный публике в 1871-ом, во время процесса одного из сподвижников Нечаева. В интеллектуальной истории России этот текст, с определенной точки зрения, вполне сравним с первым п и с ь м о м Чаадаева.

Чаадаевское письмо упало как метеор здравого смысла в спор, ложный во всех отношениях, между славянофилами, западниками и кадильщиками «официального национализма». Оно вызвало скандал среди всех участников спора, делавших вид, будто они отвечают друг другу, тогда как на самом деле они пытались ответить, не называя его по имени, как раз Чаадаеву.

«Катехизис революционера» с опасным простодушием точно выражал подспудный смысл идей, родившихся с Чернышевским и скрепивших первые террористические кружки, кружки Ишутина и Каракозова.

Кто был его автором? Нечаев или Бакунин? Нечаевское участие заключалось в провозглашении этого подспудного смысла общих идей. Бакунин, видимо, водил за него пером: литературная несостоятельность Нечаева делает такое предположение, по меньшей мере, вероятным. Бакунин привнес несколько личных ноток, которым молодые русские значения не придавали: старые гегельянские воспоминания, нигилизм, анархистская программа. Он же привнес восторг перед сумрачным романтизмом, черным байронизмом, придававшим делу демоническую ау-

ру, к которой старый эстет был гораздо чувствительней, чем пытавшиеся воспользоваться его почтенным покровительством молодые хамы. Лирический порыв всколыхнул изгнанника Женевского озера. Он подтолкнул его придать классическую литературную форму тому умонастроению, которое в России скорее спешило найти практический выход, нежели заниматься философским самоанализом. Однако сделав это, он подверг это умонастроение риску быть выставленным напоказ широкой публике.

II

Быстрее всех отреагировал Достоевский. С момента появления «Что делать?» он чувствовал, что на земле появилось нечто новое. В ответ он торопливо опубликовал «Человека из подполья», знаменующего новый этап в его творчестве. Революционные изменения пробудили в нем изменения артистические и философские.⁶ Вся серия его знаменитых романов — «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» (непосредственный отклик на дело Нечаева) и даже «Подросток» и «Братья Карамазовы» — образует все более и более глубокую медитацию о духе Чернышевского и Нечаева, о его происхождении и его последствиях в русской истории, о его метафизическом влиянии на судьбы мира. Из-за знаменательного несчастного случая явление, едва родившись, было узвано и понято во всех своих мельчайших деталях.

А такие западные историки, как Вентури и Конфино, еще упрекали Достоевского в неточности и несправедливости! «В мифологии, подменяющей историю, такие личности, как Бакунин, Нечаев и другие, были зачастую заменены архетипами, факты — психологической схематизацией, хронология — изложением принципов, история — литературой или метафизикой».⁷ Странный приговор! Есть смысл восстановить, что же, собственно, происходило. Такова уж природа самого явления, что оно предстает перед нами как нечто совершенно прозаическое и незначительное. Роман Чернышевского ровным счетом ничего не стоит. Нечаев — мелкий хулиган без прикрас, куда менее романтический, чем шиллеровские разбойники, перед которыми млел Бакунин, чем любой конокрад из русского фольклора. Но именно эта литература, этот человеческий тип вдохновит, как то предвидел Достоевский, будущее России. Единственный способ подступиться к этому феномену — это придать ему метафизическую размерность, уловить под невзрачной поверхностью пропасть несказанной глубины.

⁶ Besancon, 1974c.

⁷ Confino, 1973, Venturi, 1972.

Поначалу Достоевский представляет нам нового человека как нечто мелкое, бессодержательное, обреченное в романе на смешную роль статиста в стороне от главной сюжетной линии. Новый социальный тип русского интеллигента — это Лебезятников в «Преступлении и наказании», Докторенко и Келлер в «Идиоте», студенты в «Бесах», Ракитин в «Братьях Карамазовых». Но вот неожиданным скачком, не покидая своего отрешья, «смешной человек» оказывается в самом центре романа: Раскольников, Терентьев, Ставрогин, Иван Карамазов; главным в сюжете становится их появление на свет, их проклятие, их небытие. Это движение существовало уже в «Человеке из подполья». Теперь Достоевский соединяет сатиру нравов с пугающей метафизикой. Он смеется над пустотой «нового человека», потом, становясь серьезным, видит, как в сердце мира открывается пустота столь близкая, столь сиюминутная, что он пишет Великому князю-наследнику: «Бесы» — это почти историческое исследование». Действительно, с тех пор русское историческое сознание читает в его романах свою историю.

Достоевский бичует и революционную доктрину, и революционную тренировку, видя в них методику секты обезличивания, фундаментальную ошибку природы человеческой, сотканную из иррационального и основанную на свободе. Но это-то было легко заметить. Однако весь его гений понадобился для того, чтобы описать ошибку аскезы без Преображения, на которую обречен новый человек. Из клетки, в которой они были заперты, вылезают наружу подавленные порывы в облики самых отвратительных галлюцинаций. Достоевский первым увидел в революционном движении школу безумия. Кошмары Раскольникова и Терентьева, дьявол Ивана, самоубийство Свидригайлова и Ставрогина подчиняются точной психологической логике, которую Достоевский связывает с революционной современностью. Он проникает в тот уголок души, в котором новый человек считает себя победителем естественной *philia*. Безучастность, отрешенность, утилитарный расчет и горделивая независимость складываются, перекрывая друг друга, и Достоевский, начиная с «Человека из подполья», показывает полную подспудную зависимость нового человека от себе подобных. Он рассматривает эту зависимость с метафизической точки зрения: декларированный атеизм ведет к самому постыдному идолопоклонству. Шатов любит Ставрогина: «Разве я не буду целовать следы ваших ног, когда вы уйдете? Я не могу вас вырвать из моего сердца...» Петр Верховенский падает ему в ноги: «Ставрогин, вы красавец! Вы мой идол!.. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк...»

Достоевский анализирует это идолопоклонство и с психологической точки зрения, как постыдную гомосексуальность. По отношению к своему обидчику, которым он восхищается и к которому вожделеет, подполь-

ный герой колеблется между самой отчаянной ненавистью и надеждой на взаимную нежность, на любовную победу.⁸ Любовь женщины, образ другого для них недостижимы, и им легко запретить их самим себе, поскольку это ложное умерщвление предоставляет им замену в виде той любви к себе подобным, в которой они не могут признаться. А ведь Достоевский не читал писем Бакунина к Нечаеву, дышащих любовной горечью и мольбой о милостыне, как письма Вильда к Босию или Карлуса к Морелю: «Я глубоко любил вас, Нечаев, и люблю по-прежнему, я твердо, слишком твердо верил в вас... Как глубоко, как страстно, как нежно я любил и верил в вас! Вы сочли нужным убить во мне это доверие, и вам это удалось. Тем хуже для вас! Но как я мог подумать, что такой умный и преданный нашему делу человек, каким я вас по-прежнему считаю, несмотря на все случившееся, как я мог подумать, что вы могли столь бесстыдно и глупо лгать мне, мне, в чьей преданности вы не можете сомневаться»⁹.

Достоевский прозрел самые общие правила «культы личности».

Сквозь призму Достоевского и того, что он открыл, русское сознание рассматривало и осмысляло феномен идеологии. Но нужно добавить, что «достоевщина» и сама не лишена того же яда и потому не может служить противоядием.¹⁰

Достоевский полностью принимал наследие славянофилов. Он обуреваем той же ненавистью к Западу. Он считает новый революционный дух следствием заимствования скверных западных идей и запросто выводит Чернышевского и Нечаева из католицизма, либерализма и социализма, всех в равной степени ненавистных. Несчастья России не в ней самой, они привнесены извне, она не несет за них ответственности. Достоевский наследует и славянофильские христианские утопические мечты о мире добра такого доброго, что ему не нужны ни право, ни собственность, ни деньги, потому что в нем всем правит любовь. Наследует он и убежденность в том, что этот мир потенциально существует, существует даже в поступках в глубинах русской народной жизни, и достаточно его увидеть, чтобы в этом убедиться.

Эти истасканные темы у Достоевского подкреплены на редкость соблазнительной теологией. Её влияние на русскую мысль в конце века станет огромным. Повлияет она и на мировую мысль, где распространится наряду с коммунизмом, образуя его христианского двойника, явного противника и тайного сообщника.

⁸ R. Girard, 1961, 1963, A. Besancon, 1974c.

⁹ Цитируется по работе Confino, 1973.

¹⁰ Работы о Достоевском, как и о славянофилах, разбиваются на работы его явных сторонников, среди которых лучшим безусловно является С. Motchoulski (1963), и тех, кто судит о нем отстраненно (J. Drouilly, 1971, P. Pascal, 1969, 1970).

Разуму, свихнувшемуся из-за идеологии, Достоевский пытается противопоставить не исправленный разум, а, следуя опять же славянофильской традиции, иррационализм самый всеобщий. Он оставляет идеологам право представлять разум, довольствуясь сам богатством сердца, соскальзывая при этом в сладострастие переживаний и наслаждение сверхчувственностью. Как заметил Шестов, христианство Достоевского сродни христианству Кьеркегора¹¹. Вместе они могли бы составить две выросшие на разной почве ветви германского пиетизма. Особенностью христианства Достоевского, лишенного философской строгости, является то, что это не столько христианство, сколько христосство. Достоевский не уверен, что верит в Бога. Глашатай его мыслей, Шатов, заявляет, что верит в Россию, в православие, в Христа, но «верить в Бога?»¹² Его представление о Христе типично романтическое, нечто среднее между Христом Гегеля и Христом Ницше, и напоминает Христа Мишле¹³. «Если мне докажут, что Христос вне истины, я предпочел бы остаться с Христом, нежели с истиной».¹⁴ Что, вообще говоря, означало бы следовать за самозванцем. Оторванный от Отца, отделенный от истины Христос Достоевского оторван и от всемогущества. Это Христос идеала, потерянная и бессильная добрая душа, и князь Мышкин вполне подобная ему икона. Его сострадание множит вокруг него катастрофы, сострадание Тихона не мешает самоубийству Ставрогина, сострадание отца Зосимы — убийству Федора Карамазова. Окрашено гнозисом христианство Достоевского с манихейской независимостью, которую он приписывает злу, с осуждением любых устойчивых форм цивилизации, с этическим анархизмом и ангелизмом без мессии.¹⁵ Достоевский отказывается от греческой традиции, поскольку отказывается от космоса. Материальный мир плох, а плоть проклята. И от еврейской традиции тоже, поскольку не приемлет Закон и не верит ни в естественную организованность, ни в организованность по закону. Отказывается он и от христианской традиции, поскольку ему не хватает Воплощения, и его Христос более похож на божественную эманацию. Покосившееся христианство Достоевского пытается, однако, обрести равновесие, опершись на национальное мессианство. Запад проклят, но Россия — носительница будущего человечества, так что часть космоса будет таким образом спасена. Русский человек, несмотря на его недостатки, все же ближе к Богу, чем не-

¹¹ L. Chestov, 1972.

¹² Достоевский, «Бесы», часть вторая, I, 7.

¹³ K. Papaioannou, 1962, Besancon, 1972, 1975.

¹⁴ Достоевский, письмо к Наталье фон Визиной, 15 февраля 1854 г.

¹⁵ Искать прямое влияние нет необходимости. Однако об отношениях Достоевского и Сведенборга можно познакомиться у С. Milosz, 1975.

мец с его достоинствами или француз с его пороками. Этика вновь становится возможной, с русскостью в качестве критерия добра. Наконец, единственное воплощение Христа — это русский народ, «Русский Христос».

Мораль Достоевского склоняется к евангелизму. Богословие традиционно различает заповеди Ветхого Завета и советы Нового Завета. Первые обязательны, а вторые предназначены для тех, кто уже исполняет первые. У Достоевского же оказывается, что заповеди необязательны, но обязательны советы. Так, кража прощительна, но быть собственником запрещено категорически. Плотский грех внушает ужас, особенно в браке; напротив, воздержание обязательно, в обмен на снисходительность к насилию.

Силой своего гения Достоевский воскрешает пиетистскую тоску по свершившемуся царству благодати и освобождает человека *hic et nunc* от земных условий существования. Он являет собой пример морального маркионства (противопоставления двух Заветов), к которому русская церковь была склонна и из-за давних традиций, но гораздо сильнее — из-за совсем недавних влияний. В этом же источник, вместе с мессианством, антисемитизма Достоевского.¹⁶ Тем самым он поддерживает смешение между христианскими крайностями и крайностями коммунистическими, и после него это смешение никак не рассеется.

Тема дьявола не является спецификой Достоевского. Но и она завезена с Запада. Поколение Пушкина и Лермонтова размышляло о Мильтоне, Байроне и Гете. Однако у Достоевского дьявол не просто выражение титанизма, каким он был во Франции, Англии, Германии. Это вполне богословский дьявол, отнюдь не сверхчеловек, а ангел. Здесь открывается возможность осветить две темы, показательные для христианства Достоевского.

Во-первых, тема смирения. Верх смирения — считать самого себя источником собственной греховности. Грешить не потому, что поддался искушению, а потому что греховен в сути своей. Так считает Ставрогин в своей исповеди Тихону.

Во-вторых, тема милосердия. Милосердней тот, кто предпочтет спасение человечества и, в конечном счете, мира своему собственному спасению. Так поступает Иван Карамазов.

Однако быть для самого себя причиной собственного греха — не человеческая черта, а дьявольская, то есть черта ангела, падшего, конечно, но все-таки ангела. Так называемое смирение превращает в зверя, чтобы затем сотворить ангела, удовлетворив тем самым преступную гордыню. Этим можно объяснить, почему в литературной традиции Достоевского (следы ее

¹⁶Через мессианство русский народ начинает конкурировать с народом Израиля, см.: Goldstein, 1976.

обнаруживаются у Солженицына и Максимова) Россия легко и охотно сравнивается с адом. У ада перед нашей простой грешной землей есть то преимущество, что он еще и ангельское место. Что же до акта милосердия, то он состоит в том, чтобы рассчитывать не столько на личное спасение, обещанное христианством, сколько на апокатастаз, *restitutio ad integrum* (восстановление в целостности) теософских спекуляций, который включает спасение демонов и уничтожение Зла. Иван Карамазов предпочитает апокатастаз спасению, и в этом он еще раз ангелоподобен.

Эти соображения могут показаться странными. Тем не менее они освещают некоторые важные аспекты политической позиции Достоевского. Во-первых, он открыто рассматривал революционную тему через призму темы сатанинской. Революционеры заполняют Россию и толкают ее в пропасть, как в Евангелии от Марка изгнанные Христом бесы вошли в свиней в стране Гадаринской. Любое произведение Достоевского, начиная с «Человека из подполья», может быть истолковано как попытка экзорсизма, отчаянное «Изыди Сатана!»

При всем при этом столь ненавидимый сатанизм тайно предпочитается миру реальному. В самом деле, Достоевский не лишен некоторого восхищения перед этими молодыми людьми, они, по крайней мере, русские. Крайности во зле, как и в добре, — не русская ли это черта? Эта ярость в насилии, позволяющая предвидеть революцию, не предпочтительней ли она, несмотря ни на что, этого в любом случае проклятого Запада?

В глазах Достоевского практический реализм Запада предосудительней теоретического материализма революционеров, поскольку первый выражает благополучие созданного, что Достоевский считает абсолютно нестерпимым.

Из этого следует, что «достоевщина» коварным образом толкает к революции, которую она одновременно громогласно проклинает, толкает, поскольку через революцию осуществится разрушение сего мира и приблизится апокатастаз. С этой точки зрения революционеры плохи не тем, что готовят революцию, а тем, что не понимают, чем заняты, а возможно и тем, что толкают Россию к революции не столь решительно, как следовало бы. Достоевский начинает вновь симпатизировать социализму в последние годы своей жизни. Мережковский, Гиппиус, Философов будут восторгаться *глубиной* революции, которую суетный и поверхностный Запад постигнуть не способен. Блок войдет в состав комиссий ВЧК. Бердяев незадолго до смерти придет к патристическому восторгу перед Сталиным.

В конце века наследником идей Достоевского станет символизм. Он возвращается, минуя сиентизм народников и материализм, к романтическим спекуляциям, вскормившим первое русское поколение. К Баадеру и

Бозму он добавляет, увы, философию Штейнера. С другой стороны, он пытается придумать новую религию, которой мог бы стать большевизм, добавить бы к нему только душу: это движение Богоискателей. Одновременно несколько большевиков возмечтают о новой религии, дополняющей марксизм, — это движение Богостроителей. В их встречах, ни к чему, впрочем, не приведших, подводится несколько комический итог интеллектуальной истории страны, той ее части, которая разделилась в юности Герцена и пытается соединиться накануне революции¹⁷.

NB. Рассматривая идеологию в рамках религиозного кризиса, естественно было обратиться в первую очередь к судьбе христианства в России. Тем не менее не следует забывать о значительном числе евреев, присоединившихся в этой стране к революционному движению, так что у русского народа создавалось впечатление, что если раньше он жил под господством немцев, то теперь живет под господством евреев. Для объяснения этого явления упоминают обычно национальный характер евреев и противодействие антисемитизму. Этого мало для объяснения столь часто упоминаемого в мемуарах перехода от самого набожного иудаизма к самой строгой идеологии, требующей отказа от принадлежности к евреям, а то и практического антисемитизма.

Небезынтересно узнать, не было ли у европейского кризиса христианства аналога в еврействе. Я не подготовлен к такому исследованию. Тем не менее при чтении Шолема мне показалось, что исключать возможность такой параллельной истории нельзя. В этом случае ее главные вехи таковы: 1. Распространение Каббалы. 2. Суббатический кризис и его последствия (похоже, что все вероисповедания — католицизм, протестантизм, русское православие и даже иудаизм — переживают крушение равновесия). 3. Расцвет хасидизма с его чувственными и спекулятивными аспектами, сравнимыми с современным германским пиетизмом. 4. Ослабление правоверного талмудического иудаизма вследствие раздела Польши. 5. Условия, в которых под русским господством осуществлялась секуляризация и культурная эмансипация еврейской молодежи.

¹⁷ Действительно, в конце века из-за смещения влево славянофильских тем возникнет прогрессивное христианство, на этот раз не утратившее религиозного пыла. Оно охватывает и клир, готовя то, что после революции станет «Живой церковью», расколом, к которому подстрекало большевистское правительство. Во Франции смещение влево течения, связанного с именем Моррасса, сначала светского, затем клерикального, породит в эпоху Народного фронта прогрессивное христианство, идеи которого сближаются с тем, что происходило в России. См.: J. Scherrer, 1973, 1976, 1977.

ЭСКИЗ ПАРТИИ

«Чаадаевское» признание «*Катехизиса революционера*» поставило русское революционное движение в затруднительное положение.

Нечаевщина была чистым действием, без какой-либо программы. Нечаев отвергал все книги. Он писал, что мысль, способная служить народной революции, вырабатывается только в революционном действии и должна являться результатом многочисленных практических опытов и проб, направленных неизменно и с помощью всех средств к единственной цели — разрушению.¹

Кульм действия приводил, в конечном счете, к теории бесполезности теории. Мы не позволим, утверждал Нечаев, соблазнить нас ни одной из тех революционных фраз, которыми столь злоупотребляют ныне доктринеры — поборники революции на бумаге. Мы потеряли всякую веру в слово; слова для нас важны только в одном случае, когда непосредственно за ними мы ощущаем или видим действие.²

Но это никого не устраивало.

Русское революционное движение оказалось перед дилеммой. Либо революция отождествляет себя со справедливостью, и тогда она не признает себя в нечаевщине, от которой подозрительно пахло грязной уголовщиной. Либо, вдохновляемая гностической надеждой, революция должна была создать новую землю и новые небеса; тогда нравственность порывала с общим благом и сосредотачивалась на благе, определенном доктриной; но для этого необходимо было еще, чтобы это благо было описано, чтобы существовала доктрина и определенный позитивный опыт. За отсутствием этого террористический акт представлялся если не преступным, то по меньшей мере бессмысленным, абсурдным и опасным для дела революции. Необходимо было, следовательно, либо рассуждать о нравственности, либо, ради улучшения системы, вновь обратиться к позитивизму; революционное движение исследовало один за другим оба эти пути.

¹ M. Confino. 1973, стр. 68.

² Там же.

«Исторические письма» Лаврова публиковались с продолжением в 1868 и 1869 годах. Они пользовались огромным успехом у молодежи, размышляющей о смысле жизни. «Эту книгу оросили слезы нашего восторга перед идеалом... Она пробудила в нас безмерную жажду жить и умереть во имя благородных идей».³

Этой своей славой Лавров целиком обязан четвертой главе «Исторических писем» под названием «Цена прогресса».⁴ Один из его учеников дает нам возможность понять причину этого всеобщего энтузиазма: «Чтение этого труда убедило его в том, что при современной организации общества члены общества из-за своего происхождения или любого другого независимого от воли индивидуума обстоятельства неотвратимо разделились на две неравные группы: одна, самая малочисленная, находится в привилегированном положении и, в отличие от другой, в состоянии пользоваться всеми благами жизни; вторая, составляющая подавляющее большинство, обречена на вечную нищету и тяжкий труд, превышающий человеческие возможности. Миртов (псевдоним Лаврова) красноречиво показал безмерность того неоплатного долга, который тягощает совесть привилегированной группы перед лицом тружеников поколения нынешнего и прошлого: он был потрясен».⁵ Главное сказано. Человечество заплатило слишком дорого за то, чтобы несколько мыслителей в тиши своих кабинетов могли разглагольствовать о его прогрессе. «Я сниму с себя ответственность за кровавую цену своего развития, если употреблено это самое развитие на то, чтобы уменьшить зло в настоящем и будущем».⁶ Лавров играет на чувстве вины привилегированного. Источник, питающий это чувство, не имеет никакого отношения к привилегии. Но когда молодой человек, ощущающий свою вину, является в то же время привилегированным, то он, естественно, стремится переложить на привилегию все бремя своей вины. Это можно рассматривать как психологический механизм (в данном случае как «рационализацию»). Результатом станет «сверхдетерминирование» политической позиции совокупностью туманных психологических сил и придание ей гораздо большей основательности и убедительности, нежели того заслуживает присущее ей политическое значение.

Необходимо, следовательно, платить свои долги. Мы далеки от утилитарного расчета и бесстрастной революции. Лавров отвергает в целом

³ E. Venturi. 1972, стр. 759.

⁴ П.Л. Лавров. Исторические письма. 1868–1869. — П.Л. Лавров. Философия и социология. Избранные произведения в двух томах. М., 1965, т. 2, стр. 75–87.

⁵ Кулябо-Корецкий. Из давних лет, стр. 24, цит.: F. Venturi. Цит. соч., стр. 760.

⁶ П.Л. Лавров. Исторические письма. 1868–1869. — Там же, т. 2, стр. 86.

законы истории и объективного развития. Выступая против такого «объективизма», он становится защитником «субъективизма». Это могло представляться как возрождение старого спора. В тридцатых и сороковых годах Бакунин, а затем Белинский также прошли путь от гегелевской рассудочной любви к «реальности» до шиллеровского бунта, который они, однако, осуждали прежде. Демарш Лаврова весомее, и характер размышлений основательней. Он старается отвергнуть пункт за пунктом немолимый и аморальный детерминизм «материалистских» революционных кружков. Он полагает, что нравственные ценности не могут быть ни устранены, ни научным образом выведены, что протест против страдания не зависит от «объективных условий». Впрочем, объективных условий не существует: знание в этой области покоится на неосознанных переживаниях или, вернее, на сознательно выбранных «идеалах». «Субъективный фактор», носителем которого являются «развитые» люди, может вполне противодействовать так называемым законам истории и изменять ход событий. В массе фактов и событий он отбирает то, «что важно и значительно». Понимание истории зависит, стало быть, от этического идеала. «Понимать историю — значит понимать ясно способы осуществления нашего нравственного идеала в исторической обстановке».⁷ Этот идеал Лавров определяет как «развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении; воплощение в общественных формах истины и справедливости».⁸ Что делать? Этот вопрос ставится перед «критически мыслящими личностями». Они преобразуют мир постепенно, заменяя религию наукой, а обычай — разумным сводом законов. Народники семидесятых годов сознают себя такими личностями.

«Исторические письма» были, вне всякого сомнения, революционны. Мало книг привлекут столько людей к активной политической борьбе. Но в то же время они обращены к антиидеологическому полюсу движения. В «Исторических письмах» мало утопии. Лавров отказывается даже опереться на славянофильский и герценовский миф крестьянской общины. Главный аргумент — это констатация несправедливости. Общество, особенно русское, несправедливо в имущественном отношении, поскольку распределение между теми, кто пользуется благами прогресса, и другими классами неравное. Оно несправедливо и социально, потому что в обмен на полученные блага развитые личности не платят часть того, что им выпало на долю. Лавров — революционер, но он сторонник революции классического типа, имеющей своей целью восстановление давно уте-

⁷ Там же, стр. 291.

⁸ Там же, стр. 54.

рянного равновесия и раздел богатств сообразно принципу равенства. Этот элемент естественного права, предшествовавшего идеологии и более фундаментального, чем она, остался неизменным и у народников, и даже у русской социал-демократии. Затем он наполнился идеологией.

Лавров прибыл в Париж за год до Коммуны. Он был тогда одновременно «апостолом Революции», по выражению некоего русского либерала (Штакеншнейдера), и «типичным либералом», по свидетельству другого русского (Сажина), друга Нечаева. Но там этот новоявленный Герцен нового народничества, став очевидцем Коммуны, испытал то же потрясение, что и его старший собрат от революции 1848 года, и это потрясение имело те же последствия. Запад вызвал у него отвращение. Он опасается либеральных ростков, которые тот носил в себе. «*Парижская Коммуна, — писал он, — это великое событие в истории человечества: «неизвестные люди» из народа (рабочие) осуществили первый опыт создания государства нового типа, взяв за образец федерацию самоуправляющихся свободных коммун*». А это уже от Маркса: его схема Парижской коммуны предшествовала ее опыту. Лавров, издававший в Лондоне и Цюрихе толстые выпуски журнала «*Вперед!*» в период 1873–1876 годов, отличался от Лаврова «*Исторических писем*». Не было другого вопроса, кроме полного возрождения общества благодаря грядущей революции. Наука должна прийти на смену религии. Свобода — это средство, а счастье — это цель. В 1876 году Лавров определяет свою программу, и радикальней программы не придумаешь. Надо национализировать прессу, закрыть все школы. Буржуазный мир (хотя он и судил о нем после пребывания в Швейцарии) представлялся ему хаосом. В России, где шансы революции, одновременно социальной и политической, вырисовываются все более явственно, не следует ни в коем случае идти на союз с либеральными течениями. Россия не будет парламентской. Роль интеллигенции состоит в том, чтобы выделить революционную фалангу, которая подготовит и будет вести пропаганду среди живых сил народа. В это время Лавров сближается с Ткачевым. В 1917 году он был бы максималистом или левым эсером. Он открыл бы дорогу большевикам. Тем не менее, при самой крайней своей революционности Лавров, несомненно, сохранил бы этическую позицию. Он подвергся влиянию идеологии, но не до такой степени, чтобы она вытеснила неисправимую суть его характера.⁹

Пример Михайловского мало отличается от примера Лаврова. Этот публицист достиг своего наибольшего успеха несколько позже и пользовался довольно значительным влиянием до 1890 года. Он был в Рос-

сии популяризатором идей Геккеля и, особенно, Спенсера, который выдвинулся в последние годы на авансцену интеллектуальной жизни с целым рядом новых сильных идей: эволюции, социального дарвинизма, позитивистского сциентизма, и все это в контексте торжествующего капитализма.¹⁰

В своей знаменитой статье «*Что такое прогресс?*» (1869 г.) Михайловский отправляется, как и Спенсер, от некоего «закона Бэра»: развитие в органическом мире идет от простого к сложному, от бессвязной гомогенности к связной гетерогенности. Отсюда своего рода закон трех состояний. Сначала человечество познало индивидуализм без социальной кооперации (это прошлое), затем (в наши дни) — социальную дифференциацию и отчуждение личности во множестве сфер автономной деятельности и, наконец, (в будущем) — эпоху *субъективного антропоцентризма*. Эта последняя характеризуется сознательным возвратом к индивидуальности, личности, но в рамках социальной кооперации, полностью принятой и желаемой. В этом вновь обретенном общественном органичном единстве личность сможет быть поочередно крестьянином, художником и ученым в зависимости от потребностей и дарований.

Эта точка зрения обладала тем преимуществом, что давала некое научное подтверждение старым славянофильским темам. В самом деле, крестьянская община могла быть весьма низкой по «уровню развития» для западного общества, но она была высокой по «типу развития», поскольку допускала органичный обмен между людьми и поскольку было бы достаточно одного обновляющего толчка, чтобы она превратилась в показательный образец эпохи *субъективного антропоцентризма*. Это было одной из причин успеха Михайловского.

В серии статей, написанных в 1875–1876 годы («*Борьба за индивидуальность*»), Михайловский констатирует утрату веры в «формальные» гарантии свободы и ностальгию по средневековым формам общественной жизни. В самом деле, в Средние века человеческие отношения не были опосредованными. Человек непосредственно соотносился с себе подобным. Капитализм после жестокостей первоначального накопления не освобождает индивидуальность. Не надо допускать его в России. Рабочий вопрос в России — вопрос консервативный, поскольку решение состоит попросту в сохранении средств производства в руках производителей. Михайловский писал тогда под влиянием первой книги «Капитала». Узнав непомерную цену капитализма, он отказывался ее платить. Михай-

⁹ М. Карпович. 1963, стр. 21–38.

¹⁰ А. Walicki. 1969, стр. 76–80. См. также: Иванов-Разумник. История русской общественной мысли. Санкт-Петербург, 1908, т. 2, стр. 135–206.

ловский размышлял не только о Марксе, но и о Толстом. Как и он, Толстой отвергал неумолимость законов истории, отводя господствующую роль «этической точке зрения». Для него уровень развития также значил меньше, чем гармония этого развития, которая может иметь гораздо большее значение для крестьянина, чем для терзающегося интеллигента. То, что Толстой открыл в свете религии, то Михайловский обнаружил в точности науки. Но у Ленина были все основания приписывать это романтизму и квалифицировать как реакционное, в «историко-философском» смысле слова, поскольку Михайловский пытался «мерить новое общество на старый патриархальный аршин и искал образец в старом порядке и традициях, совершенно неприспособленных к изменению в экономических условиях». Стремление сохранить перед лицом нового, наступающего мира измерительный инструмент, заимствованный из старого мира, и тем самым внушить мысль о существовании незыблемого эталона ценностей, поставило Михайловского вне игры.

Кроме того, Михайловский открыл смущающие импликации органицизма. Дарвинизм предстал ему в пессимистическом свете. Эволюция ведет нас к худшему, а не к лучшему. Если, как уверяет Геккель, совершенство целого влечет за собой несовершенство отдельных частей, то общество — естественный враг человека. «Я заявляю, что буду бороться против этой высшей индивидуальности (общества), которая таит опасность поглотить меня. Ее совершенство мне безразлично. Совершенствовать я хочу самого себя». Развитой капитализм предлагает совершенный образец этого органического общества. Но Михайловский не желает его, он предпочитает менее органическое общество, основанное на «простом взаимодействии», «простой кооперации», сознательно принятой. Он восстает тогда не только против Маркса, но против Дюркгейма. В конце своей жизни он возвращается, не вполне сознавая это, к первоначальному немецкому романтизму. Любовь, заявляет он, это тоска по первоначальному единству. Разделение человечества на два пола, наподобие всякого разделения, а особенно разделения труда, лишает человека цельности, в которой и состоит совершенство. Миф «Пира», утверждает он, дорог нам по двум причинам: «во-первых, он ясно показывает преимущество гермафродитизма перед половым диморфизмом; во-вторых, он демонстрирует, что половая любовь является своего рода болезнью». Михайловский легко поворачивает течение русской интеллектуальной истории вспять, к Шеллингу и Баадеру.

Сциентизм для Михайловского был не более чем модное одеяние той эпохи. Когда интеллектуальная мода изменилась и европейское сознание 90-х годов XIX века стало ориентироваться на спиритуализм, неонидеа-

лизм и иррационализм, идеи Михайловского вполне сочетались с этой новой ориентацией. Это не значит, что он перестал быть «прогрессистом», либо революционером. Но он был им по «наивным» причинам.

Лавров и Михайловский придумали этические основания для присоединения к революционному движению. Взывали ли они к чувству вины, подобно Лаврову, или опирались на туманные соображения сциентизма подобно Михайловскому, оба они отталкивались от традиционного сознания справедливого и несправедливого. Русское общество было в достаточной мере христианским, чтобы сохранить это сознание, и достаточно несправедливым, согласно представлениям XIX века, чтобы в этом сознании преобладало чувство вины. Именно благодаря Лаврову и Михайловскому молодые русские люди вступают в революцию, поскольку революция есть благо. Но они остаются в ней не из-за Лаврова и Михайловского, поскольку революционное благо не то благо, ради которого они стали революционерами. Нужно было, чтобы они усвоили новые побудительные мотивы, суть которых не этическая, а теоретическая. Начав с нулевой точки нечаевского нигилизма, они поднимаются, таким образом, от этической стадии революции к идеологической, чтобы неминуемо встретиться с марксизмом.

II

Маркс неприязненно относился к России, но эта страна познакомилась с «Капиталом» гораздо раньше, чем те страны, для которых и о которых он был написан.¹¹ Первая книга «Капитала» была переведена в 1872 году, через коротких пять лет после ее публикации на немецком и за пятнадцать лет до того, как ее соизволили перевести англичане. Русский перевод был начат Германом Лопатиным, прославившимся попыткой освободить Чернышевского из его сибирской ссылки, и продолжен Даниэльсоном, объявившим себя убежденным марксистом. Террорист Кравчинский написал повесть, чтобы познакомить рабочих в романтической форме с теорией прибавочной стоимости. Ткачев с 1865 года считал себя учеником Карла Маркса, идеи которого «стали почти общим достоянием всех мыслящих и порядочных людей».¹² Михайловский ориентировался на Маркса, хотя затем отвернулся от него. Лавров, после того, как покинул Россию, познакомился с Марксом и дополнил свои статьи в журнале «Вперед!» соображениями об «объективных законах развития». В письме к Марксу от 25 октября 1880 года Исполнительный комитет

¹¹ А. Walicki. Цит. соч., сар. III, стр. 132.

¹² Б. Козьмин. П.Н. Ткачев и революционные движения 1860-х годов. М., 1922, стр. 55.

«Народной воли» сообщал ему, что «Капитал» в течение долгого времени был для русской демократически настроенной интеллигенции повседневным руководством. Это была такая же ложь, как та призрачная организация, которой Нечаев похвалялся перед Бакуниным, но как в первом, так и во втором случае речь шла о призрачных видениях весьма знаменательных. Сам Бакунин очень высоко оценивал теоретические опусы своего великого соперника, принимал в принципе исторический материализм и предложил Марксу перевести «Капитал» на русский язык.

Факт тем более странный, что все — Маркс, революционеры и русское правительство — полагали, что никакого капитализма в России нет. Цензор, разрешивший к публикации «Капитал», некий Скуратов, полагал, что этот труд направлен исключительно против общественного порядка в странах Запада и что у общественного порядка в России совесть на этот счет спокойна, поскольку он никогда не признавал принципов свободы предпринимательства и «заботливо охранял благосостояние тружеников». Воображаемая граница, проведенная славянофилами между Россией и Западом, послужила для этого безвестного цензора поводом открыть реальную границу для этой квинтэссенции всех «западных отрав», настолько он был убежден, что русская земля не воспримет по природе своей эту заразу.

Что касается вопроса возникновения капитализма в России, то необходимо остерегаться дихотомии «феодализма» и «капитализма», которая имеет смысл лишь внутри догматического марксизма. В XIX веке понятие капитализма не было строго выдержано в духе терминологии «Капитала». Оно допускало более широкие и более расплывчатые толкования, всецело связанные с западной современностью. Капитализм был одним из слов, служивших XIX веку для обозначения самого себя.

На этом основании Россия, если только она является участницей этой современности, а она прилагает к этому все усилия уже несколько веков, тоже участница «капитализма». Государство толкало ее на этот путь и в то же время мешало ей. Но у него не было системы, которую можно было бы противопоставить капитализму, который тоже в систему не укладывался. Столь грубое вмешательство российского государства объясняется необходимостью выполнять военные и имперские задачи в трудных условиях бедной и невежественной страны. Государство подменяет гражданское общество, но не из принципа, а в силу необходимости, выдавая затем, но только затем, нужду за добродетель. Во второй половине XIX века оно само настаивает на модернизации и на соревновании в новаторских начинаниях между представителями административной машины и частными лицами. Вмешательство слишком стеснительное рассматрива-

лось им самим как крайнее средство. По своему умонастроению и своим перспективам Россия была в этот момент близка Европе как никогда прежде. Конечно, оставались огромные просторы, которые современность обошла стороной. Бюрократический аппарат не соответствовал ей не своими суждениями, вполне современными, но самим своим существованием. Тем не менее между Европой Западной и Европой Восточной существовал континуум, неразрывность, о чем свидетельствуют все путешественники, будь то русские на Западе или французы и англичане в России. Итак, под словом «капитализм» во второй половине века понимался весь мир, как он был устроен и каким он должен был стать.

Часть русской интеллигенции всегда полностью отвергала этот мир. Славянофильская традиция проводила существенное различие между Россией и Европой. Она навязывала географическую дихотомию добра и зла, удвоенную историческим планом, где добро — это прошлое России, а зло — настоящее Европы. Но часть государства извлекает пользу и из этого противопоставления. Действительно, в силу своей природы оно осуждено оказаться сторонним наблюдателем в своем деле обновления. По мере достижения успеха европеизированная Россия не сегодня, так завтра, отбросит этот механизм, созданный по неевропейской модели для того, чтобы ее европеизировать. Единственным настоящим рубежом между Россией и Европой была форма ее государства. Поэтому многие ее чиновники склонялись к мысли, что следует радоваться различию и придать границе метафизическую основательность. Государство использовало славянофилов, а они уповали на него. Но когда оппозиция была перенесена на мирскую почву, народники позволили взывать подобным образом к государству. Герцен и молодой Чернышевский требовали от Александра II стать Петром Великим, чтобы осуществить их утопию. Со своей стороны государство, облекавшее прежде свою политическую антипатию к европейскому миру в религиозные одежды, оказавшись перед оппозицией народников, сумело придать ей экономическую окраску. Оно защищало Россию от капитализма, вот почему оно позволило продемонстрировать все его ужасы, разрешив к публикации великое сочинение д-ра Маркса.

А. Валицкий отмечает, что марксизм не только повлиял на народничество, но стал его главным справочным пособием.¹³ Дело в том, что марксизм позволил революционерам, отвергавшим существующую действительность, осознать ее в комплексе, как единое целое. «Капитал» учил их распознавать своего врага номер один и воспринимать его как

¹³ А. Walicki. Цит. соч., стр. 132.

концептуальное понятие, как единый организм. Они сохранили привычку славянофилов искать источник зла, поразившего Россию, на Западе. Они сохранили тот же образ мышления: выводить это зло из единого начала, на этот раз из политэкономии, а не из теологии. *Капитализмом* заменили *филюкве*. Существует, однако, несоответствие между двумя предсказаниями катастрофы, которую славянофилы выводят из *филюкве*, а Маркс — отправляясь от «Капитала».

Первое — *филюкве* — абстрактно, расплывчато, второе — конкретно, подкрепляется самим развитием действительности. Одно бессильно, второе обладает несравненным динамизмом. Такова еще одна причина, толкнувшая русских преждевременно к марксизму: плохой мир, такой, как он изображен марксизмом, предстает как непрерывное состязание. Он придает таким образом революционному действию срочный характер. Действовать надобно сейчас, иначе «капитализм» неминуем. Наконец, марксизм давал поколениям безбожников гарантию достоверности, равноценную той, которую верующее поколение находило в самой возвышенной из догм: он был научным.

Усвоение марксизма средой, столь далекой от той, в которой он зародился, могло привести лишь к отклонению в неизвестном для его основателя направлении. В своих русских учениках Маркс открыл первых «марксистов», и напрасно он предупреждал их, что сам он не марксист. В их руках «Капитал» становился систематикой зла. Отныне они знали, против чего, иначе говоря, почему они борются. Они освободились от нигилизма. Но марксизм давал им в руки гораздо более мощное теоретическое оружие, нежели примитивный материализм Чернышевского. Их обращение в марксизм было сначала интеллектуальным, прежде чем стать обращением политическим. В самом деле, используя марксистские доводы, они поддержали программу, противоположную программе Интернационала. Они абсолютизировали марксову критику «отрицательных аспектов» капитализма и буржуазной демократии. Они не были готовы принять тезис, согласно которому капитализм при всех его жестокостях был тем не менее величайшим прогрессом в истории человечества. Валицкий отмечает, что их видение капитализма было в основном не марксистским, поскольку они рассматривали его как процесс по существу регрессивный, но при этом они использовали аргументы и язык, заимствованные у Маркса.¹⁴ Старый манихейский образ мышления претерпел самую мощную рационализацию.

¹⁴ Там же, стр. 137.

III

В лице Ткачева идеи Чернышевского впервые соединились с идеями марксизма. Ткачев принадлежал к тому же поколению, что и Нечаев. Еще в годы студенчества он читал журнал «Современник» Чернышевского. Схватенный во время студенческих волнений, он и еще несколько сотен его товарищей были брошены осенью 1861 года в тюрьму. Ему было всего семнадцать лет. В следующие годы Ткачев часто оказывается в заключении. Именно тогда он высказал свое знаменитое предложение, согласно которому для обновления России необходимо, ни много ни мало, как уничтожить всех людей старше двадцати пяти лет.¹⁵

К этому времени у него уже была своя программа, которая не претерпит в дальнейшем особых изменений. Одним словом, это — «*фактическое равноправие*». Не следует смешивать его с политическим равенством или равенством перед законом, ни даже с экономическим, поскольку это равенство «*органическое, физиологическое, обусловленное одним и тем же воспитанием и общностью условий существования*». Стало быть, Ткачев проповедовал старомодный традиционный утопический коммунизм.

*«Задача разрешится, принцип станет осуществимым, когда все люди сделаются безусловно равными, когда между ними не будет существовать никакого различия ни в умственном, ни в нравственном, ни в физическом отношении».*¹⁶

Этот уравнилельный коммунизм — не только экономическое решение. Он является конечной и единственно возможной целью человеческого общества и в то же время высшим критерием исторического и социального прогресса. Верный ученик Чернышевского и Нечаева, Ткачев отождествлял закон истории и нравственный закон: «*Все то, что могло приблизить общество к этой цели, было прогрессивно, все то, что отдаляло его от нее, регрессивно*».¹⁷ Назначение интеллектуальной элиты, считает Ткачев, «*находить в самой себе, в своем знании и в интеллектуальных условиях, среди которых она живет и действует*», главную точку опоры, чтобы низвергнуть существую-

¹⁵ Б.П. Козьмин. П.Н. Ткачев и революционное движение 1860-х годов. М., 1922, стр. 19. Монография Козьмина остается важнейшей работой. См. также: Б.П. Козьмин. «П.Н. Ткачев». — «Из истории революционной мысли в России». М., 1961 г. В последнем случае речь идет о предисловии к «Избранным сочинениям» Ткачева, изданным Козьминым в 1932–1933 гг.

¹⁶ П.Н. Ткачев. Избранные сочинения, т. I, 1932, стр. 427.

¹⁷ Там же, т. II, стр. 205.

щую власть. Ткачев не разделял идеализации народа славянофилами и народниками.

*«Идеализация нецивилизованной толпы, — писал он в 1868 году по поводу крестьянских романов Решетникова, — это одна из опаснейших и наиболее распространенных иллюзий».*¹⁸ Народные массы не способны сами освободиться и даже не хотят этого. Они не знают. Те, кто знает, это *«люди будущего»*. Он набрасывает в 1868 году портрет одного из них, напоминающий во всех отношениях героя Чернышевского. Человек будущего избегает романтических манер. *«Ни аскет, ни эгоист, ни герой»*, он похож на обычного человека с обычными устремлениями, что уже отмечалось в *«Что делать?»*. Но важно не чувство, важна идея: *«вся их деятельность, даже весь образ их жизни определяется одним желанием, одною страстною идеей»*. Подчинение всех устремлений личности одной идее обеспечивает ее цельность. «Реалист», знающий и овладевающий реальностью, стоит в стороне от конфликта, он мирный, безмятежный, сдержанный, благоразумный. Со стороны он напоминает буржуа. *«Осуществление этой идеи становится единственною задачею их деятельности, потому что эта идея совершенно сливается с понятием о их личном счастье».*¹⁹ Все подчинено этой идее, все приносится ей в жертву, если только следует говорить в данном случае о жертве. Ложь оправдана, если она способствует торжеству самого высокого нравственного принципа, который является программой (и одновременно законом истории), только что вкратце изложенной. Итак, Ткачев сохранил в неприкосновенности революционный идеал шестидесятых годов: готовую абсолютную идею. Люди будущего знают ее и способствуют ее воплощению.

И однако, в 1865 году Ткачев перевел отрывок из «К критике политической экономии», упомянув впервые в русской прессе имя Маркса, и добавил, что не существует ни одного умного или порядочного человека, который смог бы найти против этого учения хотя бы какое-нибудь серьезное возражение. Что означал для него марксизм? Если судить об этом по его сочинениям, то он заимствовал из него весьма примитивный экономический материализм. Он написал эссе по истории рационализма: современная мысль — это продукт капитализма, а рационализм — следствие господства буржуазии. Религиозная реформа в Германии в XVI веке была также выражением интересов буржуазии. Каждый раз, как он пробовал свои силы в марксизме, он быстро возвращался к утилитаризму и

обобщенному материализму своего учителя Чернышевского. Это неважно. Что важно в *«марксизме»*, по мнению Ткачева, так это *его огромное практическое значение*. Экономический материализм способен сконцентрировать энергию и активность тех, кто искренне предан общественному делу. Он побуждает к прямым практическим действиям. В самом деле, марксизм придает идее высшую цельность. *«Но чем абстрактнее идеал, — пишет он по поводу французских коммунистов, — тем он логичнее, потому что, строя его, человек ничем другим не руководствуется, кроме законов чистой логики; в нем не может быть ни противоречий, ни иллюзий; все здесь выводится из одной идеи, все стройно, все гармонично».*²⁰ Ткачев кажется одним из тех революционеров, для которых важно не столько быть, сколько слыть марксистом; не столько постичь сокровенные идеи теории, сколько обеспечить защиту своего замысла марксистской теорией, навесив на него этикетки престижной доктрины, которая еще до того, как ее испытали, слыла заслуживающей доверия, всеобщей и научной. Однако, это не совсем так. Ткачев весьма разумно использовал марксизм, хотя обычно утверждают обратное. У него была репутация якобинца, поклонника идей Буонарроти, и он, несомненно, поддерживал связи с парижскими бланкистами. Однако его образ мыслей целиком сформировался в России. Его коммунизм террористического толка якобинский лишь из-за частых ссылок на Робеспьера и Марата, привычных для России, из-за его контактов в эмиграции. Он не был, конечно, учеником Маркса ни в своих политических перспективах, ни в своей схеме революции. Но его анализ ситуации в России с точки зрения возможности в ней революции был совершенно марксистским и с полным правом мог сойти за творческую обработку идей Маркса.

Маркс дал ему, наряду со сравнительным видением русского общества и западных обществ, расписание революционного действия. Тот факт, что в России не было буржуазии, да к тому же не было и пролетариата в марксистском понимании, ничего не значит, это аргумент не против, а в пользу возможности революции. Россия с некоторым запозданием оказалась в векторе европейской истории, которая вершилась в соответствии с тем, что было намечено в «Капитале»: *«Как бы медленно и едва заметно это не происходило, — писал Ткачев, — Россия также продвигается по пути экономического развития, и эта эволюция подчинена тем же законам, совершается в тех же направлениях, что и в Западных государствах... Таким образом, у нас уже существуют в данный момент все условия для образования, с одной стороны, весьма*

¹⁸ Там же, т. I, стр. 326.

¹⁹ Там же, т. I, стр. 174.

²⁰ Там же, т. I, стр. 415.

сильного консервативного класса крестьян-земледельцев и фермеров, а с другой — денежной, торговой, промышленной, капиталистической буржуазии... Вот почему мы утверждаем, что революция в России настоятельно необходима и необходима именно в настоящее время; мы не допускаем никаких отсрочек, никакого промедления. Теперь или очень нескоро, быть может никогда!»²¹

В 1874 году Ткачев приходит в теоретическом плане к тому, что станет после 1917 года меньшевистской либеральной точкой зрения на русскую революцию: Россия приближалась в своем устройстве к западному социальному типу; война, явившаяся случайностью, отбросив Россию назад и ослабив государство, позволила восторжествовать такому архаизму, как большевистское движение. Именно потому, что Ткачев задолго до этого воспринял теорию «случайности» русской революции, он оказался способным предвидеть ее с такой проницательностью в своем письме к Энгельсу: *«Достаточно двух-трех военных поражений, нескольких крестьянских восстаний, вспыхнувших одновременно в двух или трех губерниях, и открытого восстания в городах во время мира, чтобы правительство оказалось полностью изолированным и покинутым всеми».*²² Специфическая особенность русской ситуации, которую он предлагал Энгельсу признать и которую описывал в марксистских выражениях, связана с двумя стратегическими моментами — государством и революционной партией. Русское государство, и Ткачев был согласен с тем, что говорило это государство официально о самом себе, не было классовым государством. *«На Западе, — писал он Энгельсу, — его поддерживают не только военщина и полиция, но вся система буржуазного общества... В России же, напротив, социальное устройство обязано своим существованием государству, государству, которое висит в воздухе, государству, которое не имеет ничего общего с существующим социальным порядком».*²³ Это приблизительно то же, что говорила о деспотическом русском государстве либеральная историческая школа от Соловьева до Милюкова и Плеханова. *«Государство не воплощает в себе интересов какого-либо из сословий. Оно одинаково давит все общественные классы».* Сегодня русское государство работает на благо консерваторов, земельных собственников и капиталистов. Но по существу оно нейтрально и может быть отвлечено к другой цели. И вполне логично Ткачев считает, что *«так как в современных обществах вообще и в России в особенности материальная сила сосредоточе-*

*на в государственной власти, то, следовательно, истинная революция — действительная метаморфоза силы нравственной в силу материальную — может совершиться только при одном условии: при захвате революционерами государственной власти в свои руки; иными словами, ближайшая, непосредственная цель революции должна заключаться не в чем ином, как только в том, чтобы овладеть правительственной властью и превратить данное, консервативное государство в государство революционное».*²⁴

Этот захват будет осуществлен насильственным путем. Но кто же его осуществит? Сами революционеры. Массы, если бы только они способны были подняться, не совершили бы этой революции. *«Революцию делают революционеры».*²⁵ Ткачев интересовался с давних пор феноменом интеллигенции. Он отмечал, что заслуга русской цивилизации состоит в том, что наряду с невежеством народа она позволила развиваться здравым идеям и понятиям в узкой группе нашего просвещенного класса. И он излагает вкратце марксистскую теорию развития революционных идей в среде интеллигенции. До освобождения крепостных она была в основном дворянской по своему происхождению и выражала интересы привилегированных. Однако отныне она ведет свое происхождение от *«другого сословия, которое по положению своему в обществе представляет нечто среднее между сословием, прочно обеспеченным, и совсем не обеспеченным».*²⁶ Это уже ленинская идея о двух поколениях интеллигенции, дворянской и разночинной. Положение новых интеллигентов ненадежно. Они должны жить своим трудом, не имея гарантии занятости. *«Чем менее обеспечено положение человека, чем более влияют на него случайные обстоятельства, лежащие вне его воли и провидения, чем более чувствует он свою зависимость от других людей, тем рельефнее и яснее представляется ему необходимость полной солидарности человеческих интересов, тем естественнее, тем скорее возникает в его уме убеждение, что счастье единицы невозможно без счастья целого, личное счастье — без счастья всего общества».*²⁷ Таким образом, в силу объективных условий своей жизни он становится социалистом. Из рядов этого сословия рекрутируется ядро партии, формируемой реалистами, людьми будущего. Вступая в организацию, они порывают с интеллигенцией, которая, как таковая, не имеет никаких привилегий. Ошибочно думать, что культурные люди содейст-

²⁴ F. Venturi. 1972, стр. 715.

²⁵ F. Venturi. Цит. соч., стр. 707.

²⁶ F. Venturi. Цит. соч., стр. 696.

²⁷ F. Venturi. Цит. соч., стр. 697.

²¹ Там же, т. III, стр. 69–70.

²² R. Papaidannou. 1972, стр. 265.

²³ Там же.

вуют прогрессу, потому что они носители культуры. Как и Ленин, Ткачев считал интеллигенцию резервуаром революционеров, но не революционным классом. Интеллигенция колебалась между переоценкой своих сил и недооценкой их. По самой природе своей она тщеславна и раболепна. *«Если вас бросают в грязный колодец, — пишет Ткачев, — и говорят вам: восхваляйте ароматы этих миазмов, доказывайте, что содержимое этого мерзкого колодца самое здоровое и самое приятное на вкус... То вы, всегда готовые услужить, подчинились бы приказам... И это вы, которые указываете дорогу прогрессу! На деле же вы идете туда, куда вас толкают»*.²⁸ Ленинская власть будет упорствовать, настаивать на оправдании этого предсказания. Это в силу обстоятельств столько революционеров вышло из интеллигенции. Но они не испытывали к ней за это никакого чувства благодарности. Ведь они вступили в мир, где классовая принадлежность не имела никакого значения. Народники возражали Ткачеву, что элита, придя к власти, создала бы государство столь же угнетательское, как и то, которое существовало прежде. Ткачев отвечал, что меньшинство, о котором он говорит, будет состоять не только из раскаявшихся дворян, но также из разночинцев и выходцев из крестьян. И затем, добавлял он, социальное происхождение — не самое главное: все зависит единственно от идей, принципов, которыми оно руководствовалось бы в своих действиях.²⁹ Марксистский анализ высшей пробы усиливал это тщательное разделение интеллигенции и революционной партии: в самом деле, писал Ткачев, интеллигенция, как Россия, обуржуазилась. Эпоха интеллигента — безработного, свободного в поисках идеала, миновала. Отныне капитализм говорит интеллигентам: *«Развивайте промышленность и торговлю, рационализировать сельское хозяйство, научите народ читать, создайте банки, больницы, постройте железные дороги и т.д., взамен я обеспечу вам основательное и хорошее вознаграждение, и чтобы ваша деятельность не была вам особенно в тягость, я создам условия, которые будут соответствовать вашему характеру, и кроме того я дам вам чувство удовлетворения от вашего труда, которое прогонит вашу меланхолию»*.³⁰ В самом деле, это было то, что должно было произойти. Интеллигенция, отказавшись от «идеальных принципов», превратилась в инженеров, врачей, учителей. Точка опоры революции зашаталась. Нельзя еще раз *«упустить благоприятный момент»*.

²⁸ F. Venturi. Цит. соч., стр. 725.

²⁹ F. Venturi. Цит. соч., стр. 725.

³⁰ Ткачев. Цит. соч., т. I, стр. 348–349.

Стало быть, революционерам надлежало хорошо организовать. Все зависит *«от мощной организации революционных сил, от объединения индивидуальных и частных усилий в единое целое, дисциплинированное и надежное»*³¹. «Хождение в народ» — это пустая трата времени. Пусть революционеры поместят центр тяжести революции там, где он пребывает, посреди них, а не вне их. Метод Нечаева хорош. Партия Ткачева соответствует довольно точно заговорщической мечте «Катехизиса революционера». Она представляет решительное меньшинство. Она не впадает в иллюзию революционного движения, которое порождается «естественными группами» путем «естественной эволюции», хотя это и лежит в основе марксистской социал-демократической идеи. Лаврову и наивным пропагандистам в деревне Ткачев замечает, что невозможно организовать деревню, внушая ей, что всякая власть — это зло. Всякая организация, пусть она основывается на федералистских или централистских принципах, остается, однако, всегда авторитарной и, стало быть, антианархистской. Это было разумно. Партия от природы незначительна и малочисленна. Она как армия во вражеской стране. *«Вопрос объединения и организации — это вопрос жизни и смерти»*.

Не значит ли это, что Ткачев полностью отказался от своих привязанностей к Бакунину и анархистским идеям? Нисколько, он защищал их перед Энгельсом. Дело в том, что народ был необходим для революционного порыва. Его понимание народа принципиально отличается от понимания Маркса, но превосходит понимание Ленина, если только он ожидает от него не самостоятельных созидательных способностей, а способностей разрушительных. Народ — это грубая примитивная сила, необходимая стихийность.

А вот как Ткачев представлял себе взаимоотношения партии и народа: *«Революционное меньшинство, освободив народ от тяготевшего над ним гнета, как и от страха и ужаса перед прежней властью, дает ему возможность проявить свою разрушительную силу и, опираясь на эту силу, искусно направляя ее на уничтожение врагов революции, оно подрывает крепости, которые его окружают, и лишает их всех средств сопротивления и противодействия. Впоследствии, используя свою силу и свой авторитет, оно вносит в условия жизни народа новые прогрессивно-коммунистические элементы, освобождает эту жизнь от ее вековых пут и одушевляет иссохшие и оцепеневшие формы»*.³²

³¹ F. Venturi. Цит. соч., стр. 707.

³² Цит.: F. Venturi, 1970, стр. 721.

Ткачев не порывает с древним духом русского бунта и по другой причине: дело в том, что анархистский миф согласуется с диктатурой. В перечне основных директив, которым должно будет следовать революционное государство после упразднения экономического обмена, уничтожения физического, интеллектуального и морального неравенства, учреждения обязательной системы единого общественного образования, упразднения семьи, мы читаем: «*Развитие автономии в коллективной администрации, сопровождаемое постоянным ослаблением, а затем и уничтожением центральных функций государственной власти*».³³ Итак, *Государство и Революция!* Сравнение с Лениным напрашивается само собой.

Сопоставление это столь заманчиво, что советская историография избегает этого сюжета. Собрание сочинений Ткачева так никогда и не было опубликовано полностью. Козьмин, их издатель и автор монографии, послужившей источником для многих других, сумел вовремя остановиться, чем и избежал серьезных неприятностей.

Сочетание последовательного реализма средств и совершенного утопизма целей отличает в равной мере и Ткачева, и Ленина, что и изолировало как одного, так и другого в революционном движении того времени, которое было в их глазах слишком умеренным в целях и слишком утопическим в реализации. Это последнее обстоятельство у обоих вызывало раздражение. Но не видеть разницы между этими двумя людьми, значит отказываться понять, почему Ткачев умер безумным в приюте для душевнобольных в Париже, а Ленин — находясь на вершине кремлевской власти.

В самом деле, что, собственно, сравнивается? Параллель проводится между теорией Ткачева и практикой Ленина, но она допустима только после Октябрьской революции. Теория Ленина не содержит никаких моментов циничного, либо макиавеллистского толка, которые составляют всю ценность теории Ткачева при ее сопоставлении с политическими приемами его великого наследника. Если читать Ленина, то революцию делает не партия, а рабочий класс, крестьянские массы, народ, и когда его начинают подозревать в ином, то это касается символа веры безупречного марксизма. Одним словом, этих двух людей разделяет признание. Но этого недостаточно, так как Ленин, даже если бы на него надавили, ничего бы не признал. Даже в тайниках своей души он не мог и вообразить, что в один прекрасный день чистосердечно предложенная Ткачевым практика послужит для него образцом.

³³ Цит.: *Venturi*, 1972, стр. 716.

Между Ткачевым и Лениным, говорят, имел место прогресс в усвоении марксизма. Это бесспорно, но не в том смысле, в котором это суждение обычно употребляют.

У Ткачева синтез между *impetus* Чернышевского или Нечаева и марксистским *Weltanschauung* остается неполным. Марксизм для него — это орудие для осуществления «гностического» плана, который он унаследовал от своих первых учителей. Чтобы заставить мир приобщиться к новому духу с помощью совершенных нового типа, он ищет в марксизме аргументы, анализирует удобные схемы. Он придерживается в отношении Маркса весьма утилитарной и эмпирической позиции, вот почему он столь разумно его использует. Он не колеблясь отделяет социально-экономический анализ от конечных целей системы. Он хороший марксист, потому что он марксист лишь отчасти.

Ленин, напротив, пронизан марксизмом целиком. Он доволен только тогда, когда может уложить свою аргументацию в точные рамки и подтвердить ее цитатами из трудов Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Он стремится остаться полностью верным во всем марксизму, даже ценой серьезных искажений русской действительности. Однако дело в том, что эта полная и слепая верность проявляет себя способной не только сохранить целиком вклад Чернышевского, но еще и реализовать его в истории. Все указывает на то, что если бы Ленин был ткачевцем в теории, то ему никогда не представился бы случай оказаться им на практике.

IV

С сороковых годов русская мысль была одержима важностью и неотложностью действия, но возбудителем этой одержимости была невозможность и неспособность действовать. Революционеры выстраивали свои фантазии, правительство же на их основе разрабатывало свои контрфантазии, которые не могли не отразиться на его действиях. Именно это придает истории ее ирреальность. Это дворец зеркал, подобный ярмарочному балагану «Дама из Шанхая», где никто не знает, кто в кого стреляет, где только зеркала идут трещинами и разбиваются. Революционеры излагают на бумаге проекты партий, напоминающие образ русского государства, какой они создали себе. А это государство, восприняв эти проекты всерьез и стремясь их расстроить, ведет себя так, как того и ожидали революционеры. Долгое время единственным материальным следствием революционной идеи в России были действия русского государства.

Работа этой идеи шла в двух направлениях. Отныне доктрина, существовавшая уже в основных чертах, переживала процесс философского — если не политического — объединения вокруг марксизма. Существовал

тип человека, подобного которому не было на Западе, человека сугубо русского по своему воспитанию, революционного борца а ля Чернышевский, который уже послужил примером для некоторых людей.

Революционный характер черпал свои силы не в доктрине, а из других источников. Душевного смятения, тревоги (и стесненности в средствах) интеллигенции, исторических бед России достаточно для объяснения духа бунта. Но именно доктрина, предлагая глобальное окончательное решение, превращала бунт в революцию и бунтаря в революционера. Цель бунта — восстановление справедливости. Он взывает к праву, он завершается, когда право восстановлено. Бунтарь, который жаждет восстановить справедливость силой, может стремиться к объединению с другими бунтарями. Но шайка, которую он создает, подобно разбойникам Шиллера, не склонна превратиться в партию. Она не оспаривает мир в его сокровенной доброте, которую она просто пытается восстановить. Справедливость рассматривается как непременная составляющая и бунтаря, и угнетателя, хотя на этого последнего она не распространяется. Революционер не придает справедливости всеобщего характера. Он не взывает и к праву. Он ставит своей целью такое устройство общества, где право было бы ненужным, а существование справедливости бессмысленно. Он ищет не справедливости, а «социальной палингенез», где отношения между людьми и вещами регулируются в совершенстве сами собой. И это несмотря на то, что партия представляется настоятельной необходимостью. Она объединяет людей, которые знают, и формируют их приобщением к знанию. Партия представляет собой ядро «спасенных», отправляясь от которого спасение будет распространяться. Что до мира, который следует возродить, то по своей природе партия стоит от него особняком, ей с ним нельзя соединиться. Она определяет тактику и последовательные этапы спасительной революции. Справедливость для нее не цель; она лишь служит орудием и сводится к тактическому приему. Партия может допустить в свои ряды «бунтаря», ибо он необходим для того, чтобы свершилась революция. Но она видит дальше, чем он, и сохранит к бунтарю презрение гностика к невежде, передового товарища к товарищу отсталому и, в силу этого, подчиненному.³⁴

У Бакунина со времени его обращения к левому гегельянству было смутное предчувствие этой партии. Логически она должна была стать завершением нравственной реформы, проповедуемой Чернышевским. Эскиз ее, довольно точный, дан в «Катехизисе» и усовершенствован Ткаче-

вым. До 1875 года она оставалась на стадии мечтаний. Но с появлением «Земли и воли» состоялось ее вступление в реальный мир.

«Земля и воля» представляет собой некий итог русского революционного движения. Она объединяет, хотя и не до конца, его различные течения и заставляет их перейти к действию.³⁵

Первоначальное ядро походило на тайные кружки нечаевского поколения. Эта группа, созданная в 1875 году в Петербурге, получила название «Троглодиты», потому что, как говорил один из них, никто из посторонних не знал, ни где обитали, ни под каким именем жили молодые люди, составлявшие эту группу. Самым влиятельным из них, наряду с Натансоном, был Михайлов. Михайлов уже получил боевое крещение в том же году, в Киеве. Три течения, на которые было разделено тогда народничество, объединились, хотя и не полностью, в организацию «Земля и воля». Сторонники Лаврова были наследниками тех, кто в 1873 и 1874 годах занимался «хождением в народ». «Открыть глаза народу» — такова была их задача, как рассказывает Михайлов. Их намерение — «просветить всю массу народа» благодаря усилиям сотен и тысяч пропагандистов для того, чтобы «меньшинство, пусть даже оно невелико, стало сознательно социалистическим». ³⁶ В народе «надобно пробуждать не страсть, а сознание». Напротив, последователи Бакунина рассчитывали на чувства и грубую революционную страсть. Чем просвещать народ, надобно скорее спустить его с цепи. Как только где-нибудь вспыхнет крестьянское восстание, необходимо содействовать его расширению и, каков бы ни был его исход, «оно будет способствовать накоплению революционных страстей и воспитанию народа». ³⁷ Наконец, весьма немногочисленные ткачевцы помышляли о создании сильной партии, которая, низвергнув нынешнее правительство, навязала бы новый порядок.

В течение 1876 года «Троглодитам» удалось хорошо организовать и распространить свое влияние в провинциальных городах, где они завязали связи с родственными кружками: в Одессе, Киеве, Ростове. Человеческий материал был слишком разнообразным, чтобы его можно было свести путем упрощения к террористическому типу или типу пропагандистскому. Пропагандист — это, как правило, студент, не порвавший еще своих связей с человеческим обществом. Порой он скорее бунтарь, чем революционер. Террористы живут, отгородившись от жизни, часто сообщают. Террорист вооружен и готовится к применению насилия.

³⁵ F. Venturi. 1972. A. Ulam. New York, 1977.

³⁶ F. Venturi. Цит. соч., стр. 923.

³⁷ Там же, стр. 924.

³⁴ V. Mathieu. Paris, 1974, гл. IV и V.

Случается порой, что террорист по идейным причинам и в силу своего характера предпочитает пропаганду, а пропагандист, разочаровавшись, переходит к террору. Не следует придавать спорам между этими группами, той серьезности, с которой они велись. Как одни, так и другие взаимно обвиняют друг друга в том, что они ставят под угрозу революцию, и, следовательно, не являются революционерами. Мы не последуем за ними по этому пути. И те, и другие ставят своей целью тотальную революцию, полное изменение образа жизни этого общества. Они не реформисты. Они не согласны в вопросах тактики революции, но ни одни, ни другие не переоценивают значение тактики. Революция, которая предопределяется в космосе, выходит за пределы возможностей человеческой воли и способностей предвидения. В этом смысле они не являются волюнтаристами, поскольку за ходом развития можно наблюдать, ему можно благоприятствовать, его можно облегчать, но нельзя контролировать его от начала до конца. Витторио Матье применяет к революционеру то различие, которое приводил Шиллер между артистом простодушным и артистом чувствительным.³⁸ Артист простодушный верит, что его мастерство — причина его творческих достижений. Артист чувствительный знает, что это дело случая. Он выжидает благоприятный момент, готов ловить успех, когда представится возможность. Так и революционер пребывает в ожидании события, когда оно произойдет. Его мастерство является в таком случае не столько причиной, сколько искупительной жертвой. Тем не менее сторонника бакунинской стихийности от сторонника ткачевской плановости отделяет прогресс гностицистской уверенности. Оба знают, что возрождение может произойти только после перелома и ожидаемого потрясения. Но второй полагает, что знает лучше, чем первый, в каком направлении следует осуществлять возрождение и в каких условиях. Он подозревает первого в том, что тот придает слишком большое значение индивидуальным аффектам, и никогда не уверен, что революционный дух не вырождается у него в примитивный бунт или преступный цинизм. Он обвиняет его в идеологических промахах, так как сознает, что только Знание способно избежать этого двойного отклонения. Но несмотря на взаимное недоверие реальная политическая жизнь и борьба предоставляют множество возможностей для сотрудничества. Вот почему «Земля и воля» смогла действовать в течение нескольких лет.

Чтобы образовать партию, «Земле и воле» была нужна программа, которую разработали в Петербурге в 1876 году. Она определяла краткосроч-

ные цели, в перспективе народнические (равномерное распределение земли, разделение империи на части, передача части общественных функций общинам), но ясно указывала основополагающий принцип: насильственный переворот и два средства: агитация, «*имеющая целью организовать революционные силы и развить революционные чувства*», и дезорганизация государства. Между этими двумя полюсами, организованной пропагандой и организованной террористической деятельностью, прошло недолгое существование «Земли и воли».

Здесь не место излагать ее историю, весьма, впрочем, смутную, которая разворачивалась одновременно во многих городах в течение приблизительно трех лет. Нам представляется, что «Земля и воля» пыталась осуществить одновременно противоречивые проекты, разработавшиеся в течение 25 лет, которые до сих пор терпели поражение с самого начала. Нечаевская история повторялась среди бунтарей Украины. Один «предатель», Горинович, был убит выстрелом из револьвера и облит серной кислотой. Это было повторением убийства студента Иванова. Другой эпизод, не имеющий отношения к мистификациям Нечаева, связан с некоторыми мечтами декабристов: в 1876 году в районе Чигирина, вблизи Киева, крестьян призвали познакомиться с «Тайной императорской грамотой», жаловавшей им на законном основании всю землю, а затем организовать ополчение, чтобы отобрать землю у дворян. Сотни крестьян последовали за тремя бунтарями, снискавшими их доверие. Другие землевольцы, подобно их предшественникам, создавали постоянные поселения в сельских районах с пугачевскими традициями или в рабочих предместьях. Первые принадлежали к пропагандистскому течению. Ведшие не столь замкнутый образ жизни, как террористы, они кончили тем, что завязали прочные связи с деревнями и заводами и открыли, не всегда хорошо это осознавая, под личиной воображаемых существ, о которых вещала доктрина, подлинный народ, крестьянина или рабочего во плоти. Их убеждения повелевали им безоговорочно защищать интересы народа. Но занимаясь этим всерьез, они начали прислушиваться к жалобам, на деле выражаемым этим народом. Часто они жили в деревне, работали врачами или учителями. Болезни и невежество не являются понятиями, исчерпываемыми одной идеологией. Неся им исцеление, идеолог ощущает себя работающим на ниве общего блага. Они на опыте познали другую реальность как реальность. Это погружение в действительность потихоньку выталкивало их из ирреальности, в которой они пребывали. Перед лицом лихоимства властей, физической нищеты, конкретной эксплуатации бедняка богачом и слабого сильным они могли лишь взывать к справедливости и праву и,

³⁸ *V. Matieu*. 1974, стр. 81.

следовательно, отходили от своего статуса революционеров. В течение нескольких лет эти действующие в деревне борцы придерживались самых строгих позиций теоретического народничества. Это означало тогда оппозицию не марксизму, а терроризму и якобинству и, в более широком плане, желание учитывать интересы народа в его стремлении к самоуправлению. Они первыми поставили политический вопрос о свободе. Это было сделано в той фракции «Земли и воли», из которой в дальнейшем выделилась раскольническая группа «Черный передел», составившая основу будущей социал-демократии.

В 1877 году большинство активистов «Земли и воли» были арестованы и предстали перед судом. Это были громкие процессы. Обвиняемые превратились в обвинителей. Общественное мнение просвещенной России было в восторге от их героического поведения: *«Это святые... Они напоминали первых мучеников христианства... Они проповедовали любовь, равенство и братство»*.³⁹ Русское общественное мнение того времени образует некое окаймление революционной интеллигенции. Оно испытало влияние тех же идей, но расплывчатых, и не доводило их до логического конца. В самом деле, между бунтом и революцией существует не только противоположность, но и преемственность.⁴⁰ Революционный дух рождается и укореняется как решение именно на благоприятной для бунтарского духа почве. Между молодым Марксом, утопическим бунтарем, и Марксом в годах, революционером-ученым, как между ребенком-бунтарем и отроком-революционером, существует хронологическая и логическая связь. Отрицание и свершение одновременно, революция — это упразднение бунта. Но общественное мнение видит в революционном духе осуществление как раз духа мятежа, который воодушевляет его и который питается, естественно, всеми несправедливостями России. Оно было мало чувствительно к отрицанию того же духа, так как не познало развития, которое вело от одного к другому. Оно связывало революционные акции, ставшие предметом рассмотрения в суде, с парадигмой справедливости: христианскими мучениками. Со своей стороны, революционеры были искренне согласны с этим уподоблением, то ли потому, что с наилучшими намерениями сохраняли идею бунта в революции, то ли потому, что будучи более сознательными, использовали бунт чисто утилитарно и в соответствии с самыми передовыми «катехизисами». Революция и бунт образовали смешение, различное по составу и всегда неустойчивое, но группа об-

³⁹ F. Venturi. Цит. соч., стр. 951.

⁴⁰ V. Mathieu. Цит. соч., стр. 181. и далее.

виняемых материализовала это смешение, поскольку состояла из просвещенных анархистов (как «антропотеист» А.Н.Маликов) и более передовых революционеров, как И.М.Мышкин. Последний отлично выразил истинный характер революционного действия.⁴¹ Перед судом он изложил программу из следующих трех пунктов. Во-первых, утопические высказывания: *«Главная задача социал-революционной партии — создать на нынешних руинах этико-буржуазного режима социальную организацию, которая позволит удовлетворить требования народа»*. Эта организация — крестьянская община в народническом значении этого выражения. Другой пункт — революционный процесс как неотвратимая судьба. *«Ее (эту организацию) можно создать только с помощью социальной революции»*, так как государственная власть препятствует всякому мирному пути достижения этого результата. *«Не нужно быть пророком, учитывая безнадежную ситуацию, в которой находится ныне народ, чтобы предсказать неизбежный результат этой ситуации — всеобщее народное восстание»*. И, наконец, искупительная и гностическая задача партии. *«Наша ближайшая задача состоит не в том, чтобы совершить или развязать революцию, а только в том, чтобы обеспечить ей успешное завершение»*. С этой целью нужно соединить грубую народную силу и путеводный разум партии: *«Вот почему наша практическая деятельность должна состоять в объединении, в укреплении народных сил и революционных тенденций, в слиянии двух основных течений, одного, которое долго не появлялось, но уже проявило значительную энергию в интеллигенции, и другого, более широкого, более глубокого и неистощимого, а именно народной революции»*. Необходимо, следовательно, создать партию. Отметим мимоходом странную инверсию: данная величина, то есть революционный дух интеллигенции, неизменно подчинена величине созданной или воображаемой — неотвратимому народному восстанию. Но интеллигенция могла быть революционной лишь при условии существования революционного народа.

Постоянное расширение пропаганды и агитации в народе вызвало сочувственную реакцию, но вовсе не в народе, а в «обществе». Это сочувствие усилилось во время процессов. На следующий день после завершения одного из этих них, 24 января 1878 года, молодая девушка Вера Засулич стреляла в петербургского губернатора, чтобы отомстить, как заявила она, за студента Богомолова, которого высекли в тюрьме. Однако, это по-

⁴¹ F. Venturi. Цит. соч., стр. 957.

кушение вызвало еще большую симпатию общественного мнения, чем «хождение в народ».

Общественное мнение, как правило, недовольное существующим положением вещей, подталкивало юных героев на совершение искупительных подвигов, для которых pistolетный выстрел представлялся более подходящим, нежели проповеди среди крестьян. Революционная партия сразу увидела в покушениях террористов гораздо более эффективный способ накопления политического капитала. Старое нечаевское дело могло возродиться в своей первородной свежести. «Центральный исполнительный комитет» вместо того, чтобы оставаться магическим словом, способным внушать страх единственно маленькому подпольному кружку, стал настоящим центральным комитетом, способным осуществлять убийства по всей империи и даже в Зимнем дворце. Терроризм сократил длинный обходной путь через народ. Не было больше нужды бесконечно ожидать проявления ненависти, приписываемой народу, чтобы дать волю своей собственной. Терроризм был, в общем и целом, основной истиной, главной истиной революционного движения. И, наконец, марксизм, как мы видели, давал ему теоретическое обоснование и оправдание: не дадим нарождающейся русской буржуазии время задуть нас: *«Берегитесь! — писал Кравчинский, убийца шефа жандармов, — Как стая воронов, почуявших запах трупов, со всех сторон появляются новые враги: это буржуа!»*.⁴²

Но чтобы совершить революцию «как можно скорее», дабы не допустить разращения народа последствиями развития капитализма и распространения различных соблазнов буржуазной жизни, партия, перешедшая в большинстве к терроризму и вновь сосредоточенная в Петербурге, должна реорганизовываться. К весне 1878 года ее новые уставы нечаевского типа были готовы. «Земля и воля» является организацией *«людей, тесно связанных друг с другом»*, людей, намеренных посвятить все свои силы, способности, связи, симпатии и антипатии, равно как и саму свою жизнь организации. Члены организации отвергают всякую частную собственность. Они соглашаются на контроль за деятельностью всех групп и каждого члена в отдельности. Частная жизнь каждого подпадает под контроль из-за поступков, которые могут быть сочтены важными для дела в каждом отдельном случае. Разрыв со старым человеком, обретение нового духовного состояния, таким образом, подтверждено. *«Цель оправдывает средства, — гласит пункт 9, — за исключением случаев, когда использование определенных средств может*

⁴² Там же, стр. 985.

причинить вред самой организации». Это точно выраженная ленинская партийность.

Партия централизована. «Основной круг» составляют профессиональные революционеры. У всех одни и те же права, но в своих действиях они должны подчиняться. Группа может обязать своих членов выполнять ту работу, которую она сочтет полезной. Каждый обязан был хранить тайну. Центральное руководство координирует все действия. Оно собирает точную и ясную информацию о деятельности всех групп и устанавливает связи с другими революционными организациями. Все члены партии могут и должны проникать в другие организации, чтобы оказывать на них влияние и привлекать их. Организованная таким образом партия представляет собой сплоченную, дисциплинированную организацию революционеров, уже хорошо подготовленных, выходцев как из среды интеллигенции, так и трудящихся. Она может определять способы действий: сближение с религиозными сектами, с крестьянскими отрядами, с рабочими. Университет и интеллигенция должны были составлять главный контингент организации. Необходимо было, наконец, завязать связи среди либералов, так, чтобы использовать их в интересах организации.⁴³

Тем новым, что принесла с собой «Земля и воля», была попытка осуществить на деле то, что в течение двадцати лет оставалось в проекте, затем объединить, без особого успеха, различные течения народничества, анархизма и начинающего марксизма и, наконец, решительно перейти к терроризму. «Пропагандисты» в конечном счете покинули «Землю и волю» (которая стала тогда «Народной волей»), и на этом синтез закончился. Партия была создана впервые, но курс на терроризм вскоре привел ее к расколу, а затем и к распаду.

Синтез не был прочным. Части составляли одну организацию, но не единое целое. Партия была нечаевской по духу. Она создала фракцию особенных людей. Соблазн был велик: путем незаурядных героических акций, показательных подвигов новой морали засвидетельствовать появление нового человека. Но от этого соблазна пришлось отказаться. И отказаться по политическим соображениям: терроризм был эффективным средством для воздействия на общество. Поэтому он мог побудить государство изменить свою политику, что и произошло с Лорис-Меликовым и полуконституционными проектами правительства. Однако «Земля и воля» была какой угодно, но не реформистской: партия хотела разрушить государство, а не повлиять на него. Для этого ей был нужен таран народ-

⁴³ Там же, стр. 991.

ного восстания, которое в любом случае следовало развязать, чтобы положить начало процессу полного возрождения. Отказываясь от пропаганды, партия впадала в политическое противоречие. И тем не менее она шла на нарушение своего нравственного закона, подчиняя все успеху революции. Ее упрекали в романтизме и индивидуализме, в том, что она превозносит свое «Я» в ущерб делу.

Синтез провалился. Террористы были повешены. Пропагандисты обратились к реформизму. Чтобы объединить их снова в высшем синтезе, несравнимо более прочном, пришлось дожидаться Ленина.

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ

Чтобы разобраться в истории социал-демократии, запутанной пристальным шестидесятилетним вниманием историков всех стран, хорошей путеводной нитью может служить карьера Плеханова. Вместе с Аксельродом он по полному праву может быть назван первым безусловным марксистом в России. В то время как народничество, пронизанное марксизмом, пыталось к нему приспособиться, Плеханов своему приобщению к марксизму придал характер разрыва с народничеством. Формально он был создателем социал-демократии. Его долгая связь с Лениным, союзником в кризисе ревизионизма, говорившим, что он «влюблен в Плеханова», придала их частичному разрыву большой резонанс. Наконец, у Плеханова было время спокойно и серьезно поразмыслить над социальной историей России и практически прийти к позициям, которые можно было бы назвать, по крайней мере в академической тиши, криптолиберальными.

В предисловии к своей первой марксистской книге «Социализм и политическая борьба» Плеханов заявил: *«Стремление работать в народе и для народа, уверенность в том, что «освобождение рабочего класса должно быть делом самого рабочего класса», — эта практическая тенденция нашего народничества дорога мне по-прежнему»*.¹

В 1883 году это звучало как недвусмысленный отказ от терроризма с диктаторскими замашками «Народной воли». Детч, создавший вместе с ним раскольническую группу «Освобождение труда», сознательно желал звания социал-демократа, поскольку, как он говорил, *«во всем цивилизованном мире название социализм связано с конкретной партией, миролюбивой и парламентской, чья деятельность характеризуется почти полным исключением любых революционных методов»*.²

Социал-демократия означает умеренность. При «социалистической» диктатуре народ, по словам Плеханова, сможет лишь созерцать медленную деградацию экономического равенства, а если он захочет взять в

¹ Г. Плеханов, 1956, т. 1, стр. 51, М.

² F. Walicki, 1969, стр. 154.

свои руки организацию производства, то не сможет этого сделать из-за своих привычек и низкого уровня развития. «...Или же оно должно будет искать спасения в идеалах «патриархального авторитарного коммунизма», внося в эти идеалы лишь то видоизменение, что вместо перувианских «Сынов Солнца» и их чиновников национальным производством будет заведовать социалистическая каста».³

Таким образом, никакой комитет, никакой исполнительный орган не вправе представлять или подменять собой рабочий класс. Задача рабочего класса – завершить европеизацию России, завершить дело, начатое Петром Великим. Коротких путей к тому нет. Попытка сократить путь приведет к регрессии. Долгий путь – это путь Запада, капитализма. Возможно, он и не так долог, как в Европе, поскольку в России классовое сознание воспользуется западными завоеваниями. В этом вопросе Плеханов расходится с тред-юнионизмом. Искренность его практического народничества отделяет его от предающего самого себя народничества террористического. Тем не менее, он не намерен позволять народу импровизировать и придумывать новые пути. Все пути известны заранее. Марксизм открыл Плеханову планы истории. И он доверяет массам, как то предписывает марксизм, осуществление этих планов. В этом двойственность Плеханова. Он глубоко верит в то, что нужно позволить свершаться вещам и действовать людям, что естественные средства лучше искусственных. Тем самым он склоняется к либерализму, тред-юнионизму и недогматической социал-демократии. Но с другой стороны, он приемлет это попустительство лишь поскольку абсолютно уверен, что оно послушно позитивным законам, раз и навсегда установленным Марксом. Он либерал лишь в рамках абсолютного детерминизма, ключи которого находятся у него, и вполне серьезного восприятия марксистской догматики. И во имя буквы марксизма Плеханов последовательно противопоставляет себя народническому терроризму, потом ревизионизму и, наконец, ленинскому большевизму.

У Плеханова есть предтеча, это Белинский. Михайловский проводил параллель между теодицеей русского марксиста и гегелевским примирением Белинского с реальностью. Но после Белинский возмутился. Плеханов, однако, восхваляет в нем именно момент примирения. Белинский превзошел морализм Шиллера и абстрактный рационализм просветителей. Его возмущение было возвратом к утопии, и этот возврат легко объясняется с марксистских позиций: в николаевскую эпоху объективные условия еще не созрели для того, чтобы русское общество породило Плеха-

нова. С одной стороны, Белинский-западник – предок корректного марксизма. Но с другой стороны, он совершил «первородный грех русской интеллигенции». Под тем же углом зрения Плеханов будет позднее обличать субъективизм Ленина.⁴

В политике позиция Плеханова вполне ясная. Он восхваляет революцию в два этапа. Первый этап будет «буржуазно-демократическим», и этим отвергается народнический догмат о безусловной реакционности буржуазии. Капитализм уже существует в России, но его государственная организация носит «феодальный» характер. Буржуазию толкает к либерализму логика «классовых интересов». Потом наступит этап «диктатуры пролетариата». Плеханов понимает ее в духе Маркса, как правление подавляющего большинства населения ничтожным меньшинством эксплуататоров. По его словам, это будет «панархия».

Это можно толковать по-разному. Следует ли считать, что демократия, свобода и примат права являются временными атрибутами первого этапа, или следует признать за ними самостоятельную ценность? Каков будет интервал между двумя этапами? Будет ли пролетариат выступать, как того хотел Аксельрод, как гегемон, начиная с «буржуазно-демократической» стадии? Как в масштабах партии сочетать две цели, «буржуазно-демократическую» и «социалистическую»? В какой степени следует вступать в союз с либералами, а в какой крушить их?

Дело в том, что на рубеже веков в России появилась новинка – социальный и культурный плюрализм, равно как и плюрализм политической жизни, та самая совокупность сосуществующих феноменов, которую вездесущий марксизм, не очень заботясь о соответствии, объединяет под словом «капитализм».

Теперь общество куда разнообразней прежнего двуклассового (дворянство и крестьянство) общества. Культурная жизнь заявляет о себе системой ширящегося общего образования, разнообразной многотиражной прессой, безусловно свободной. Интеллигенция теряет строгие контуры монашеского ордена и потихоньку становится социально-профессиональным слоем без специальной идеологической ориентировки. Народническо-марксистский ширпотреб перестает терроризировать просвещенную публику. А публика, верхние слои во всяком случае, живет по европейскому времени, в ходу спиритизм, эстетизм, иррационализм и новое искусство, и как на Западе, сейчас Новый Век. Наконец, и это самое важное, рождается политическая жизнь на западный манер. Марксисты, рассматривающие модернизацию только как «развитие капитализма», плохо это замечают: класс ка-

³ Г. Плеханов, 1956, т. 1, стр. 58.

⁴ А. Walicki, 1969, стр. 165.

питалистов сильно зависит от государства, общего организатора экономического роста. И поскольку марксисты не верят в самостоятельность политики, они недооценивают либерализацию, считая ее буржуазным феноменом, хотя она и распространяется у них на глазах во всех классах.

Даже в деревне, где сильно влияние народничества эсеров, либерализм торжествует. Его социальная опора — дворянство, представленное в земствах и вместе с ним профессиональная интеллигенция. Либерализм располагает политической сетью, позволяющей ему между 1900 и 1905 годами создать настоящую партию в западном смысле слова. Тогда как социал-демократические партии представляют собой конспиративные группы, созданные для руководства смутой, партия кадетов предназначена для каждодневной нормальной политической борьбы, включающей выборы. Впервые в России организованная политическая партия намечает себе неревolutionные цели, в первый раз оппозиционная партия предлагает улучшить реальное существование, а не заменить его иным.

Более того, два класса, долго бывшие опорой революционных надежд, теперь, при наличии политической жизни, оказались в состоянии выразить свое подлинное умонастроение. Предполагалось, что крестьянство мечтает о бунте. На самом деле административное руководство, сеть местной власти, эффективность полицейского и военного контроля так развились за последнее столетие, что бунт стал в высшей степени маловероятен. Но можно было его опасаться или на него надеяться. Начиная с 1902 года крестьянство приходит в движение, и становится ясно, что оно оставило эсхатологические мечтания о разнице былых времен. Оно предпочитает постоянное полунасильственное, полумиролюбивое давление на дворянство, вынуждающее его продать еще сохранившиеся в его руках земли. Крестьянство организуется с коммерческой и технической точки зрения в плане экономического либерализма и кооперации. Деревня уже достаточно грамотна для обретения политической ориентации: она поглядывает на кадетов не меньше, чем на эсеров.

То же можно сказать и о рабочем классе. Если не принимать во внимание поляков и латышей, то история рабочего движения действительно начинается с евреев. В 1900 году единственным организованным «рабочим классом», способным следить за рабочими массами и приводить забастовки к победе, располагающим гибкой и демократической организацией, был Союз еврейских рабочих — Бунд. Масса русских рабочих сильно отстала. Она состоит из ядра кадровых мастеровых с высокой профессиональной подготовкой, тонущего в потоке недавно приехавших из деревни. Русские рабочие способны выдвигать свои требования и эффективно на них настаивать. Крупная забастовка 1896 года, проведенная

по чисто рабочей инициативе, выдвинула подлинно рабочего лидера, который поручил студентам-социал-демократам второстепенную роль изготовителей листовок.⁵

Тем не менее, коль скоро нарождающееся рабочее движение стремится обрести законность, ему не обойтись без политики, поскольку забастовки запрещены законом. Рабочий класс открывает для себя политику, но политику либеральную. Когда правительственный чиновник Зубатов оказался в силах предложить рабочим форму организации, противоположную подпольной политической партии, они охотно в нее влились. Между 1901 и 1903 годами в России бурно развивалось профсоюзное рабочее движение, возможно, в самом чистом виде, если не считать Бунда. То, что полиция стремилась это движение контролировать, не меняет его подлинной природы. Позднее успех Гапона подтвердит еще раз слабость влияния социал-демократов. Лишь накануне войны рабочий класс начал радикализироваться и, возможно, не в марксистском направлении.

Каким образом марксизм учитывал эти изменения в России? По-прежнему существовал «народнический» марксизм. Воронцов и Даниэльсон, по-прежнему увлеченные аграрным вопросом, настаивали на отрицательных последствиях капитализма. Голод 1891 года, ставший прямой или косвенной причиной гибели полумиллиона людей, по всей видимости, подкреплял «катастрофический» марксизм. Но в это же время зародился марксизм иного рода. Видимо, его вызвал к жизни профессор Киевского университета Зибер, чья диссертация «Давид Рикардо и Карл Маркс», появившаяся в 1885 году, заслужила теплую похвалу самого Маркса.⁶ Этот марксизм — экономический детерминизм самый оптимистический. Формы социальной жизни вытекают из естественных законов развития. Они не зависят от человеческого выбора. Естественные этапы, а капитализм относится к таковым, не могут быть ни обойдены, ни сокращены. Структура государства подстраивается под социальную базу. Социализм победит без революции, он будет официально введен на некоем конгрессе экономически развитых государств.

К этим идеям немедленно присоединился молодой Струве. Его «Критические заметки» (1894 г.) — гимн индустриализации России, которая была предпринята Витте и министерством финансов, гимн во имя объективной науки. Нужно «*учиться капитализму*»⁷.

«Критические заметки» пользовались большим успехом. Репутация Струве была столь солидной, что ему поручили составление Манифеста

⁵ R. Pipes, 1963, в первую очередь глава VI.

⁶ На листках, которые Маркс успел прочесть перед смертью, A. Walicki, 1969, стр. 166.

⁷ R. Pipes, 1970, стр. 101 и далее.

1-го Конгресса русских социал-демократов (1898). В нем можно прочесть, что первой задачей рабочего класса является борьба за политическую свободу, на что «подлая и слабая русская буржуазия» не способна. Но почему же Струве, в частном порядке говоривший, что гораздо больше заинтересован в свободе, нежели в социализме, оказался в компании социал-демократов, формально по-прежнему революционеров? Потому что в этой же среде пробивали себе дорогу под правоверным прикрытием два других марксизма – экономизм и ревизионизм.

Экономизм? Это не фракция и не система, в лучшем случае – скромная тенденция и сомнения, разделенные несколькими активистами. Если хорошенько поскрести их работы, можно обнаружить два или три течения.⁸ Короче, экономизм родился из горького опыта забастовок 1896–1897 годов, в ходе которых рабочие вели себя как плохие ученики своих интеллигентных наставников. Пропаганда, то есть преподавание марксизма, сочилась. Так надо, чтобы социал-демократы, по мысли экономистов, присоединились к либеральной оппозиции, требующей того, в чем Россия нуждается, т.е. конституции, а не революции. Агитация, то есть призыв к забастовкам и требования улучшения жизненных условий, напротив, полностью удалась. Так пусть ею занимаются рабочие, раз их это интересует. Следовательно, нужно срочно распахнуть двери рядов руководящего комитета *Союза борьбы за освобождение труда* для нескольких трудящихся. Если марксизм прав (в чем экономисты не сомневаются), то рабочие сами в этом убедятся на собственном опыте. Нужно демократизировать партию. И нужно, следовательно, чтобы «старик» в партии уступил свое место.

Этим экономисты вызвали среди «стариков» бурю негодования. Ветераны правоверной теории, они обвинили экономизм во всех грехах, приписав ему, и совершенно напрасно, даже то историческое значение, которого у него не было. И смешали его осуждение с проклятиями в адрес другого направления, вполне реального и значительного в международном плане — с ревизионизмом.

Революция родилась с письма, направленного в октябре 1898 года Эдуардом Бернштейном конгрессу немецких социал-демократов. В этом письме и в последовавшей полемике есть три аспекта. Первый — узкополитический. Между тем, что немецкая социал-демократия говорит, и тем, что она делает, ширится разрыв, и явление это нездоровое. «Нужно, чтобы социал-демократия набралась смелости освободиться от фразеологии прошлого и предстать тем, чем она является в реалии: партией де-

мократических и социальных реформ и только»⁹. Лишь уподобившись себе самой, партия станет действенной. Для Бернштейна идеология паразитирует на политике. Затем он переходит к исторической оценке прошлого и настоящего.

«Я только отрицал, что крушение буржуазного общества близко, и сказал, что социал-демократия не должна основывать свою тактику на надеждах на неизбежность катастрофы»¹⁰. Историческое развитие опровергло прогнозы Маркса. Это уже предчувствовал Энгельс в своем завещании. Экономическое положение рабочих не ухудшается. «Бесполезно и абсурдно закрывать глаза на факты». Число собственников растет. В политической области «мы видим, как привилегии капиталистической буржуазии постепенно стираются прогрессом демократических институтов». Рабочее движение успешно противостоит капиталистической эксплуатации. Как же быть с социализмом? Здесь Бернштейн приподнимает завесу над философскими основами ревизионизма.

Во-первых, это возвращение к подлинно научному духу. «Ошибки не становятся священными, потому что в тот или иной момент Маркс и Энгельс их разделяли. Истина нисколько не утрачивает своей ценности, если первым ее установил экономист — антисоциалист или не совсем социалист. В науке направление не создает привилегий и не подписывает приговоры об изгнании».¹¹ В «Капитале» есть противоречие. То, что в научном социализме подразумевается под наукой, — это «псалмопение»¹². Далее следует, говоря политическим языком, предпочтение реформ перед революцией. Социализм не противоположен либерализму, он его венчает. Либерализм как социальный принцип гораздо шире, нежели распространенный ныне «буржуазный либерализм», и завершается он социализмом.

Всеобщее голосование становится тем инструментом, с помощью которого представители народа, бывшие ранее его хозяевами, превращаются в его слуг. Социализм — это не что иное, как «организующий либерализм».¹³ Из этого следует, что невозможно представить себе социализм заранее, поскольку он зависит от свободной деятельности социальных сил. Демократия — одновременно и средство, и цель. Демократия — это не агитационный лозунг, не временный этап, но средство для достижения большей демократии. Социализм — не состояние, а вектор, ориентировка, так что бесполезно перескакивать через этапы, поскольку неизвестен ко-

⁹ К. Papaioannou, 1972, стр. 248.

¹⁰ E. Bernstein, 1974, стр. 13.

¹¹ К. Papaioannou, 1972, стр. 252.

¹² E. Bernstein, 1974, стр. 222.

¹³ К. Papaioannou, 1974, стр. 247.

⁸ J. Keep, 1963, стр. 58 и далее.

нечный пункт. *«Именно это я имел в виду, когда писал фразу, под которой подписываюсь и сегодня: движение – все, а то, что обычно именуют конечной целью социализма – ничто».*¹⁴

Если социализм – не что иное, как свободное движение свободно развивающегося общества, классовая борьба – лишь показатель недостатка свободы и демократии.

*«Антагонистические интересы классов исчезнут частью в поле экономической конкуренции (включающей в себя и профсоюзную борьбу), частью — и во все более возрастающей мере — в результате изменения законодательства. Из столкновения классовых интересов постепенно выяснится общая заинтересованность, и чем более она будет превалировать, тем демократичнее будет общество».*¹⁵

Иной мир Бернштейн отказывается строить. Меняется этот мир, и улучшать нужно его. Таким образом, мир оказывается самоценен. Социализм и его противники взаимосвязаны. Он отвергает абсолютный антагонизм классовой борьбы и разрыв революции. Иначе говоря, он открывает для себя общественную пользу. И немедленно к нему возвращается научная ясность мышления, исторический здравый смысл и политическая проницательность. Бернштейн вступил на путь деидеологизации рабочего движения. У него уже заметны интеллектуальные последствия, сопровождающие выход из этого заколдованного круга. Его глаза раскрываются, его стиль освобождается. Его книга легко дышит. В его письме 1898 года уже сказано все. Он и далее будет развиваться, и с присущим ему талантом, но как идеология осуществляет полное изменение состояния личности, так и освобождение от идеологии приводит к полным и немедленным результатам.

Немецкое рабочее движение слишком массовое, слишком рабочее, чтобы передавать его полномочия группе идеологов и профессиональных конспираторов. Рабочая партия принимает к сведению и осознает серьезность рабочей реалии. В этом Бернштейн не отступает от правоверной социал-демократии Каутского, Розы Люксембург и даже Плеханова. Последний в своей далекой России даже до возникновения рабочего движения уже доверял его способности к самоорганизации и отвергал конспираторское манипулирование.

Но гораздо существеннее то, что бернштейнианство отвергает мир идеологии, и этого правоверные марксисты принять не могли. Ярче всего их отказ выражен в ответе Розы Люксембург Бернштейну:

*«Связать народные массы с целью, превосходящей любой существующий порядок, связать каждодневные сражения с великим переустройством мира — такова великая задача социал-демократии. Следовательно, она должна двигаться вперед между двумя подводными рифами: утратой своего массового характера или утратой конечной цели, превращением в секту или в буржуазное реформистское движение, между анархией или оппозицией».*¹⁶

О взглядах Бернштейна немедленно узнали в России. Конечно, можно сказать, что условия для ревизионизма возникают, если не с появлением рабочего движения (в России его еще не было), то с возникновением легальной и разнообразной политической жизни — а она-то уже несколько лет существовала. Другое объяснение, более простое, совсем не связано с этой ситуацией: именно потому, что в России общественная деятельность затруднена, а профсоюзная работа почти не ведется, в социалистических партиях остается много времени для идейных споров. К тому же в их состав входят в основном интеллектуалы. Культурные границы отсутствуют, книги и идеи циркулируют свободно. Престиж немецкой социал-демократии очень высок. Всего этого достаточно для объяснения быстрого распространения идей Бернштейна. К этому надо добавить особенности русского интеллектуального поля. Плеханов отмечал, что даже европеизация нашей буржуазии осуществляется под знаменем марксизма.¹⁷

Порою марксизм играл роль манчестерского утилитаризма, как рационализация энтузиазма начала индустриализации. В своей борьбе с народниками и неославянофилами из министерства внутренних дел кадеты, да и кое-кто из министерства финансов по примеру либералов рассуждали в марксистском духе. Марксизм провозглашал закон минимальной заработной платы и объяснял естественной природой вещей разрыв между богатыми и бедными¹⁸. Более того, у марксизма было то преимущество, что он не был открыто буржуазным, не вытекал из социалистической традиции и делал русского интеллигента причастным к прогрессу, что необходимо и для престижа, и для публикации своих работ.

Но все же в 1899 году редактор социал-демократической программы первого съезда партии Петр Струве, в свою очередь, занялся ревизией Маркса. По правде сказать, он только и ждал удобного случая, поскольку, составляя программу, уже не верил в ортодоксальный марксизм, но считал своим долгом держать свои сомнения при себе. Ревизионизм Струве чисто интеллектуальный¹⁹. Русские искали в марксизме исчерпывающее

¹⁶ K. Papaioannou, 1972, стр. 251.

¹⁷ A. Walicki, 1969, стр. 170.

¹⁸ A. Ulam, 1964, стр. 104. H. Seton-Watson, 1967, стр. 511.

¹⁹ R. Pipes, 1970, стр. 221 и далее.

¹⁴ E. Bernstein, 1974, стр. 14.

¹⁵ K. Papaioannou, 1972, стр. 248.

и непоколебимое объяснение. Пошатнувшись в одном пункте, оно незамедлительно рухнет все. Струве атаковал Маркса в самом сердце его теории, теории стоимости. Он начинает с замечаний Бем Баверка о противоречиях между первой и третьей книгой «Капитала». В первой книге уровень дохода зависит от соотношения между непостоянным капиталом и общим, поскольку продажная цена и соответственно уровень дохода определяется количеством труда, вложенным в производство. Однако в третьей книге Маркс отказывается от идеи постоянства уровня дохода, который уже не зависит от структуры капитала, и допускает, что продажная цена определяется стоимостью производства, в которой стоимость труда — лишь одна из составляющих. Маркс пытался выкрутиться, утопив точную концепцию стоимости труда в неопределенной концепции труда социально необходимого, но тогда объяснение становится тавтологией. С помощью этой трещины при полном идеологическом соответствии и освободился сначала разум Бернштейна, а затем и Струве. После этого уже было нетрудно разрушить теорию постоянного снижения уровня доходов, пауперизации и, наконец, революции. Струве стал либералом.

Ревизионизм был воспринят Плехановым как предательство. От статей Бернштейна в «Neue Zeit» он заболел²⁰. Его друг Аксельрод был на грани психической депрессии. «*Внутренним мотивом моего идеализма и моей социальной деятельности, — писал он, — была идея бесконечного прогресса человеческой природы*».

А Бернштейн разрушил его веру! Ревизионизм ставил Плеханова перед возможностью примирения с миром, какой он есть, и перед испарением его трансцендентальности, коммунизма. Более того, ту позицию научного презрения, которую он занимал по отношению к народничеству, ревизионисты обернули против него. Учеными теперь стали Бернштейн и Струве, а он, Плеханов, оказывается смешан с невежами от наивного и суеверного народничества. Переполнило чашу то, что Бернштейн, судя по всему, не признавал за Плехановым того места, которого он был достоин в рядах русской секции Интернационала.

Плеханов не понимал, почему Бернштейна тут же не исключили из партии. Он был ошеломлен тем, что столь почитаемый им Каутский не прислушался к его вполне русским призывам к немедленной расправе. Как дорогой и уважаемый товарищ Каутский только разрешил публикацию этого безобразия? «*Свобода мнений в партии может и должна быть ограничена, и именно потому, что партия — союз свободно согласившихся*

людей, разделяющих общие идеи. Как только исчезает единство, раскол становится неизбежным»²¹. Действительно, с 1830 года в русском кружке принято делать из доктрины вопрос принадлежности к этому кругу и символ добропорядочности. Вскоре слова Плеханова Ленин обратит против него самого.

Плеханов берется за работу. У меня не хватает смелости представить резюме его трудов: «Бернштейн и материализм», «Кант против Канта или духовное завещание Бернштейна», «Конрад Шмидт против Карла Маркса и Фридриха Энгельса», «Материализм и кантианство», «Первые фразы теории классово-борьбы», «Критика наших критиков» и так далее.²²

Это литература смертельно скучная. В согласии с правоверным каутскианством Плеханов защищает классовую борьбу и необходимость революции. Он стойко держит передовую линию обороны «*абсолютного обнищания*», одновременно укрепляя во втором эшелоне траншеи «*обнищания относительного*». К тому же он и философствует.

Бернштейн, вырвавшийся из пут марксистской догматики, порой рассуждал в стиле философов своего времени, в основном неопозитивистов и неокантианцев. Но для него отход от марксизма отнюдь не был перемной вероисповедания. Плеханов, а за ним и Ленин всегда видели в отходе от их идеологии присоединение к другой, противоположной. Но это был не тот случай. Закрыв за собой тяжелую дверь идеологии, Бернштейн изведаль иную форму мышления, и если мысль его порой и окрашена духом времени, если он и пользовался неокантианскими и неопозитивистскими оборотами, то это не значит, что он поддерживал с этими доктринами те же отношения, что прежде с марксизмом. Однако те, кого он оставил позади, уже не могли представить себе иного. С инквизиторским пристрастием они тщились обнаружить в его мыслях крупички противоположной системы, не замечая того, что эти крупички в систему уже не выстраиваются, поскольку автор покинул сам дух системы.

Но вот за что Плеханов держится всеми своими силами, так это за материализм. По этому поводу он написал обширные труды. «Опыт истории материализма» должен был появиться в «Neue Zeit», но несмотря на обещания Каутского, этого не произошло. Работа вышла в немецком издании в 1896 году. Это обстоятельная история материализма XVIII века (Гольдбах, Гельвеций); похвалив его, автор в самом конце не удержался от упрека в «статичности»: «*Метафизический материализм революционен только наполовину*». Затем в энгельсовской манере Плеханов показы-

²¹ Г. Плеханов, т. II.

²² См. также, набравшись храбрости, т. II, Плеханов, 1956.

²⁰ S. Baron, 1963, стр. 172.

вает, как Гегель вводит имманентную неизбежность (диалектику): «*Метафизический метод французских материалистов по отношению к диалектическому методу немецкого идеализма — это то же, что элементарная математика по отношению к высшей*». Историки эпохи Реставрации ищут законы истории. Наконец наступает черед изложения исторического материализма и диалектики Маркса, изложения правого социального-демократического. Этот материализм «не механистичен» и «взаимодействует» излагается со всей обстоятельностью. Существует очередность факторов: потребности — производственные силы — производственные отношения — право — политический режим — нравственность. Но во взаимодействии история едина: «*Это история социальных отношений, в любой момент обусловленная производственными силами*», «*То, что именуется идеологией, это многообразное отражение в сознании людей этой единой и неделимой истории*». ²³

В работе нет ничего оригинального, но написана она безупречно. Автор, безусловно, начитан, но читает он лишь для того, чтобы полнее насладиться достоверностью своих знаний. Всякое новое явление, любое чтение, любая история накапливают новые доказательства. Можно понять изменение его тона, когда Бернштейн пошатнул его веру. Гнев, возмущение, горечь несколько оживляют последние триста страниц книги, где автор обличает вероотступника.

Статья в «*Neue Zeit*» («Бернштейн и материализм», июль 1898 года) написана под воздействием эмоций. Всколыхнулось сразу все. «*Бернштейн долгие годы жил вблизи Энгельса, не понимая его философии*», «*Маркс и Энгельс были не только философами-материалистами в единой области исторических исследований: они были материалистами и в представлении, которое они составили о взаимоотношении между духом и материей*». Следует демонстрация согласия между материализмом Маркса и Энгельса и материализмом Спинозы (!). Единство материалистических воззрений существует у Спинозы, Ла Меттри, Гольдбаха, Дидро. «*Я не вижу абсолютно никакой существенной разницы между спинозизмом и материализмом Ла Меттри*». Тут мы прикасаемся к тому повороту сознания, когда отворачиваются от философского отношения, чтобы смотреть на мир идеологически. Действительно, загнав весь мир в немудрящие рамки и заперев его там, можно и не увидеть разницы между Спинозой и Ла Меттри. Нет ничего более патетического, нежели приводимое Плехановым доказательство «спинозизма» Маркса и Энгельса. Вот отрывок, в котором звучит и почтение к учителю, и гордость за со-

²³ Плеханов, 1956, т. 2, стр. 370.

вершенство собственной европеизации: «*В 1889 году... я имел удовольствие вести с ним (Энгельсом) продолжительные разговоры на разные практические и теоретические темы. Однажды зашел у нас разговор о философии. Энгельс резко осуждал то, что Штерн весьма неточным образом называет «натурфилософским материализмом». «Так значит, по-вашему, — спросил я, — старик Спиноза был прав, говоря, что мысль и протяжение не что иное, как два атрибута одной и той же субстанции?» — «Конечно, — ответил Энгельс, — старик Спиноза был вполне прав»*.²⁴ Приговор Энгельса кажется Плеханову столь решающим, что он упоминает о двух свидетелях исторической беседы, известном химике Шорлеммере и Аксельроде.

Зачем выстраивать против Бернштейна триста страниц материализма, если поставленный вопрос был политическим: добиться приспособления «катастрофической» фразеологии к реформистской практике? Не найдем ли мы ответа в тех многочисленных пассажах, где Плеханов нападает на Канта и даже на Юма?

По существу, Плеханов не переносит критической позиции. Как идеолог, он всеми силами ее отвергает, поскольку она разрушает ядро абсолютного знания, на котором построена идеология. Он отвергает ее и как революционер, поскольку она разрушает тот успокаивающий детерминизм, который оправдывает революционное действие и уничтожает индивидуальную ответственность, помещая в один ряд всеобщей предопределенности и материальную природу, и человека. «*Кант хотел нас убедить, что категория причинности не может быть применена к вещам в себе*». Однако вещи в себе воздействуют на нашу мысль, их верное и проверенное опытом отражение явственно подтверждает единообразие природы и человека. И Плеханов еще раз цитирует дорогого ему Гольдбаха: «*Человек — создание природы, он в ней, он подчиняется ее законам, он не может от нее освободиться, не может даже в мыслях оторваться от нее*». Этот материализм бесхитростно отождествляет «для себя» технической объективности с «в себе» природных процессов. Так что искусный техник наук естественных приравнивается к искусному технику наук общественных (революционеру), поскольку оба они владеют подлинным конечным знанием («*Предметом исследования материалиста является природа и человеческая история*»). Марксист, утонченный материалист (ведь диалектик!) способен объяснить даже заблуждения Канта и, что еще важнее, заблуждения Бернштейна и Конрада Шмидта. Вот это объяснение: «Буржуазия заинтересована в воскрешении кантовской философии,

²⁴ Плеханов, 1956, т. 2, стр. 376.

поскольку надеется, что с ее помощью удастся усыпить пролетариат. Разве не сказал Кант: «Я должен был уничтожить знание, чтобы освободить место для веры»? Кант вливал опиум в рабочее сознание. «Нет, право же, — замечает Плеханов, — буржуазия отнюдь не глупа».

На политический вопрос Плеханов отвечает философией, а точнее на философский вопрос, вызванный политической ситуацией, он вешает замок идеологии. Устранив философские сомнения в надежности системы, он возвращается к политике, дисквалифицировав противника, и отвергает его аргументацию, поместив его в клетку к политически осужденной системе — к буржуазии. Путь Бернштейна от политического освобождения к освобождению разума проделан Плехановым в обратном порядке, и Плеханов, после инквизиторского процесса, отдаст Бернштейна в грубые руки «классовой борьбы».

Замкнутый круг идеологической аргументации, в котором, отвергнув возражение, принимаются грызть возражавшего (а очень часто приступают к этому в м е с т о того, чтобы опровергать), гораздо совершенней процессов инквизиции. У инквизитора, выявляющего ересь, нет объективной теории для объяснения еретика, коего отсылают к его прародителю Дьяволу, от чьих искушений не защищен никто, даже сам инквизитор. Идеологии, основополагающей по праву, чтобы оставаться таковой, требуется отдавать себе отчет о том новом факте, который являет собой инакомыслящий. Идеология ничего не добила бы, если бы, помимо любых опровержений, не свела бы на нет сам феномен, исчерпывающе объяснив его так, чтобы в цепи знаний не было ни малейшего изъяна и непрерывность была восстановлена. По завершении операции не должно оставаться ничего, кроме торжествующей идеологии.

Этот метод, блестяще использованный Плехановым (он заслужил этим большую похвалу Ленина), станет по преимуществу большевистским методом. Тем не менее сам Плеханов с большевиками не остался. В 1904 году он стал меньшевиком и, если так можно выразиться, криптокадетом.

Здесь не место восстанавливать богатую ссорами летопись отношений между Плехановым и Лениным. Со стороны Ленина было почтение ученика, со стороны Плеханова — гордость учителя. Ленин оказал жевневскому эмигранту неоценимую услугу, подняв его от ранга марксистского философа до куда как более почетного для марксиста ранга руководителя партии²⁵. Но Ленину и в голову не приходило оставить ему руководство. Плеханов, несмотря на трудные периоды и колебания настроений, сотрудничал с Лениным всю эпоху «Искры». «Что делать?»

появилось в 1902 году, и Плеханов не высказал возражений. Во время знаменитого съезда в Брюсселе и Лондоне, когда произошел раскол и возник большевизм, Плеханов, хотя и не без колебаний, поддержал Ленина.

Но на следующий 1904 год Плеханов уже держится подальше от нового «Робеспьера», нового «Бонапарта» и нового «Бланки», если пользоваться сравнениями, которые он высказывал когда открыто, когда в частном порядке. Он перечитал еще раз «Что делать?» и обнаружил там ужасные вещи, ускользнувшие от него при первом чтении. В первую очередь он увидел возврат к традициям «Народной воли». Как он сожалел, что не изблещил этого прежде! В том же 1904 году, прежде Троцкого и Розы Люксембург, он высказал свое пророчество:

«Представим себе, что всеми нами признанный Центральный Комитет обладает еще неутвержденным правом «ликвидации». Что произойдет в этом случае? Покуда готовится съезд, ЦК «ликвидирует» все неустраивающие его элементы, заполняет все секции своими ставленниками, без труда добивается вполне покорного себе большинства на съезде. Съезд, состоящий из ставленников ЦК, вежливо кричит «Ура!», утверждает все его действия, как увенчавшиеся успехом, так и безуспешные, и аплодирует всем проектам и начинаниям. Тогда на самом деле не станет в партии ни большинства, ни меньшинства, поскольку нам удастся осуществить мечту персидского шаха!»²⁶

Но в дальнейшем Плеханов далеко не всегда был так тверд. Меньшевики, вместо того, чтобы решительно заявить о своем реформизме, тратили время на доказательство своей революционности. Он пытался убедить в этом и самих себя. И так в это преуспели, что при чтении социал-демократической литературы большевистско-меньшевистский раскол становится совершенно незаметен, до такой степени декларации и тех, и других кажутся выкроенными по одной модели. Это и позволило Уламу заметить, что разница между двумя фракциями может быть выражена одним словом — Ленин²⁷.

Сам Плеханов колебался между двумя лагерями. В 1908 году, в то время, когда он тесно сотрудничал с меньшевиками, один из них (Потресов) в своей статье недостаточно подчеркнул личную роль Плеханова на начальных стадиях социал-демократического движения. Плеханов пригрозил меньшевикам, что перейдет к Ленину и объявит их всех «ликвидаторами». Это привело лишь к дискредитации русских меньшевиков в глазах немецких социал-демократов, ничего не понимавших в русских

²⁵ S. Baron, 1962, стр. 50.

²⁶ S. Baron, 1962, стр. 50.

²⁷ A. Ulam, 1974, стр. 30.

делах, но с уважением относившихся к его славному имени. В 1912 году к недоумению своих друзей Плеханов в большевистской «Правде» обличал «ликвидаторов».

Но еще до того, как в 1914 году его выбросили во мрак беспартийного мира как «оборонца», Плеханов постепенно отдалялся от активной политики, становясь все более похожим на историка и эрудита. Конечно, он всегда оставался революционером. Он продолжал отстаивать теорию двух этапов, буржуазного и пролетарского, в революции. Революция 1905 года не предоставила ему достаточных оснований, чтобы изменить общую схему. Он неустанно напоминал предостережение Энгельса против преждевременного захвата власти — это подвергнет пролетариат большой опасности. Главными союзниками оказываются, таким образом, либеральные течения, активно готовящие буржуазную революцию. А о втором этапе думать еще рано. С другой стороны, в своих исторических работах Плеханов полностью присоединялся к выводам либеральной исторической школы. Несчастье России в том, что гражданское общество постоянно подавлялось деспотическим государством. При Петре Великом европеизация осуществлялась азиатскими методами. Новое время, особенно после отмены крепостного права, предоставляет шанс для развития по европейскому типу. Роль пролетариата в завершении процесса европеизации России и в том, чтобы вырвать ее у восточного деспотизма. Став в конце жизни свидетелем быстрого возврата того же восточного деспотизма при Ленине, он почувствовал угрызения совести и задавался вопросом о собственной ответственности: *«Не слишком ли рано мы стали распространять марксизм в отсталой полуазиатской России?»*²⁸ И вот уже забрезжило вдали троцкистское оправдание неудачи революции внешними обстоятельствами и неблагоприятным окружением.

Но что связывало их, Плеханова и Ленина, что мешало первому порвать окончательно, а второму полностью проклясть, так это доктрина. Разница в характерах второстепенна. Политические противоречия могли разрешаться с помощью показных компромиссов. Вплоть до первой мировой войны никто не мог открыто порвать с правоверной линией Каутского. Ленин формально соглашался с теорией двух революций.

Разделяло же их внутреннее отношение к доктрине. Плеханов верил в нее безоговорочно, хотя и несколько наивно. Он верил в тождество ценностей и понятий, используемых марксизмом, и ценностей и понятий, широко известных под этими наименованиям. Он не считал, что слова

«народ», «демократия», «пролетариат» в марксизме означают не то же самое, что слова «народ», «демократия», «пролетариат» в словаре. Он верил во всеобщую ценность марксистской истины. В отличие от Ленина Плеханов никогда не сталкивался вплотную с рабочим классом, не участвовал в забастовках, не возлагал политических надежд на конкретное рабочее движение. Его рабочий класс умозрительен. После своего отъезда за границу он встречался с рабочим классом только в виде его уполномоченных от социал-демократии в котелках и приличных пальто.

Парадоксальным образом именно эта отвлеченность и поддерживает контакт между Плехановым и русской действительностью. Даже его догматизм решительно толкает его к абсолютному доверию этому классу, хотя он его не знает и скорее всего именно поэтому. Этот же догматизм побуждает его отвергать все попытки подменить рабочий класс партией. В процессе серьезного изучения марксизма он усвоил и его «западнические» демократические элементы и часть взглядов Маркса и Энгельса на Россию, очень близких ко взглядам Кюстина и Мишле. Русское государство — идеальная деспотия. Плеханов долго развивает эту тему во «Введении в социальную историю России». Он присоединяется к западническому течению русской историографии, в большинстве своем либеральному: либерально-консервативному в традиции Соловьева, леволиберальному в кругу Миллюкова. Это либеральное видение русской истории корректно и в марксистской одежке Плеханова.

Если доктрина образует между Лениным и Плехановым связь, которую никто не может полностью разорвать, то она же составляет и препятствие, которое никто не может полностью преодолеть. Гражданское общество в России должно стать много сильнее государства, прежде чем думать о переходе к социализму, иначе социализм будет новой формой того же азиатского деспотизма. Плеханов и Ленин сходятся в вопросе о двух этапах революции, либерально-буржуазном и пролетарско-социалистическом, но Плеханов гораздо серьезней Ленина относится к ним, поскольку всерьез воспринимает те конкретные изменения, которые либерально-буржуазная революция должна произвести в русском обществе.

Он ждал от нее введения в России буржуазного либерализма, буржуазного экономического развития, созревания рабочего класса, для которого революция является средством. Ленин же целиком и полностью сосредоточился на революции как на цели, для которой вожделения русского населения и его надежды на экономическое развитие представляют теми агитации и пропаганды, то есть политическими средствами. В зависимости от акцента на словах «революция» или «пролетарский и буржуазный» марксизм меняет смысл. Поэтому, старая, Плеханов приходил к

²⁸ По словам Кусковой, «Давно минувшее», «Новый журнал», LVI. 1958; S. Baron, 1962.

приятно либеральной стороны марксистского наследства. Однако стоит отметить, что эта либеральная сторона неотделима от материализма, тогда как революционность более соприкасается с диалектикой. Этот балласт материализма, философии почтенной, хотя и незначительной, балласт, позволяющий сохранить контакт с реальным миром, и защитил в сильной мере плехановский разум.

Как материалист он верил в экономические силы, в опасность подогнать время, в невозможность идти против объективных сил истории и природы. В момент смерти его материализм обрел почти религиозный оттенок, несколько напоминающий Спинозизм, который он проповедовал в своих сражениях с Бернштейном. Он умирал и, увидев слезы на глазах жены, сказал ей: *«Вы и я, мы старые революционеры и должны быть стойкими. Да и что такое смерть? Взгляните в окно, видите ту березу, нежно склонившуюся к ели? Может быть и я когда-нибудь превращусь в такую же березу. Разве это плохо?»*²⁹

Этот материализм, достаточно приукрашенный нежным чувством, свершается в созерцании сущего мира и поднимается почти до благодати. Полвека материализм служил революционной страсти и оправдывал насильственные действия. У старого Плеханова тот же материализм сдерживал страсти и оправдывал выжидательную позицию и осторожность. Материализм был для него замком на философии, покуда он питал гордыню всеобщего знания, но сил ему не хватило, и осталась от материализма только материя во всем ее величии, а ведь он служил ступенькой для всего того, что этот старый человек действительно был способен сделать в философии.

ЛЕНИН

История персональна. Великие события истории, ее переломные моменты происходят и выражают себя через великих людей. Плехановский марксизм, изменяя Гегелю, отрицал это. Он придавал историческому развитию надличностный характер: структура общества, массы, классы, идеология класса. Плеханов писал, что если бы злосчастная черепица упала на Робеспьера, его место несомненно занял бы кто-то другой, и даже если бы этот другой во всех отношениях уступал бы Робеспьеру, события тем не менее развивались бы в том же направлении¹. Ленин был того же мнения. Да что там говорить, на исходе нынешнего века история наших западных демократий рассматривается в известном отрыве от главных государственных деятелей. Создается впечатление, что Чемберлен, Даладье и Гувер не повлияли решающим образом на историю своих стран, а с некоторой натяжкой то же можно сказать и о Черчилле, Рузвельте, Де Голле. Но представить себе историю СССР без Ленина невозможно.

Никак нельзя сказать: Октябрьская революция произошла бы, даже если бы Ленин ее не сделал, не поддержал всеми своими силами. Ленин — ее творец, вдохновитель и организатор; власть нового типа, распространившаяся неизменной на треть земной поверхности, о которой по прошествии шестидесяти лет ее существования и укрепления нельзя сказать, не распространится ли она на весь мир, постоянно ссылаются на Ленина.

Кто в истории может соперничать с Лениным? Сталин довольствовался тем, что с ленинской решимостью и последовательностью применял ленинские принципы. Гитлер создал судорожный и неустойчивый, да и недолговечный суррогат ленинизма.

Нужно ли углубляться еще в историю? Но и в этом случае придется признать, что Ленин не подходит ни под одну из известных категорий. Советское господство и обширней, и долговечней империй Александра Македонского и Чингисхана, да и, приглядевшись, в ней не найти струк-

²⁹ S. Baron, 1963.

¹ Г. Плеханов. О роли личности в истории. т. II, стр. 334.

туры завоеванной империи. Как Цезарь, Ришелье и Тьер, Ленин создал новую законность, но она не основана на согласии подданных, не образует устойчивой саморегулирующейся системы. Можно предположить существование некоторого согласия, но считать его доказанным нельзя, поскольку принуждение никогда не ослабевало и сегодня, возможно, столь же сильно, что и в первые дни. Может быть, следует выйти за рамки политики и сравнить Ленина с Константином Великим, обновившем духовные основы империи? Или с Магометом? Или с воинственными библейскими пророками? Но ведь идеология — не религия.

Сопоставить ли Ленина с вождями революций? Во всяком случае не с Томасом Мюнцером и не с милленариями, обрекавшими себя на поражение своим отказом от политики. У Кромвеля была и хватка, и чувство конкретной обстановки, и способность различать возможное и невозможное, то есть те качества, которыми обладал и Ленин. Но Кромвель мыслил в религиозных категориях. Он хотел быть не революционером, а восстановителем попорченной конституции. Не было у него и революционной партии. Напротив, он успокаивал экстремистов, а придя к власти, определенно отказался от утопии. Тем самым он подготовил реставрацию.

Наполеон ненавидел идеологов-якобинцев, этих «кровавых». Он искал средний путь между старым и новым режимом, между монархией и властью гражданского общества. Как и для Кромвеля, средним путем для него была личная власть. Тем самым он, с точки зрения макиавеллевского Государя, восстанавливал политическую жизнь. Ленин, напротив, презирал любой средний путь, отрицал как старую власть, так и гражданское общество и, по крайней мере сознательно, не стремился к личной власти.

Ближе всех к Ленину Робеспьер. И о том, и о другом можно сказать, что он «верил в то, что говорил». После Малапарте многие проводили эту аналогию. Оба были сходны по характеру, оба руководили идеологическими партиями в революционной ситуации, приводящей к непреднамеренной, но вполне реальной диктатуре. Но Робеспьер пал через несколько месяцев и не оставил после себя робеспьеризма.

Превосходство Ленина бросается в глаза. Любопытно, что оно касается сразу обоих полюсов, полюса политики и полюса идеологии. Напряжение между ними, в конце концов, погубило Робеспьера. Для своей политической роли он был плохим идеологом: его партия, слабо сплоченная и недисциплинированная, раскололась и предала своего вождя. Но он был и в недостаточной мере политиком для идеолога, утопия стесняла его действия и затрудняла восприятие реальной ситуации. Ленин довел идеологию до совершенства, но вместе с тем его политические действия реалистичны и свободны от идеологических оков. В тысячу раз более про-

питанный идеологией, нежели Робеспьер и Марат, неспособный видеть мир таким, какой он есть, полностью во власти ирреальных видений, он в то же время столь же пронизителен, негибем и циничен, как и макиавеллевский Государь, также стоек в неудачах, как Фридрих II, также точен в своих расчетах, как и Бисмарк, столь же решителен и дерзок, как Цезарь и Наполеон. Но как можно быть одновременно и Маратом, и Бисмарком? В этом тайна Ленина.

Но есть и другая тайна. История, как мы уже говорили, персональна. Однако личность Ленина от нас ускользает. Цезарь, Ришелье, Бисмарк по сей день завораживают всех неисчерпаемыми богатствами своих индивидуальностей. Лучшим биографам Ленина не удается проникнуть во внутренний мир своего героя. Вольф и Фишер съезжают с биографического жанра к общеисторическому. Улам даже не решился назвать свой труд «Ленин» и назвал его «Большевики»². Биографии быстро исчерпываются, потому что этого индивида не удастся постигнуть как личность. Создается впечатление, что в нашу идеологизированную эпоху возникло беспримерное новшество: историю творят люди, лишённые личных черт. Сталину, Гитлеру, Троцкому криминальный, демонический или театральный аспект их сути придает какой-то личностный оттенок, подобие индивидуальности, окаймляющий их историческую деятельность. В ней и они, и Ленин стремятся одновременно и к всемогуществу, и к обезличиванию. Но у Ленина нет даже этой каймы.

Его отец был инспектором народных училищ Симбирской губернии. При его вступлении в должность в 1869 году, за год до рождения Владимира Ильича, в этой обширной и несколько отдаленной провинции было только двадцать школ. Незадолго до своей смерти он довел их количество до четырехсот тридцати, очень приличного уровня. Судьба определила Ленину быть сыном добросовестного слуги русской школьной системы и родиться в тех самых местах, где формировалась интеллигенция. Его несовершенное провинциальное образование не позволяло ему легко и свободно подступиться к вершинам петербургской культуры, отделившейся в конце века от народническо-марксистской культуры интеллигенции. Его взгляды толкали его в сторону последней. Его вкусы заперли его в ней.

Вкусы Ленина, на редкость постоянные, легко и точно связываются с определенным временем. Это вкусы шестидесятников, установленные этим поколением раз и навсегда. О современном искусстве Ленин ничего не знает, да и знать не хочет. Современник Макса Вебера, Фрейда, анг-

² D. Wolfe, 1951, L. Fischer, 1971, A. Ulam, 1973.

лийской логики, немецкой критической философии, он едва ли слышал о них. Русской литературе авангарда он не доверяет, даже когда она объявляет себя революционной. «Совершенно не понимаю увлечения Маяковским. Все его писания штукачество, тарабарщина, на которую наклеено слово «революция». По моему убеждению революции не нужны играющие с революцией шуты гороховые вроде Маяковского. Но если решат, что и они ей нужны — пусть будет так. Только пусть люди меру знают и не охальничают, не ставят шутов, хоть бы они клялись революцией, выше «буржуя» Пушкина и пусть нас не уверяют, что Маяковский на три головы выше Беранже».³

Его знакомство с наследием классической культуры весьма ограничено. Валентинов, хорошо знавший его в Женеве и оставивший самое верное его описание, спрашивал его, читал ли он Шекспира, Байрона, Мольера, Шиллера. Нет. Из Гете он читал только «Фауста», и это все. Из русских классиков он был знаком с Пушкиным, Тургеневым, Толстым, Гончаровым, но воспринимал их в духе критиков из интеллигентов, Белинского и Добролюбова. Он обожает Некрасова, «поэта-гражданина». Он откровенно пренебрегает Достоевским. «У меня нет времени на эту грязь», — заявляет он. Прочитав «Записки из Мертвого дома» и «Преступление и наказание», он не захотел читать ни «Братьев Карамазовых», ни «Бесов». «Содержание сих обоих пахучих произведений, заявил он, мне известно, для меня этого предостаточно. «Братьев Карамазовых» начал было читать и бросил: от сцен в монастыре стошнило. Что же касается «Бесов» — это явно реакционная гадость, подобная «Панургову стаду» Крестовского, терять на нее время у меня абсолютно никакой охоты нет. Перелистал книгу и швырнул в сторону. Такая литература мне не нужна — что она может мне дать?»⁴ Еще одна типичная черта культуры Ленина — его пристрастие к фольклору. Однажды в Париже, услышав уборщицу, напевавшую «Не видать им Эльзаса и Лотарингии...», он пришел в восторг: это голос французского народа.

Плеханов был его учителем марксизма. К этому человеку Ленин относился с восторгом, сменившимся горечью после ссоры. Если он и обличал в Плеханове политического противника, то всегда отдавал ему

должное как мыслителю. Он преклонялся перед его несокрушимым догматизмом. «Марксизм — монолитное мировоззрение, он не терпит, чтобы его разжигали, опопыляли разными вставочками и приставочками. Говоря о какой-то критике марксизма, не помню уж о ком, Плеханов однажды мне сказал: «Сначала наклеим на него бубновый туз, а потом разберемся». А я считаю, что на всех, кто хочет колебать марксизм, нужно лепить бубновый туз, даже не разбираясь. Такой должна быть реакция всякого здорового революционера».

Но еще до Плеханова Ленин испытал влияние гораздо более решающее, и влияние не только на мысли, но и на характер, со стороны Чернышевского. Он не раз перечитывал его в свои молодые годы, в частности, когда находился на поселении после своего исключения из Казанского университета. «Это было чтение запоем с раннего утра до позднего часа... Моим любимейшим автором был Чернышевский. Все напечатанное в «Современнике» я прочитал до последней строки и не один раз. Благодаря Чернышевскому произошло мое первое знакомство с философским материализмом... От доски до доски были прочитаны великолепные очерки Чернышевского об эстетике, искусстве, литературе... Энциклопедичность знаний Чернышевского, яркость его революционных взглядов, беспощадный полемический талант — меня покорили. Узнав его адрес, я даже написал ему письмо и весьма огорчился, не получив ответа. Для меня была большой печалью пришедшая через год весть о его смерти. Чернышевский, придавленный цензурой, не мог писать свободно... Существуют другие люди, о которых можно сказать, что они обладают абсолютным революционным чутьем. Таким был Маркс, таким же и Чернышевский. По сей день нельзя указать ни одного русского революционера, который с такой основательностью, проницательностью и силой, как Чернышевский, понимал и судил трусливую, подлую и предательскую природу всякого либерализма».

Он прочел «Что делать?» сразу после казни своего брата Александра и знал, что это была одна из его любимых книг. «Просидел над ним не несколько дней, а недель. Только тогда я понял глубину. Он меня всего глубоко перепахал».⁵

«Что делать?» — самый удобный наблюдательный пункт для обозрения жизни Ленина. Рахметов — если и не его неуловимое Я, то идеал его Я. Как и его романтический герой, Ленин совершенствует свои физические силы. Гимнастика, режим питания, регулярная жизнь, размеренный порядок в доме обеспечивают революционеру возможность полностью

⁵ Там же.

³ Н. Валентинов. Мои встречи с Лениным, стр. 87. 6-го мая 1921 года Ленин направил Луначарскому следующую телеграмму: «Как не стыдно голосовать за издание «150 000 000» Маяковского в 5000 экз.? Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность. По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для библиотек и для чудаков. А. Луначарского сечь за футуризм. Ленин» (Ленин. Полное собрание сочинений. М., 1948, т. 52, стр. 179.)

⁴ Там же, стр. 84.

использовать свои силы. И своей экономностью, самоограничением, рассудительностью принимает обличье, но только обличье, совершенного мещанина. Как и Рахметов, Ленин делит литературу на полезную и бесполезную и не читает последней.

Неутомимый самоучка, проводящий, как и его властитель дум Маркс, много времени в публичных библиотеках, Ленин, как и его образец *Чернышевский* (и Рахметов), бесстрашно сражается во имя своих непоколебимых убеждений и своей новой провинциальной науки. Он, колеблясь, берется писать толстую книгу, чтобы ниспровергнуть сложного австрийского логика Эрнеста Маха. Ленинский интеллектуальный багаж не позволяет ему его прочесть, но он «опровергает» его и так и эдак. Позднее, придя к власти, он прикажет изъять его из всех библиотек вместе с Декартом, Кантом и другими философами-«антимарксистами».

Как и Рахметов, Ленин ведет целомудренный образ жизни. Никому и в голову не приходило, что чувственность может играть какую-то роль в его браке с Крупской, по всем свидетельствам женщиной некрасивой и на редкость посредственной. Было много толков о привязанности, которую он питал к гораздо более привлекательной женщине, Инессе Арманд. Похоже, что они действительно некоторое время были на «ты», и Ленин был очень огорчен ее смертью. Осталось несколько писем: они напоминают обширные политические трактаты или инструкции для партийных активистов. Они беседовали о свободной любви, и Ленин находил это требование буржуазным. *«Дело не в том, что Вы субъективно «хотите понимать» под этим. Дело в объективной логике классовых отношений в делах любви».* О романе, который она дала ему почитать: *«Вот ахинея и глупость! Соединить вместе побольше всяких ужасов, собрать воедино и «порок», и «сифилис», и романтическое злодейство с вымогательством денег за тайну... и суд над доктором! ... Подражание есть, по-моему, и архискверное подражание архискверному Достоевскому»*⁶.

Не имеет значения, было ли что-либо, или даже не было ли чего-то между Лениным и Инессой. Однако разве не бросается в глаза, что у Инессы есть литературный прототип? Это Вера Павловна из «Что делать?» Она также оставляет буржуазную жизнь ради революционной и расстается с менее прогрессивным мужем ради более прогрессивного. В шестидесятые годы было модно подражать не только духу «Что делать?», но и его сюжету. Отдавала ли себе Инесса отчет в этом сходстве? А если не отдавала она, то ускользнула ли аналогия от Ленина? Мы этого не знаем.

Ключ к пониманию Ленина, как и Рахметова, в безграничной преданности постулатам идеологии и в безоговорочном подчинении предписанной ими революционной практике. Это полное поглощение личности достигает у Ленина наибольшего совершенства. В ночной тиши, если он и мечтал, то мечтал о революции. Все человеческие отношения мерились этим аршином.

Таков он и в 1907 году, когда почти все его оставили. С *«холодным и злым лицом»* он встречает Валентинова и спрашивает:

— *Принадлежите ли вы еще к нашей группе?*

— *О! — подумал я, словечко «еще» звучит вызовом. Делать вид, что я его не замечаю — не желаю. На его тон следует отвечать тоном соответствующим. И потому я ответил:*

— *Да, я еще не ушел из группы большинства.*

— *Итак, вы пока не ушли из группы. Это мне было важно знать, так как если бы вы мне ответили, что ушли из группы, я повернулся бы и никаких разговоров с вами вести не стал. Я не буду вас спрашивать, почему вы не подписали протеста 37 большевиков, мне говорили, что в это время у вас были какие-то неприятности личного характера.*

— *У меня в это время умер сын.*

— *В этом ли объяснение или в другом — в данном случае не столь уж важно, я хочу говорить о вещах более важных. Пока вы состоите членом большевистской группы, я вам сейчас скажу, что абсолютно недопустимо делать и что, однако, вы делали.*⁷

И так велика сила ленинской убежденности, столь завораживающая логика системы, что Валентинов умолкает, как будто протест тридцати семи большевиков был важнее смерти его сына.

Но существует ли Ленин вне этой целеустремленности? Идеал его Я отнюдь не тайна, а вот его Я? Культ, созданный после его смерти, пытался, и понапрасну, возвести на алтарь «человечного» Ильича, эдакого доброго духа, лукавого и веселого. Но легенда рушится сама собой. Понапрасну историки всех ориентаций тратили силы на то, чтобы обнаружить какую-то неполитическую черточку, тайник личности, избежавший идеологической переплавки. Ленин отсутствует в собственных биографиях, превращающихся, как я уже отмечал, в политический анализ.

Был ли он русским, как Гладстон был англичанином, Тьер — французом, а Бисмарк — пруссаком? Разумеется, он необъясним вне политических и интеллектуальных условий, которые его сформировали и которые

⁶ Л. Фишер. Жизнь Ленина. Стр. 116.

⁷ Н. Валентинов. Мои встречи с Лениным.

сложилось только в России. Но как человеческий тип, как характер, он ускользает от всех попыток национальной классификации. Достоевский упрекал русскую революционную интеллигенцию в том, что она утрачивает национальный характер. В таком случае Ленин — прекрасный образец такой денационализации, он по всей видимости совершенно растворяется в анонимной Европе «среднего класса». Впрочем, национальная культура его и не интересует. В 1914 году он провозглашает, что само это понятие — буржуазный обман, распространяемый черносотенцами и попами. Национальная культура — это культура помещиков, попов и буржуазии. Культура масс интернациональна. Главный предмет «национальной гордости великороссов» — это их вклад в мировое революционное движение и, в частности, то, что их соотечественником был «великий русский демократ Чернышевский... пожертвовавший жизнью ради дела революции»⁸.

«Международная культура» интересовала его ничуть не больше. Превратности эмигрантской судьбы привели его в блестящие центры европейской цивилизации в эпоху ее расцвета. Он на них и не взглянул. В Лондоне он пренебрег «их знаменитым Вестминстером», «Вестминстером классовых врагов»⁹. Совершенно также и Чернышевский, единственный раз выехавший из России, чтобы повидать Герцена, провел в Лондоне четыре дня в спорах, а затем вернулся, так и не оглянувшись вокруг себя. В Зальцбурге Ленин жалуется на боли в желудке и требует у матери сто рублей. В Берлине ежедневно купается в Шпрее. Он ненавидит Париж. Троцкий завел себе там друзей в молодой французской ВКП. Ленин себя этим не затруднил или не побаловал, как хотите. У него украли велосипед, уличное движение слишком интенсивное, публичные библиотеки неудобные. Его сбила машина, он подал в суд и выиграл дело. На Капри он играл с Горьким в шахматы, не соглашался с ним по поводу Маха, проигрывал, сердился. Ему нравилось в Женеве. Еще больше ему нравилось в Кракове: «*Бабы босоногие в пестрых платьях — совсем как Россия... Мы живем здесь лучше, чем в Париже*»¹⁰.

Присмотримся к тому, кому предстоит потрясти мир. Маленький плотный человек, аккуратно одетый в скромный костюм служащего, жилет, галстук, цепочка часов. Его семейная среда? Самая обыкновенная. Один дедушка русский, другой еврей (это было вычеркнуто в официальных биографиях), одна бабушка немка, другая — калмычка, от нее у него скулы и раскосые глаза. Это русский с периферии, со смешанной

⁸ Ленин. О национальной гордости великороссов.

⁹ Л. Троцкий. Ленин. Париж, 1925, стр. 137.

¹⁰ Л. Фишер. 1971, стр. 107.

кровью, таких много на Волге. Достойные любящие родители, дружная семья. Ребенок крепкий, прилежный, упорный и всех устраивающий. Его стиль? Стиль журналистов-шестидесятников, многословный, конкретный, ясный, лишенный образности и вместе с тем не всегда скучный. Его темперамент? Подвижный, с несколько аритмичной сменой периодов сверхактивности и подавленности. Недостатки характера? Раздражительность и склонность к вспышкам гнева. Здоровье? Хорошее, если не считать болей в желудке, мигренью, повышенного давления. Пороки? Никаких.

Портрет на редкость заурядный, совершенно прозаический, примерной пошлости. Мы все время натываемся на тайну ленинского Я. Вот наиболее вероятное объяснение: этого Я не существует, оно заменено идеологическим каркасом. Какая внутренняя катастрофа побудила Ленина создать огромный и сложный протез своего Я, этот «марксизм», огрубленный, хотя и не искаженный, в котором нельзя усомниться, не рискуя утратить свою личность, не почувствовав угрозы, которую он заклинал, совершенствуя систему и уничтожая подстрекателей к сомнениям?

Не началось ли это со смертью отца, когда Владимир Ильич — ему было шестнадцать лет — перестал ходить в церковь, порвав с семейной традицией? Или трещина образовалась раньше? Бесполезно строить предположения, мы этого никогда не узнаем. Он сделал все, чтобы скрыться за этой отверделой и омертвелой тканью. Психологи его времени сочли бы такой характер вполне заурядным, банальный случай паранойи. Но отнюдь не банально, что эта ограниченность сочеталась с большими способностями, что столь заурядная личность была поставлена в исключительную историческую ситуацию, а ущербность его бытия сочеталась с ущербностью нашего мира, ущербностью миллионов людей.

Вот почему когда историк, рассматривая совместно Ленина и ленинизм, пытается прибавить какую-нибудь живописную и «человечную» черту этому совершенно замкнутому и скользкому персонажу, он идет по неверному пути. Единственный правильный подход к личности Ленина — метафизический, поскольку под определенным углом зрения несложный и цельный персонаж, веселый и насмешливый, с незатейливыми вкусами, под своей плоской и ровной поверхностью являет тревожную глубину Небытия.

Таким представил его Солженицын, нарисовав портрет озабоченного, прихварывающего, хлопотливого Ленина в Цюрихе. Таким же его заранее предвидел, нет, не Чернышевский, а тот, кто, наблюдая возню мелких провинциальных деятелей, понял, что именно вскоре обрушится на Россию: автор «Бесов», Достоевский. Но Ленин отнюдь не схож с князем-

преступником Ставрогиным, он напоминает скорее озабоченного, болтливого, суетного и бойкого Верховенского, в общем даже не злого по-настоящему, но которому целый мир, преображенный его заботами и поглощенный им, не смог бы вернуть бытия.

Существует и другой подход. Абстрагироваться от абстрактного Ленина и присмотреться к тому, что в нем подлинного, к его доктрине. Гностик, прикоснувшийся к спасительному откровению и приобщавшийся к истинному познанию, чувствовал, что возрождается и становится иным, наполняясь новым содержанием. То же можно сказать и о герое Чернышевского, которым овладело истинное знание, и он возродился в облики «нового человека». Метафизик может размышлять о том опустошении, которое остается на месте человека, покинутого таким образом самим собой. Историк должен присмотреться и к тому, что действует в новом человеке, так сказать на его месте, и чья политическая эффективность не знает себе равных — к ленинизму.

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ЛЕНИНИЗМ

Было бы слишком просто утверждать, что ленинизм обобщает русскую революционную традицию. В известном смысле к нему стекаются все элементы, последовательно возникавшие в истории: французские якобинцы, левые гегельянцы и Маркс, славянофильское двуголосие — Герцен и Чернышевский, наброски нечаевской и ткачевской партии, агитпроп народников, а потом и марксистов, Плеханов. Таков кругозор Ленина, таковы источники, на которые он ссылается, таков и узкий круг объектов его восхищения. Но это наследие процежено, поскольку Ленин игнорирует действительно философскую сторону, существовавшую у Маркса, не приемлет религиозной и этической части, сохранившейся у народников, и у него не найдешь той интеллектуальной благожелательности, еще вдохновлявшей Плеханова. Кроме того, наследие переплавлено так, что не всегда легко установить, сохраняет ли он или предает унаследованную традицию. Со времен Каутского не найдется более или менее грамотного специалиста по Марксу, не обнаружившего фальсификаций, проделанных Лениным с марксистским духом. Однако всегда оказывается возможным утверждать и иное: у Маркса действительно было то, что Ленин у него позаимствовал. В сети, сплетаемой Лениным, все используемые элементы доведены до крайности. То, что мыслилось принуждением, становится насилием. То, что было фантазией или мечтаниями, стремится воплотиться в действительность.

I

Можно ли говорить о ленинской метафизике? Он написал только одну книгу с претензией на философию и несколько статей, касающихся истории его концепции развития мира после Маркса и Герцена. Кроме того, он сам энергично отвергал выражение метафизика. Действительно, Энгельс в «Анти-Дюринге» заявил, что метафизика рассматривает вещи и идеи одну за другой, как объекты отдельных исследований: *«Он говорит: да, да, нет, нет; и то, что вне этого, ничего не стоит»*. Само это выражение, противопоставленное «диалектике», уже содержит что-то предосудительное, чего следует избегать. Но если взять понятие метафизики в его традиционном смысле, то Ленин тоже от него отказался бы. В самом деле,

дух отвлеченных построений ему чужд, существует только один стоящий метод, это демонстративная наука. Первоосновы его мысли претендуют на то, чтобы считаться научно обоснованными данными, и призывают к согласию умы доброй воли, но оценочные суждения здесь неуместны. Его метафизика, таким образом, сродни физике и составляет ее первооснову.

Теоретическая физика не была непосредственной специальностью Ленина, он не считал себя универсальным человеком и не претендовал на это. Тем не менее может случиться так, что политическое нападение не может быть отражено лишь политическими методами, и следует подняться к первоисточкам. И мы видим, что Ленин без опаски раскрывает «Логик» Гегеля, трактаты Маха, Авенариуса, Пуанкаре и, вооружившись только Плехановым, Марксом и Гегелем, побивает их на их собственном поле. Действительно, политика Ленина относится к той же всеобщей науке, что физика и философия. Организующие принципы социального мира те же, что в мире физики и философии. Чтобы заниматься политикой, нет нужды быть специалистом-физиком или философом, однако необходимо, чтобы эта политика обеспечивалась той же *наукой*, которая объясняет физические или философские явления. Поэтому Ленин не может пренебречь судьбой последних. Отсюда и распространенная на Западе ошибка. Интерес политических деятелей к философии был непривычен. Ленина окружили периклейским ореолом коронованного философа и собрали вокруг него почтенные тени Платона и Марка Аврелия. Большей нелепости невозможно было придумать. Ленин не интересовался философией, но он исповедовал идеологию, в которой философия и политика тождественны одна другой и взаимно обеспечивают друг друга.

Он предан идеологии, которая навязывает мировоззрение и, следовательно, диктует политическое поведение.

Заниматься политикой значит действовать в рамках этой концепции мироздания и тем самым заниматься философией. Тем не менее необходимо существование первоначальных элементов этой концепции мира. Ленину не нужно их разрабатывать, поскольку они были раз и навсегда разработаны другими и существуют на заднем плане, господствуя в его вполне осязаемом мире.

«Послушай, Ленин, материя, твой Бог, материя едина». Мир материален. Разнообразие его феноменов — это проявление различных форм, принимаемых единой материей в ее движении. Атом, живая клетка, человек социальный и человек думающий — разные виды материи. *«Нет ничего вечного»*, — писал Энгельс, — *«кроме материи в вечном движении и законов, по которым она объединяется и меняется».* Материя вечна,

бесконечна, всеильна, применима к бесконечности, едина в своей субстанционной сущности. *Materia sive natura.*

«Материалистическая концепция природы», — продолжал Энгельс, — *означает простую разумность природы, какой она предстает без посторонних добавлений».* Материи присуще движение. Поскольку ничего кроме материи не существует, движение является ее внутренним свойством, и источник движения в самой материи. В мире, как в гигантском котле движущейся материи, ее составные части взаимодействуют друг с другом. Копируя фрагменты логики Гегеля, Ленин пишет: *«Движение и внутреннее движение»* (оно, отметим, автономно, стихийно и обязательно внутренне) — *«изменение»*, *«движение и жизнь»*, *«принцип внутреннего движения»*, *«пульсация»* или *«движение»* и *«активность»* — противоположность *«мертвому телу»*. Кто поверит, что в этом смысл гегельянства, этого абстрактного и темного гегельянства? *«Этот смысл следовало понять, открыть, спасти, выявить, очистить, что и сделали Маркс и Энгельс».*¹

Поддавшись образности стиля Гегеля, он отметил: *«Река и капля в реке. Положение каждой капли, ее отношение с другими; ее связь с другими; направление движения; линия движения... Сумма движения. ... Вот приблизительная картина мира по логике Гегеля».*

Много разных вещей осмысливаются в той же концепции движения. Движение частиц, перемещение тела в пространстве, химическая комбинация атомов и молекул, метаболизм клетки, сознание, социальная жизнь — все это *«движения»*. Тем не менее сумма всех этих движений не приводит в каждом случае к неопределенному и хаотическому кипению «на месте». Она организуетсясообразно процессам, развивающимся во времени. Саморазвитие материи является объектом истории. Она осуществляется через противоречия. Каждый феномен содержит две противоположных тенденции, связанные между собой, но в то же время взаимоисключающие и «борющиеся» между собой. В одном из отрывков Ленин иллюстрирует то, что он называет этим «законом» на следующих примерах. *«В математике + и -. Дифференциал и интеграл. В механике действие и противодействие. В физике положительное и отрицательное электричество. В химии соединение и диссоциация атомов. В общественной науке классовая борьба».*² В синхронии это называется противоречием. В диахронии используется другое слово: борьба старого и нового. Развитие природы осуществляется в борьбе *«отжившего»* и *«нарождающегося»*. Борьба заканчивается

¹ Ленин. Заметки о диалектике Гегеля.

² Ленин. По поводу диалектики.

победой нового, обретающего тогда наименование прогрессивного. Действительно, движение направлено от низшего к высшему. Кривая не круг, а спираль. Однако она не непрерывна. В самом деле, в ней могут быть разрывы, остановки. Значит, мы накануне «качественного изменения». Элементы накапливаются (количественно), а потом происходит рывок вперед. Пример: нужно преодолеть определенный порог напряжения электрического тока, чтобы лампочка начала светиться. Другой пример — революция.

Нет ничего, кроме движения. Спокойствие, равновесие — лишь краткий миг в движении. Только движение вечно и абсолютно. Единство противоположностей, указывал Ленин, мгновенно, преходяще, относительно, тогда как борьба противоположностей абсолютна и никогда не прекращается. Поэтому то, что устарело и реакционно (то есть мешает прогрессивному движению), исключается. Этот общий процесс называется диалектикой, а метод его познания — диалектическим методом. Диалектика — «душа марксизма».

Человек — венец материи, противовес природе. Мысль — высший продукт особой органической материи, мозга. Как таковая, она полностью подчиняется объективным законам, правящим материей. Не трансцендентальный субъект вводит материю в навязанные ей рамки, именуемые законами. Это — «идеализм». *«Признание объективной закономерности природы и приблизительно верного отражения этой закономерности в голове человек есть материализм».*³

Случайности не существует. Ничто не случайно. Все необходимость. Человек по полному праву подчинен детерминизму. Так что для свободного выбора нет места, равно как и для «независимой» души. Каким образом, в таком случае, ставится проблема моральной ответственности человека и, в более общем плане, его свободы?

В своей первой работе (1894) Ленин занимался опровержением Михайловского. Послушаем его: *«Дело в том, что это один из любимых коньков субъективного философа — идея о конфликте между детерминизмом и нравственностью, между исторической необходимостью и значением личности. Он исписал об этом грудю бумаги и наговорил бездну сентиментально-мещанского вздора, чтобы разрешить этот конфликт в пользу нравственности и роли личности. На самом деле никакого тут конфликта нет. Идея детерминизма, устанавливая необходимость человеческих поступков, отвергая вздорную побасенку о свободе воли, нимало не уничтожает ни разума, ни совести человека, ни оценки его действий. Совсем напротив, только при детерминистическом взгляде и возможна строгая и правиль-*

³ Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. Стр. 136.

*ная оценка, а не сваливание чего угодно на свободную волю. Равным образом и идея исторической необходимости ничуть не подрывает роли личности в истории: история вся складывается именно из действий личностей, представляющих из себя несомненно деятелей. Действительный вопрос, возникающий при оценке общественной деятельности личности, состоит в том, при каких условиях этой деятельности обеспечен успех?»*⁴

В этом вопросе Ленин всегда будет неизменным. В 1908 году, опровергая Маха, он вернется к вопросу о свободе и разрешит его следующим образом. Начнет он с цитаты из Энгельса: *«Свобода воли означает, следовательно, не что иное, как способность принимать решения со знанием дела. Таким образом, чем свободнее суждение человека по отношению к определенному вопросу, с тем большей необходимостью будет определяться содержание этого суждения...»*

Затем Ленин добавляет комментарий из 4-х пунктов.

«Во-первых, Энгельс признает с самого начала своих рассуждений законы природы, законы внешней природы, необходимость природы, т.е. все то, что констатируют Мах, Авенариус, неокантианцы».

«Во-вторых, Энгельс не занимается вымучиванием «определений» свободы и необходимости, тех схоластических определений, которые всего более занимают реакционных профессоров... Необходимость природы есть первичное, а воля и сознание человека — вторичное. Последние должны, неизбежно и необходимо должны приспособляться к первой».

«Энгельс признает существование необходимости, не познанной человеком... Точка зрения... материалистическая, признание объективной реальности внешнего мира и законов внешней природы, причем и этот мир и эти законы вполне познаваемы для человека, но никогда не могут быть им познаны до конца. Мы не знаем необходимости природы в явлениях погоды и постольку мы неизбежно — рабы погоды. Но, не зная этой необходимости, мы знаем, что она существует».

*«Энгельс делает прыжок от теории к практике. ... У Энгельса вся живая человеческая практика врывается в самую теорию познания. Давая объективный критерий истины: пока мы не знаем закона природы. Он, существуя и действуя помимо, вне нашего познания, делает нас рабами «слепой необходимости». Раз мы узнали этот закон, действующий ... независимо от нашей воли и от нашего сознания, — мы господа природы. Господство над природой, проявляющее себя в практике человечества, есть результат объективно-верного отражения в голове человека явлений и процессов природы...»*⁵

⁴ Ленин. Что такое «друзья народа». Стр. 111.

⁵ Ленин. Материализм и эмпириокритицизм.

Таким образом, знание спасает человека и делает его хозяином необходимости. При этом объективное знание возможно. На самом деле оно является функцией материи. *«Материя, действуя на наши органы чувств, производит ощущение. Ощущение зависит от мозга, нервов, сетчатки и т.д., т.е. от определенным образом организованной материи».* Через материю материя отдает себе отчет в себе самой. Это даже ее определение. *«Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них».*⁶

Процесс самодвижения материи является в то же самое время с помощью человека процессом самопознания. Из этого следует, что знание одновременно и объективно — поскольку материя точно отражает самое себя — и относительно, поскольку материя продолжает двигаться и отражать самое себя. Ленинизм включает в себя релятивизм, но релятивизмом не является: *«Исторически условны пределы приближения наших знаний к объективной абсолютной истине, но безусловно существование этой истины, безусловно то, что мы приближаемся к ней».* Релятивизм ведет к скептицизму, гностицизму, софистике, субъективизму, ко всему тому, что Ленин считает отвратительным.

«Исторически условно то, когда и при каких условиях мы подвинулись в своем познании сущности вещей до открытия ализарина в каменноугольном дегте или до открытия электронов в атоме, но безусловно то, что каждое такое открытие есть шаг вперед «безусловно объективного познания». Одним словом, исторически условна всякая идеология, но безусловно то, что всякой научной идеологии (в отличие, например, от религиозной) соответствует объективная истина, абсолютная природа».⁷ Критерий же абсолютной истины предоставляет практика. Ленин еще раз цитирует Энгельса: *«Успех наших действий доказывает согласие (соответствие, Ubereinstimmung) наших восприятий с объективной природой воспринимаемых вещей».*⁸ Это сохраняет для ленинизма просторное поле деятельности; эта деятельность освящена абсолютной объективной истиной. И в любую минуту эта деятельность может упрекнуть ее в относительности и осуществить поворот: практика возносит ее в этом случае на новую, более высокую ступень, все более приближающуюся к абсолютной объективной истине.

Можно заметить, что существует история познания наряду с историей материи и, в общем, она одна и та же. Она подчиняется тому же диалектическому закону борьбы противоположностей, борьбы старого и но-

вого. В недавней истории материи, то есть в социальной истории человечества, противопоставлены, с одной стороны, движение к самопознанию и движение, мешающее и препятствующее познанию. Последнему следует присвоить обобщающее наименование «идеализм». С тех пор, как появились люди, и эти люди мыслят, существуют «две фундаментальные линии в философии». Для материалистов «природа господствует над сознанием», для идеалиста — наоборот.⁹ Одна из этих линий проходит через Платона, Беркли, Канта, Хьюма и позорным образом заканчивается Махом, Авенариусом и К. Другая линия начинается от Гераклита, Демокрита, Эпикура, со славой проходит через Гольбаха, Гельвеция и Дидро, победно пересекает двойственного Гегеля, почти совершенна у Фейербаха и Чернышевского и торжествует у Маркса и Энгельса. Самопознание материи заканчивается на марксизме.

Но сражение не закончено. Действительно, по диалектическим причинам, совокупность сознаний не приводит к триумфу истины. Хуже того, путаники стремятся смешать вопросы и в первую очередь замаскировать различие между двумя линиями. И всегда можно обнаружить «за извивами новой терминологии, за сором гелертерской схоластики всегда, без исключения, мы находили две основные линии, два основных направления в решении философских вопросов». Нужно продолжать дело Маркса и Энгельса «беспощадно отмечая, как сор, вздор, напыщенную претенциозную галиматью, бесчисленные попытки «открыть» «новую» линию в философии, изобрести «новое» направление и т.д.»¹⁰ Таким образом, существуют партии в философии, а точнее, две партии. Средняя партия как всегда самая презируемая из всех. Пресловутая беспристрастность это обман и возмутительное лицемерие. Даже если она искренняя, она объективно открывает путь к идеализму. Существует «партийная наука».¹¹ В этом месте мы подходим к области политики.

Прежде чем в нее проникнуть, рассмотрим кратко ленинское мировоззрение. Оно было дано ему целиком еще в молодости, безусловно раньше, чем он начал писать, возможно в эпоху его каникул сосланного студента, когда он читал запоем в семейном поместье Кокушкино. Ни революции, ни углубления, ни прогресса в дальнейшем не замечено. Polemica вынуждала его возвращаться к чтению Чернышевского, Маркса, Энгельса, Плеханова и некоторых других. Но она не побуждала его расширить этот круг. Запас аргументов, которые он у них черпает, представляется ему вполне достаточным. *«Вы ошибаетесь, господин Пуанкаре»,* — заявляет он со спокой-

⁶ Там же.⁷ Там же.⁸ Там же.⁹ Там же.¹⁰ Ленин, Материализм и эмпириокритицизм.¹¹ Там же.

ным бесстрашием¹². Не нужно пытаться поместить концепции Ленина в историю философии, даже упрощенной и огрубленной, так только укрепляется представление о Ленине как о философе. Скорее стоит посмотреть, откуда берутся отрывки, вырванные из философии и сплоченные в этой идеологии. Она представляется некой отжимкой Маркса, а также Энгельса, в первую очередь, «Анти-Дюринга». Последняя книга содержит примерно всю ленинскую космологию, что он, впрочем, охотно признавал. Он не пытался выдать себя за оригинального мыслителя, а лишь за последователя, способного применять те же принципы в исторически различных обстоятельствах. Таким образом упрощенная (предыдущие страницы в достаточно полной мере ее представляют), эта система поражает своим архаизмом. Этот монотеизм материи несколько напоминает космологию натуралистов эпохи Возрождения: хилозоизм, однородная ткань, где все взаимодействует со всем, побуждаемое внутренним движением; макрокосм, содержащий и человека как его наиболее развитый продукт на пути к конечной палингенезису. Похоже на Парацельса, но без его религиозных элементов, да и взаимосвязи между частями помещены не в символическом регистре, где они на самом деле находятся. Слово «движение» употребляется одинаково для характеристики многих явлений без определенной взаимосвязи. Как способ мышления это большой регресс от феноменологического метода и современной научной мысли. Природа, Материя вновь обретают тот статус, которого их лишила критическая мысль XVII и XVIII веков.

Однако в идеологии есть и нечто совершенно самостоятельное. На взаимообусловленности, вытекающей из современных точных наук, настаивают во имя этой космологии. Слово «закон» употребляется для характеристики «борьбы между старым и новым» или «перехода количественных изменений в качественные». Один и тот же тип согласованности, который разумные люди видят в уравнениях Ньютона и Фурье, мобилизован на службу этим сомнительным аналогиям. И те, и другие образуют в совокупности «единую науку». Система образует всеобщие рамки, куда и должны быть помещены все отдельные позитивные законы. И они помещаются в них так хорошо, что каждый в отдельности приносит новое доказательство достоверности целого. В глазах Ленина открытие электронов подтверждает марксизм.

Идеология включает в себя науку, но наука не включает в себя идеологии. Что могли бы ответить Ленину Мах и Пуанкаре? Они не знали бы, с чего начать, на чем основывать обмен аргументами. «*Вы ошибаетесь, господин Пуанкаре*». Но в чем? Право, Пуанкаре этого не понял бы.

Однако Ленин, он-то понимает ослепленность Маха и Пуанкаре. Он понимает даже, почему его не понимают: теория включает в себя и воз-

можного оппонента, понимает его до конца и исчерпывающим образом объясняет. В самом деле, существует социология ошибок и злонамеренности. И существует и противопоставляемая им политика.

Вернемся к изложению ленинизма.

Вот что, по Ленину, сделал Маркс: он продолжил всеобщую науку о природе (или материи) на социальную науку, на человека. Этим Ленин восхищается с первой своей книги, с 1894 года. Он цитирует предисловие к «Капиталу». «*Моя концепция в том, что я увидел в развитии общественных экономических формаций естественноисторический процесс*». Маркс — Дарвин социологии. «*Как Дарвин положил конец воззрению на виды животных и растений, как на ничем не связанные, случайные, «богом созданные» и неизменяемые, и впервые поставил биологию на вполне научную почву, установив изменимость видов и преемственность между ними, так Маркс положил конец воззрению на общество, как на механический агрегат индивидов, допускающий всякие изменения по воле начальства (или, все равно, по воле общества и правительства), возникающий и изменяющийся случайно, и впервые поставил социологию на научную почву, установив понятие общественно-экономической формации, как совокупности данных производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть естественно-исторический процесс*».¹³ Та же наука, что объясняла материю нечеловеческую, начиная с Маркса объясняет материю человеческую. Наука объединилась, поскольку объясняет все, что может быть объяснено, материю и познание материи, и объект, и субъект. До Маркса было известно, что и человек, и космос сотканы из одной материальной ткани, но оставалось придать единый закон этим двум мирам, по сути единым. Маркс это сделал, главные линии мира перед нами открыты, но мы знаем и почему это сделал именно Маркс, почему люди разделены на два лагеря, на две философские партии, на тех, кто приемлет и тех, кто отвергает научную концепцию мира, и почему приемлют, и почему отвергают. Ленин понимает себя и понимает своего противника: он понимает все. Конечно, кое-что еще предстоит узнать. Но зерно абсолютной истины уже дано окончательно. Теперь дело практики дать этому зерну расти, не деформируясь, вплоть до совпадения с абсолютной объективной истиной.

Маркс дал социальному и историческому миру цельную теорию. В этой области ленинизм — ни что иное, как абсолютное доверие марксистскому анализу в том виде, в котором он более или менее кодифицирован Энгельсом, Каутским, Мерингом, Плехановым и мыслителями европейской социал-демократии.

¹³ Ленин, Что такое «друзья народа».

¹² Там же.

Суть марксистского познания, как его понимал Ленин, такова: история — это последовательная смена социальных и политических режимов, приводящая к капитализму. В Западной Европе борьба старого и нового — это борьба между капитализмом и социально-политическим режимом, который должен прийти ему на смену, социализмом. В России борьба старого и нового — это борьба между феодализмом и капитализмом с одной стороны, между капитализмом и социализмом с — другой.

От одного режима к другому переходят только скачком, именуемым Революцией. Борьба противоположностей, которая подготавливает этот скачок, это классовая борьба. Таким образом, любая истинная, правильная, научная теория в прошлом отражала позицию буржуазии в борьбе с феодализмом, сегодня — позицию пролетариата в борьбе с капитализмом. Любое теоретическое различие анализируется с помощью этой схемы: буржуазия или пролетариат. Например, различия в отношении к эмпириокритицизму: *«Тут начинается деление философов российского махизма по политическим партиям... Махист г. В. Чернов, народник, заклятый враг марксизма, прямо идет в поход за «вещь в себе» на Энгельса»*.¹⁴

Таким образом, социальное и политическое сражение — это доказательство марксизма. Марксизм — это объективное отражение в сознании людей зарождения пролетариата. Он объясняет пролетариат и объясняется пролетариатом. Его прогрессивное возникновение в сознании людей параллельно истории борьбы классов. Система замкнута в себе самой, поскольку каждая попытка ее опровержения отражает буржуазное влияние и, следовательно, классовую борьбу, как ее определил сам марксизм. Противоположный аргумент становится новым доказательством правильности системы. Одним словом, существует равенство между самодвижением материи, ее самопознанием в марксизме и ее самопроверке в политическом сражении.

Вот почему марксизм с одной стороны верен, а с другой стороны нужно его защищать всеми средствами. Достоверность не приводит к спокойствию, а напротив, к яростной, не знающей усталости полемике. Быть марксистом, для Ленина значит бесперывно нападать на врагов марксизма.

Михайловскому, своему первому противнику, Ленин наносит удар: *«Теперь — со времени появления «Капитала» — материалистическое понимание истории уже не гипотеза, а научно доказанное положение, и пока мы не будем иметь другой попытки научно объяснить функционирование и развитие какой-нибудь общественной формации, именно общественной формации, а не быта какой-нибудь страны или народа, или даже*

класса и т.п., — другой попытки, которая бы точно так же сумела внести порядок в «соответствующие факты», как это сумел сделать материализм, точно так же сумела дать живую картину известной формации при строго научном объяснении ее, — до тех пор материалистическое понимание истории будет синонимом общественной науки. Материализм представляет из себя не «по преимуществу научное понимание истории», как думает г. Михайловский, а единственное научное понимание ее».¹⁵ Позднее, в статье, появившейся в 1913 году и благодаря своей сжатой форме служащей с тех пор символом веры коммунистического движения, Ленин пишет: *«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Оно полно и стройно, давая людям цельное мирозерцание... Оно есть законный преемник лучшего, что создало человечество в XIX веке в лице немецкой философии, английской политической экономии, французского социализма»*.¹⁶

Исторический материализм Маркса — высшее достижение научной мысли. На место хаоса и произвола, царившего до той поры в исторических и политических концепциях, пришла научная теория, замечательная в своей гармоничности и законченности, показывающая, как из одной формы социальной организации возникает и развивается, в силу роста производственных сил, другая, более высокая форма, например, как капитализм зарождается в феодализме.

Однако марксизм, наиболее научный из всех наук, не может обрести того признания, которого так легко добились физика и химия. Ленин и это предвидел. Та же самая статья начинается со слов: *«Учение Маркса вызывает к себе во всем цивилизованном мире величайшую вражду и ненависть всей буржуазной (и казенной, и либеральной) науки, которая видит в марксизме нечто вроде «вредной секты». Иного отношения нельзя и ждать, ибо «беспристрастной» социальной науки не может быть в обществе, построенном на классовой борьбе. Так или иначе, но вся казенная и либеральная наука защищает наемное рабство, а марксизм объявил беспощадную войну этому рабству»*. Поэтому борьба за научную истину не отделена от классовой борьбы: *«Гениальность Маркса состоит в том, что он сумел раньше всех сделать отсюда и провести последовательно тот вывод, которому учит всемирная история. Этот вывод есть учение о классовой борьбе»*.

Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов».¹⁷

¹⁵ Ленин, Что такое «друзья народа», стр. 94.

¹⁶ Ленин, Три источника и три составные части марксизма, стр. 64.

¹⁷ Там же, стр. 67.

¹⁴ Ленин, Материализм и эмпириокритицизм.

Этим же объясняется и особенность ленинской интонации. Он излагает мысли с тоном очевидности, поскольку пытается затронуть не чувства, а убедить тем, что он считает демонстрацией. У Ленина не красноречие, а уверенность ученого, излагающего факты и доказательства. Сталин был поражен, когда впервые услышал его выступление: *«Меня пленила та непреодолимая сила логики в речах Ленина, которая несколько сухо, но зато основательно овладевает аудиторией, постепенно электризует ее и потом берет ее в плен, как говорят, без остатка... Логика в речах Ленина — это какие-то всесильные щупальцы, которые охватывают тебя со всех сторон клещами и из объятий которых нет мочи выбраться»*.¹⁸

Так Ленин обращается к своим товарищам. Но он знает, что научная истина может пробиться, лишь опровергнув одно за другим измены, ошибки, буржуазные и либеральные фальсификации. Поэтому его статьи, книги и выступления, все собранные в пятьдесят два тома, от начала до конца наполнены яростной агрессивностью, неистощимой и насыщенной оскорблениями. Так он третирует противников. Но агрессивность становится настоящим бешенством, судорожным потоком ругательств, ожесточенным рычанием и топаньем ногами в тех случаях, когда он обращается не к естественным друзьям или естественным врагам, а к предателям, тем, кто по природе своей должен был бы понимать, но из злонамеренности своей делает вид, что не понял. Нормально, если «буржуазные профессора» отрабатывают свою «официальную мзду» и становятся «прислужниками поповщины». Но что сказать о марксистах, *«пытающихся пересмотреть основополагающий принцип марксизма: теорию классово-борьбы»*? Что сказать о большевике, от Маркса отклоняющемся к Маху? Нет достаточно сильных слов. Ренегат! Прислужник! И так далее.

Но нужно еще понять эту подлость. Есть объяснение и предателям, и злоумышленникам. После взрыва негодования Ленин берет себя в руки и представляет полную теорию этого явления. *«В чем заключается его неизбежность в капиталистическом обществе?... Потому, что во всякой капиталистической стране рядом с пролетариатом всегда стоят широкие слои мелкой буржуазии, мелких хозяев... Эти новые мелкие производители так же неминуемо опять выбрасываются в ряды пролетариата. Совершенно естественно, что мелкобуржуазное мировоззрение снова и снова прорывается в рядах широких рабочих партий»*.¹⁹ Знание всегда в конце концов торжествует. Однако буря негодования отнюдь не становится из-за этого неуместной. Классовая борьба захватывает борца целиком.

Все его существо — часть борющейся материи, побеждающей другую ее часть, представляющую прошлое. Ленин включен в одно из двух противоречий, проводящих к новому. Ученый — борец, потому что он ученый, борец — ученый, потому что он борец.

II

«Что делать?» — роман-приобщение, и Рахметов, новый человек, предстает как *совершенный* образец нового типа. Но это совершенство пришло преждевременно, до изменений состояния системы, еще на уровне 60-х годов и, по мнению Чернышевского, как эскиз. Идеолог предшествовал идеологии, и гностик, как человеческий тип, предшествовал гнозису. Ленинизм и есть познание, которого ждал Рахметов, и поэтому личность Ленина является воплощением этого романтического персонажа. *Совершенный* теперь увенчан всеобщим гнозисом, который отделяет его от обычных людей, наполняет его новой несравненной жизнью и оказывается способным зачать ему многочисленных товарищей.

Ленинизм производит грубую и упрощающую кристаллизацию гностических тем и отношений, зачаровавших Россию, и переплавляет их в систему, не так уж нам неведомую.

Единообразный мир, состоящий из более или менее гибкой материи, есть место действия присущего ей конфликта. Этим конфликтом мир двигается во времени в сторону конца времен. Ленинизм, как и манихейство, исповедует *два принципа и три времени*.

Два принципа: ленинизм это дуализм. Материей движет не беспорядок, а пара сил. Противоположности, каждая на своем уровне материального мира, всегда стремятся поляризоваться. На социальном уровне эта поляризация приводит к противопоставлению двух классов. Другие классы произвольно стремятся присоединиться к одному из противоборствующих лагерей. Такая поляризация — благо, поскольку углубляет конфликт и, следовательно, приближает его разрешение. Главным, первым врагом становится в этом случае либерал, примиритель, приспособленец, оппортунист, удерживающий вещи в смешанном и аморфном состоянии и препятствующий таким образом движению. В унаследованном Лениным марксизме борьба противоположностей структуральна (классы); она не всеобъемлюща, как в прежних гнозисах, где два принципа противопоставлялись в пространстве и разделялись зыбкой границей. Но Ленин исправил это упущение, добавив понятие империализма.

Как и другие составляющие системы, теорию империализма придумал не Ленин. Она принадлежит Гобсону и некоторым другим. Но оригинал

¹⁸ Сталин, О Ленине, Сочинения, ОГИЗ, М., 1947, т. 6, стр. 55.

¹⁹ Ленин, 1970, т. 1, Марксизм и ревизионизм, 1970, стр. 42.

нальность Ленина не интересует. Включенная в ленинизм и ставшая главной его частью, эта теория добилась мирового успеха. Ее ложность или несостоятельность не помешали ей сходить за правду прежде всякого критического рассмотрения и не только в глазах коммунистов, но и в глазах некоммунистов тоже. Она выполнила важную функцию: наполнила географическим содержанием социальный дуализм. С появлением империализма борются уже не только классы: целые районы наступают и отступают вдоль движущейся границы. Кроме того, империализм позволяет достойно отступить в случае опровержения классовой борьбы фактами. Если в том или ином регионе пролетариат не играет своей роли противника буржуазии, значит, он развращен империализмом, проникнут идеологией империализма. А на этом основании весь этот регион может быть осужден. И вновь можно взять на вооружение старые дихотомии славянофилов между спасенными и обреченными регионами. Обветшавший девиз славянофилов «ex oriente lux» становится лозунгом коминтерновского конгресса народов Востока. Напротив, английский пролетариат оказался «обуржуазившимся», и вся Англия погрязла в империализме.

Дуализм класса — принцип всеобщей дихотомии. Существует две морали. Ленин не аморален: *«В каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем нравственность?»*

В том смысле, в каком проповедовала ее буржуазия, которая выводила эту нравственность из велений бога. Мы на этот счет, конечно, говорим, что в бога не верим, и очень хорошо знаем, что от имени бога говорило духовенство, говорили помещики, говорила буржуазия, чтобы проводить свои эксплуататорские интересы».

Эту мораль, *«взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем».* Но существует коммунистическая мораль: *«Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата... Мы говорим: нравственность это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, создающего новое общество коммунистов».*²⁰

Есть также две культуры. Но было бы ошибкой полагать, как это делали леваки из пролеткульта, будто пролетарская культура — нечто совершенно новое, самодостаточная целостность, которая единым махом сменит культуру буржуазную. В действительности у двух культур общие корни в глубоком прошлом, и их борьба началась с начала мира: *«... марксизм отнюдь не отбросил ценнейших завоеваний буржуазной эпохи, а, напротив,*

*усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры».*²¹ Но когда смешанное состояние закончилось, когда разделение произошло, поскольку пролетариат взял власть, то ему и обеспечивать триумф истины. Отсюда и основополагающее значение образования. Старая школа претендовала на то, что преподает общую культуру. Но это ложно, поскольку *«каждое слово отвечало интересам буржуазии».* Аполитичное просвещение — буржуазное лицемерие. Главная задача состоит в том, чтобы противопоставить *«нашу правду» «буржуазной правде».* Мало победить буржуазию силой оружия, еще важнее победить ее в идеологическом плане, воспитанием. Потому что все, в том числе трудящиеся массы, должны перевоспитаться. *«Об этой борьбе пролетариата мы говорим совершенно открыто, и нужно каждому человеку стать или по эту, нашу, сторону, или по другую. Все попытки не стать ни на одну, ни на другую сторону заканчиваются крахом и скандалом».* Так, в конце концов, приходят к пролетарской культуре. *«Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества».* Исключений у этого дуализма не бывает. Все созданное трудом человека социального — картина, соната, химическая формула — во всем можно, в конечном счете, увидеть классовую сущность. Этот социальный дуализм подобен тому дуализму, который поляризует и другие области материи. Можно говорить об их Вестминстере (Вестминстере классовых врагов) и о наших электронах, которые могут быть мобилизованы, поскольку приносят с собой новый камень в здании марксизма. Противоречия, приводящие в движение материальную материю, не отличаются от тех, что побуждают социальную материю переходить из состояния уходящего в стадию нового.

Вместе с двумя принципами Ленин исповедовал три времени. Прошлое не отвергалось, как сменявшаяся эпоха, но заслуживало яростной ненависти, если оно длилось в настоящем и развращало его. Ленин безоглядно ненавидит «реакционную» Россию, ее режим и ее культуру, культуру помещиков, капиталистов и черной сотни. Он анализирует Толстого? Это нужно, чтобы разделить в нем реакционное и прогрессивное, осудить первое и восхвалить последнее. Есть хорошее и плохое прошлое, хорошее готовит будущее, а плохое длится дольше, чем ему следовало бы.

И в этом прошлом спасать нечего.

²⁰ Ленин, Задачи союзов молодежи.

²¹ Ленин, О пролетарской культуре, 1970, т. 3, стр. 425.

Будущее не решается, оно готовится. Самодвижения материи достаточно, чтобы обеспечить будущее таким, каким оно должно быть. Все, что нужно, — это расчистить дорогу этому будущему, убрать препятствия с пути его пришествия. Ленин очень сдержан по поводу третьего времени. «Государство и Революция» — его единственный экскурс в будущее. Эта книга — не утопия. Она состоит из цепочки цитат из Маркса, чтобы поддержать критику того, что в «настоящем-прошлом» представляется наиболее достойным того, чтобы продлиться: демократия, свобода. Демократия, показывает Ленин, демократия богатых, она решает, какой угнетатель будет представлять угнетенных в парламенте. Свобода — лишь свобода формальная. В период перехода от капитализма подавление еще необходимо, и государство, которое само по себе *«машина, позволяющая одному классу угнетать другой»*, еще необходимо, хотя и служит вчерашним угнетенным. Лишь при коммунизме государство становится излишним. Но что такое коммунизм? Так вот, тут Ленин идет не дальше фантазмагорий Чернышевского в романе «Что делать?» В ленинском представлении коммунизм — это просто всеобщая самоуправляющаяся бюрократия. *«Учет и контроль — вот главное, что требуется для налаживания», для правильного функционирования первой фазы коммунистического общества. Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства, каковым являются вооруженные рабочие. Все граждане становятся служащими и рабочими одного всенародного, государственного «синдиката». Все дело в том, чтобы они работали поровну, правильно соблюдая меру работы, и получали поровну»*. Мечта сводится к тому, что *«все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством оплаты»*²². Но эта скудость воображения соответствует духу доктрины. Неизвестно, что сделает материя, но известно, что освободившись от своих пут, она сделает это легко. *«Учет и контроль»* уже *«крайне упрощены»* капитализмом, а при коммунизме они будут сведены *«к самым простым операциям наблюдения и записи, знания четырех действий арифметики и выдачи соответственных расписок»*. Тогда поднимется занавес перед обществом, которое как будто продолжает бюрократическое общество вчерашнего дня, с той только разницей, что все будет осуществляться со сказочной легкостью. Кухарки смогут управлять государством. Люди будут жить без усилий, как боги. *«И тогда будет открыта настежь дверь к переходу от первой фазы коммунистического общества к высшей его фазе, а вместе с тем к полному отмиранию государства»*.²³ Но об этом не следует спешить высказываться. *«Марксизму чужды всякие утопии»*.

²² Ленин, 1970, т. 2, Государство и революция, стр. 307–308.

²³ Там же, стр. 309.

Остается настоящее, место разделения того, что умирает, от того, что рождается, что мешает родиться и что мешает умереть. Борец находится на берегу материальной реки, маневрируя дамбами и шлюзами.

Он следит за струящимся потоком и старается задержать только обломки и посторонние предметы. Он следит за чистотой освобожденной материи. И нужно еще, чтобы все граждане стали служащими одного союза. Все, как один, и тогда главное сможет свершиться. Критерий отбора дан теоретическим анализом, но отбор не проходит без борьбы, поэтому настоящее — место принятия политического решения. Правильность решений проверяется чистотой потока, легкостью, с которой течет материя после снятия всех препятствий. Если, несмотря ни на что, поток отказывается течь в предусмотренном направлении, значит есть новые, незамеченные препятствия, значит еще все не слились в одном, и политическая борьба должна возобновиться.

Человек един с материей и подчинен законам детерминизма. Свободы выбора у него нет. Но своей способностью к познанию он может стать главным элементом спасения. Идеи — отображение материи, но, ориентированные в нужном направлении, они играют роль стимулятора. Идеи становятся материальной силой, и это тем непосредственней, чем более они вытекают из практики и к ней возвращаются. *«Точка зрения практики, точка зрения жизни должна быть первичной точкой зрения, основой теории познания»*.

Познание, в рамках ленинизма именуемое теорией, позволяет человеку действовать согласно познанным им законам детерминизма. Теория, как право в прежнем гнозисе, энциклопедична. В самом деле, в едином и однородном мире диалектический материализм — основополагающее мировоззрение. Он вправе оценивать отдельные науки и контролировать их результаты. Если в развитии генетики, лингвистики или любой другой частной науки ученый входит в противоречие с наукой наук, ему следует отступить перед авторитетом последней, держащей в руках само Движение, то есть прогресс, единственно приемлемую форму спасения. Только она одна способна придать *смысл* результатам отдельной науки.

Тем не менее ленинизм не познание, а идеология. Наиболее явной трансформацией является исключение мистических и религиозных элементов. Даже великий миф империализма должен приспособиться к рамкам позитивной теории, ее идеологическое содержание обнаруживается лишь в сопротивлении любым опровержениям. Отсюда и удушающий характер ленинского стиля, цепляющийся за свою псевдопозитивность, прикрывающий огнем ругани бедность интеллектуального материала и замк-

нутый круг аргументации: он прав, потому что это пролетарская доктрина, а пролетариат прав только в том случае, если к этой доктрине присоединяется. Доктрина замкнутая, способная раздробить все, до чего она дотягивается, но не способная его освоить. Ленинизм с первых своих дней неизменен, как те насекомые, которым их корпус не позволяет вырасти.

Переход от познания к «научной» идеологии скрывает тот единственный элемент ленинизма, который может считаться религиозным. В этой системе, где субъект контролирует все операции и держит в руках все ничтожки, все же существует этот неисправимый элемент доверия, сомнения в себе и, говоря прямо, веры в неподконтрольную силу, время. Ленин слепо отдается будущему, как источнику всех благ, всего истинного. Но этот чисто религиозный акт хронолатрии отнят у него идеологией. Он не отдает себе в этом отчет, он не может сделать из него ни достоинства, ни ценности. Ему запрещено его замечать.

Исключение мифологии, поэтики, религиозного начала приводит и еще к одному результату. В прежних гнозисах над космологией двух принципов и историософией трех времен господствовали сверхъестественные существа. Человек, хотя и находился в узловой точке, в ключевом месте всемирного сражения, подталкивался, получал вдохновение, а то и могущественную поддержку от вселенских сил, находящихся вне его. Но в ленинизме нет демиургов, ни плохих, ни хороших, нет ни эонов, ни излучений. В марксизме человек — венец всему. Так что людям, классам людей приходится нести ответственность за космические свершения. В конечном счете именно человек оказывается плохим или хорошим демиургом, и все люди выполняют либо ту, либо другую роль. Из этого следует, что основной связью между людьми может быть не любовь, не согласие, а ненависть. Ленин принимает эту ситуацию безжалостного сражения, где связь между людьми одного лагеря, именуемая солидарностью, оценивается в зависимости от военной обстановки и тоже должна подчиняться внешнему принципу ненависти. Удивительная агрессивность Ленина, которую можно принять за черту его характера и даже за главную его особенность, в такой перспективе утрачивает свой личный смысл и, как и все остальное, должна быть объяснена доктриной.

И последнее. Поскольку космическое сражение — в конечном счете сражение между людьми, то поле битвы, где решается мировое спасение — это поле политики. Если Ленин всю свою энергию отдает политике, то это не вопрос предпочтения и личных вкусов. Просто в идеологии политика — это самое важное, *единственно необходимое*. В результате тот, кто действительно ее понял, сам включается в классовую борьбу и активно в ней участвует. Практически Ленин занимается только полити-

кой, но теоретически это оправдано. Метафизика — не объект систематического развития. Она подразумевается, что вполне согласуется с первичностью практики. Она возникает, лишь когда ее оспаривают, либо когда вмешательство политики влечет за собой и вмешательство теоретическое. Тогда теория вылезает наружу, и Ленин теоретизирует, но не для собственного удовольствия, а потому, что того потребовала политика. Политика немислима без теории. Но она недолюбливает теоретизирование, которое, будучи произнесенным, могло бы ее стеснить или отвлечь от нее. В конечном счете, лучшая теория — это политика, увенчавшаяся успехом. Политика — высший критерий теории.

В идеологии порядок рассуждений прямо противоположен порядку рассуждений в философии. Для последней политика, констатирующая социальную сущность человека, это исходная данность, за ней следует мораль, регулирующая политическую деятельность, и, наконец, метафизика становится конечным объектом созерцания. Идеология сначала ставит вопрос мировоззрения, уже содержащего в себе этику, которая приводит к политике и определяет действие.

Философ отворачивается, в конце концов, от подлунного мира, следуя естественному желанию познавать. Он возвращается к политике лишь из философских соображений. Идеолог, которому знание дано изначально, отворачивается от него, ему же подчиняясь. Он возвращается к теории лишь когда он должным образом уполномочен на то политикой.

Несмотря на все внешнее сходство, соотношение между теорией и практикой в ленинизме не имеет ничего общего с соотношением между догматикой и, соответственно, верой и добродетелью в религии.

В религии, по крайней мере в христианской, вера нам дарована, а добродетелью этот дар проверяется. Догматика чаще всего развивается в ответ на ослабление запаса веры. Она освещает объект веры, но как таковая веры из себя не представляет и для добродетельной жизни не обязательна. Поэтому знание догмы не составляет структурирующего принципа у христиан. Напротив, догма, данная как восстановление истины (*sed contra*), считается неизменной по отношению к истине, которую она стремится представить.

В ленинизме обращение к теории, как и в религии, следует за ересью, за ревизионизмом. Как повторял Ленин, теория связана с практикой, а практика с теорией. Таким образом, теория является принципом, устанавливающим иерархию между активистами. Прекрасный практик должен быть также прекрасным теоретиком, поэтому даже теперь не найдется коммунистического руководителя, не выдающего себя за теоретика. С другой стороны, связь между теорией и практикой приводит к тому, что

они подстраиваются одна под другую, и, если практика того требует, теория претерпевает превращения, что, впрочем, предусмотрено самой теорией под названием диалектика. Руководитель уполномочен решать, является ли то или иное превращение теории ревизионизмом или нет. Теория содержит некоторый запас возможных или уже испробованных вариантов, и всегда можно воспроизвести еще один, не впадая в ревизионизм. Руководство решает, что должно говорить и думать в тот или иной момент, так что складывается некое определяемое временем правоверие, связанное с ситуацией, последней директивой, властью. Однако догмы нет. *«Марксизм, — любил повторять за Энгельсом Ленин, — не догма, а руководство к действию»*. Правоверно то, что возвещает партия в этот момент и в той форме, в которой она это вещает. Она есть правовещание. Тем не менее совокупность вариаций должна воспроизводиться внутри теоретических рамок, являющихся для практики необходимым смесителем. Теоретическая работа состоит в том, чтобы побуждать смеситель действовать, не выплескиваясь и не взрываясь. Его рамки вполне восприимчивы, чтобы предоставлять практике все требуемое и ориентировать ее таким образом, чтобы она сама укрепляла рамки смесителя. И так во всех случаях действие может найти себе оправдание, из которого действие само по себе может, в конце концов, и пристоекать.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛЕНИНИЗМ

Всё в ленинизме и всё в личности Ленина сводится к политике. Но политика обретает совершенно иной смысл, чем в традиционной философии. Согласно Аристотелю, *«различные формы общения являются делом влечения, так как непринужденный выбор жить сообща не что иное, как проявление влечения людей к общению... И государство суть общность семей и селений в прекрасной и независимой жизни, то есть, на наш взгляд, жизни счастливой и добродетельной. Таким образом мы должны провозгласить принцип, что политическое сообщество существует ради блага, а не для того, чтобы жить в обществе»*.¹ Цель политики — общее благо. Но согласно ленинизму, социальная сфера поляризована, расколота на классы и не образует политического сообщества. Не существует общего блага и тем более влечения людей друг к другу. Существует ненависть и война.

Переписывая в 1915 году выдержки из Клаузевица, Ленин заимствовал у него знаменитую фразу: *«Война есть продолжение политики иными средствами»*, полностью ее переиначив, изменив ее смысл на прямо противоположный. Война, по Клаузевицу, может привести, в потенции, к крайностям, и не следует ее замышлять, не предусмотрев и не предвосхитив эти крайности. Поскольку война есть продолжение политики, она сохраняет и цели политики, а именно: раздел по договоренности между независимыми субъектами. Вооруженный конфликт есть способ ведения этих переговоров.²

Раздел, если он приводит к миру, и если этот последний достоин подобного наименования, заодно определяет опытным путем и общее благо. У Ленина же, напротив, у войны, по существу, одна цель — полный разгром, вытеснение и уничтожение врага; и война непременно сопровождается ненавистью, которую Клаузевиц считал бесполезной. И именно потому, что война есть продолжение политики, по существу, она также стремится к полному разгрому врага и его истреблению. Замысел Ленина становится более ясным в свете перевернутой им формулы Клаузевица: политика есть продолжение войны иными средствами.

¹ *Aristote. Politique*, III, 9.

² *R. Aron. 1976, т. II, стр. 61–68.*

Цель политики — уничтожить противника. «Удастся решительная победа революции, — тогда мы разделаем с царизмом по-якобински или, если хотите, по-плебейски... беспощадно уничтожая врагов свободы, подавляя силой их сопротивление, не делая никаких уступок проклятому наследию крепостничества, азиатчины, надругательства над человеком».³ И еще: «Скрывать от масс необходимость отчаянной, кровавой, истребительной войны, как непосредственной задачи грядущего выступления значит обманывать и себя, и народ».⁴ Победить — значит уничтожить, навсегда лишить врага возможности восстановить свои силы. Так, в апреле 1918 года «буржуазия побеждена у нас, но она еще не вырвана с корнем, не уничтожена и даже не сломлена еще до конца. На очередь дня выдвигается поэтому новая, высшая форма борьбы с буржуазией, переход от простейшей задачи дальнейшего экспроприирования капиталистов к гораздо более сложной и трудной задаче создания таких условий, при которых бы не могла ни существовать, ни возникнуть вновь буржуазия».⁵

Середины не существует. «Либо победа над эксплуататорами в гражданской войне, либо смерть революции». К этому времени (январь 1918 года) гражданская война фактически не началась. Но она существовала невидимо: «Ибо в эпоху революции классовая борьба неминуемо и неизбежно принимала всегда и во всех странах форму гражданской войны, а гражданская война немыслима ни без разрушений тяжчайшего вида, ни без террора...»⁶ Это не Ленин хочет войны. Она существует на деле, в каждый момент. Она всегда объявлена, и социальный мир означает либо надувательство, либо признание поражения. Эта война — война не на жизнь, а на смерть, и ее завершением становится революция. Следовательно, заниматься политикой значит готовить революцию.

Революцию Ленин рассматривает сквозь призму власти. «Коренной вопрос всякой революции есть вопрос власти в государстве».⁷ Это один из тех вопросов, где Ленин более всего отходит от народнической традиции, которая отдавала предпочтение общественным отношениям до такой степени, что пренебрегала и даже порой отказывалась от политической борьбы. Некоторые народники мечтали о медленном изменении общества на уровне ниже государственного, вне поля зрения и действия

государства. Ленин представляет борьбу «противоположностей» в виде противостояния двух армий, организованных, со своим командованием, с четкой иерархией. И высшая форма этой организации — государство.

Совершить революцию — это значит завоевать государство. Несомненно, такая точка зрения порождена ленинским весьма решительным и пылким манихейством. Два лагеря противостоят друг другу, подобно двум континуумам материи-сознания, и самосознание концентрируется, с одной стороны, в государстве, а, с другой стороны, в партии, которая призвана стать государством. Государство и его близнец — партия занимают у Ленина место архонтов в манихейских космических конфликтах. Оба лагеря знают, что они делают. Они пребывают на вершине в высшей степени персонализированные, отнюдь не невинные и вполне ответственные за свои действия.

Борьба противопоставляет классы, но ее исход решается на уровне государства. Поскольку не существует политического сообщества, государство состоит на службе у одного класса, и его функция — быть не арбитром в споре, а обеспечивать господство. И так было всегда: «Мы имеем в истории человечества десятки и сотни стран, переживших и переживающих сейчас рабство, крепостничество и капитализм. В каждой из них, несмотря на громадные исторические перемены, которые происходили, несмотря на все политические перипетии... вы всегда видите возникновение государства. Этот аппарат, эта группа людей, которые управляют другими, всегда забирает в свои руки известный аппарат принуждения, физической силы, все равно, выражается ли это насилие над людьми в первобытной дубине или в эпоху рабства в более усовершенствованном типе вооружения, или в огнестрельном оружии, которое в середине века появилось, или, наконец, в современном, которое в XX веке достигло технических чудес и целиком основано на последних достижениях современной техники... Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы».⁸ Это угнетение есть, по существу, насилие. Это не видно невооруженным глазом. Буржуазное государство, прикрывающееся личиной демократической республики, «не может говорить правду и вынуждено хитрить». Но оно при этом не меньший угнетатель. «И нигде это подавление рабочего движения не происходит с такой беспощадной свирепостью, как в Швейцарии и Америке». Что же до советского государства, то оно открыто и без всяких околичностей заявляет, что оно есть диктатура.

³ В.И. Ленин. Две тактики социал-демократии с демократической революции. — Избранные сочинения в трех томах. М., 1970, т. 1, стр. 460–461.

⁴ В.И. Ленин. Уроки Московского восстания. Там же, стр.

⁵ В.И. Ленин. Там же, т. 2, стр. 598.

⁶ В.И. Ленин. Письмо к американским рабочим. Там же, т. 2, стр. 716–728.

⁷ В.И. Ленин. О двоевластии. Там же, т. 2, стр. 16–18.

⁸ В.И. Ленин. О государстве. Там же, т. 3, стр. 195–198.

Полемика борьбы является, следовательно, государством. Ленин, стратег мировой революции, — решительный интернационалист. Но международное общество, обитель классовой борьбы, представляет собой как бы цепь государств. Империализм может противопоставить друг другу некоторые государства к величайшей пользе революционного движения, но их классовая природа остается неизменной. Они солидарны. Задача революционеров, где бы они ни были, разорвать звено в этой цепи государств, а именно в государстве, под властью которого они действуют. Когда эта цепь разорвана в одном месте, с созданием Советского государства, главная задача революционеров — не допустить, чтобы она была восстановлена и чтобы ради тактического успеха была поставлена под угрозу главная цель — победа над империализмом.

Государство венчает социальную совокупность, которую оно представляет. Борьба, стало быть, не может развиваться только в узкой сфере политики. Революционное движение проявляет большую активность и на фронте экономической борьбы. Оно не остается безучастным к требованиям рабочими заработной платы и условий жизни. Оно действует активно и на «фронте идеологической борьбы». Оно разоблачает буржуазную ложь и старается распространять классовую истину в рядах класса, который призван восстановить истину. Но эта всесторонняя борьба подчинена определенной иерархии, как и сама реальность, иначе говоря, она может быть оценена только после своего решительного завершения, с завоеванием государственной власти. Профсоюзную борьбу и пропаганду следует отличать от борьбы политической в узком смысле слова, такой, какая ведется в нормальных политических условиях, но они часть общей политической борьбы, ее специализированные ответвления. Ленинизм не бланкизм, в чем обвиняли его противники из числа классических социал-демократов, полагавшие, что Ленин слишком рассчитывал на политические средства, в узком смысле этого слова. Обвинение было несправедливо. В зависимости от обстоятельств Ленин мог отдать предпочтение политике или, наоборот, использовать движение масс, или ликвидировать пробел в теории: каждое из этих действий следует расценивать как политические действия, как моменты глобальной политической борьбы. Ленинизм не бланкизм, но *политизация*. Все сводится к политике, а политика сводится к захвату власти.

Эта политизация освещает такую ленинскую черту, как нетерпение, желание опередить время. Классический марксизм, меньшевистский и плехановский, был внимателен к созреванию условий. Он считал необходимым подождать, пока русское общество достигнет такой степени развития, которая сделает его способным к тому, что именовалось «буржуазной революци-

ей». Только когда эта последняя принесет все свои плоды, только тогда можно будет подумать о «социалистической революции». Если ускорять движение, если стремиться совершить социалистическую революцию прежде, чем для этого созреют все условия, то можно прийти к чудовищной путанице, к диктатуре, а то и того хуже. Однако для Ленина не было ничего хуже, чем сохранение в силе царизма, разве только буржуазная революция, которая привела бы к упрочению либерального правительства. Будучи марксистом, он вынужден был признавать, что буржуазная революция является неизбежным этапом между «феодальным» царизмом и социализмом, но он хотел, чтобы государство стало бы сразу пролетарским государством (т.е. революционной партией, преобразованной в государство) и чтобы именно оно взяло на себя руководство этой буржуазной революцией. Оно руководило бы ею на террористический манер, «по-якобински», «по-плебейски» и сохранило бы способность судить, в какой момент и каким путем следует переходить к следующей, «социалистической» фазе. От начала и до конца государство удерживало бы власть. «Коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти», а не вопрос о существующих социально-экономических предпосылках, разве что они заранее ставят под угрозу шансы на власть. Отправляться в своих рассуждениях следует от власти, от возможности захватить и удержать ее, а остальное приложится. Сочтя, что мировая война открывает возможность разорвать империалистическую цепь государств и завладеть русским государством, он тотчас решил начать подготовку мировой революции. Неважно, что бедственное положение России заранее обрекало на неудачу идею социализма, в понимании II Интернационала. Для него главное — начать революцию.⁹ Он приводит слова Наполеона: «*On s'engage et puis ... on voit*». В вольном русском переводе это значит: «Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уж видно будет». Но когда надежда на мировую революцию не оправдалась, то главным стало защитить оплот мирового пролетариата, Советское государство, и, опираясь на него, возобновить рано или поздно процесс мировой революции. Именно тогда обрело свою важность понятие империализма, которое придает географическое содержание классовому конфликту. Империализм и социализм противостоят друг другу, как две смежные территории с подвижной границей, как два государства, конкурирующие в экспансии.

⁹ «Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры (хотя никто не может сказать, каков именно этот определенный «уровень культуры», ибо он различен в каждом из западноевропейских государств), то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы». В.И. Ленин. О нашей революции. — Там же, т. 3. стр. 720.

Политизация Ленина — это также и волюнтаризм. Дело в том, что две противостоящие друг другу материальные самоорганизующиеся противоположности подчинены сознательной воле политических актеров. Разумеется, эти последние связаны по необходимости, они могут действовать эффективно, только следуя научным законам, которые направляют их. Но обладая благодаря марксизму совершенным знанием законов, революционная партия у власти сможет обеспечить материи идеальные условия ее саморазвития. Она приводит в порядок поле, устраняет препятствия, указывает правильное направление, и все пойдет, как по маслу, очень просто и, главное, гораздо быстрее. Власть обеспечит развитию истории более короткий путь. Стало быть, никогда не рано взять власть, и сама возможность взять ее доказывает, что момент для этого наступил.

II

*«Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем».*¹⁰

Нужно отличать партию от древних и современных заговоров и конспиративных групп. Они являются политическими по своим целям: речь идет о захвате власти внутри общества, которое остается политическим и после захвата власти, поскольку сохраняет свою структуру. Партия же является политической по своим средствам. Речь идет о захвате власти с целью преобразования общества в соответствии с планом и в такой степени, что политика была бы упразднена путем стихийной саморегуляции самого общества. Политизация призвана исчезнуть в революции, которая сделает ее бесполезной и приведет к роспуску самой партии.

Партия есть естественный продукт идеологического гнозиса. Если несколько человек обладают абсолютной истиной, предполагающей план переустройства общества и предусматривающей политическое действие, то они стремятся организовать в партию. Так сделали якобинцы в точном соответствии со своей идеологией. Таковы группы, весьма многочисленные, которые образовались вокруг различных идеологий в Европе периода Реставрации и Июльской монархии. Известно, сколь преждевременно Россия завезла этот обобщенный карбонаризм. Движение декабристов уже может сойти за местную версию международного левого романтизма. Затем следует непрерывный ряд, о котором уже шла речь: философская версия Бакунина, преступная версия Бакунина и Нечаева, затем Ткачев, «Земля и воля» и так далее.

¹⁰ В.И. Ленин. Что делать? Там же, т. 1, стр. 86.

Идея партии, как и многие другие, неоригинальна у Ленина. Большинство черт большевистской партии можно уже наблюдать у народнических и марксистских организаций шестидесятых и восьмидесятых годов. Ленин не возражал против этого. Он восхищался той «...превосходной организацией, которая была у революционеров 70-х годов и которая нам всем должна бы служить образцом»¹¹, а именно «Землей и волей». «Нам нужны социал-демократические Желябовы», — пишет он, оправдывая частично «Народную волю». И наконец: «Подготовленная проповедью Ткачева и осуществленная посредством «ужасного» и действительно устрашавшего террора попытка захватить власть была величественна...»¹² В предшественниках Ленина восхищает эффективность их заговорщической деятельности. Наряду с этим он критикует политическую неэффективность. Необходимо понять, каким образом у Ленина заговор и политика не противостоят друг другу, но политика вытекает из заговора путем придания этому последнему всеобщего характера.

Всякая дуалистическая мысль представляет себе мир как бы разделенным между двумя организованными, но скрытыми силами. Каждое знание, каждая идеология предполагает, что позади мира существует другой, скрытый мир, единственно реальный, единственно действующий. Из этого следует, что партия сплачивается не для того, чтобы замыслить заговор, но чтобы воспрепятствовать заговору, который ей угрожает и открытие которого есть эврика идеологии. Партия представляет себя вначале как контрзаговор. Можно было бы нарисовать целую сеть заговоров и контрзаговоров, которые окрасили полярностью значительную часть XIX века, если б не страх оказаться зараженным безумием подобной истории. Но надо все-таки вспомнить о масонском заговоре, который аббат Баррюэль усмотрел в создании ордена иллюминатов в Баварии и который он считал повинным во всех бедах Французской революции. Такой взгляд не мог не повлиять на тех, кто основал при Реставрации общество Рыцарей веры. Это последнее послужило достоверной основой мифа о Конгрегации, который породил, в свою очередь, контрорганизации революционеров времен Июльской монархии. С мифом о Конгрегации слился более старый миф о заговоре иезуитов, который датируется XVIII веком и не мог не вызвать контробраз масонского заговора. Темные дела Ордена Иисуса, вызвавшие ужас и возмущение Мишле и Кине, породили в России, где иезуитский миф нашел самую благоприятную почву, революционные фантазии. Несомненно, Бакунин и Нечаев задумыва-

¹¹ Там же, стр. 189.

¹² Там же, стр. 221.

ли партию как подражание Ордену иезуитов, такому, как его описывали Мишле, Кине и распространители мифа, но подражание наоборот.

В конце века сила воздействия иезуитского заговора ослабла, уступив место заговору евреев. Сфабрикованные по русскому заказу «*Протоколы сионских мудрецов*» породили контрзаговор Черной сотни. И так далее. Заговоры и контрзаговоры порождали друг друга *a contrario* и чертили своего рода генеалогический зигзаг. Однако следует отметить, что подлинные заговоры создаются для того, чтобы парировать заговоры воображаемые. Так партия философов действительно старается организовать, дабы защититься от иезуитства, уже давно умирающего. Этой партии философов не существовало уже, когда появились Рыцари веры. Конгрегация и Орден Иисуса существовали уже лишь как фантастическое оправдание для различных группок, которые создавались якобы для того, чтобы противостоять им. Так же было и с евреями. Это не значит, что евреи или иезуиты не существовали. Как раз наоборот, они существовали, но совсем не в организованной и конспиративной форме, как то представляли идеологии. Однако их простое существование служило пищей для фантазий и мнимым доказательством реальности космической угрозы, которую они представляют, и неотложности мер, которые следует принять против них. Заговор и контрзаговор не симметричны: последний является реальным и первичным, хотя он представляет себя оборонительным и вторичным. Контрзаговор является следствием идеологии. Заговор существует лишь в свете идеологии, где он получает отвратительно агрессивный оборот. Евреев или иезуитов, которые в этом деле играют пассивную роль, обвиняют, как агрессоров, и требуют от них, чтобы они оправдывались. Но их оправдание, если они по неосторожности прибегнут к нему, вскоре будет изобличено и присоединено к обвинительному акту.

Идея контрзаговора соразмерна идее заговора. Партия берет за образец врага, от которого она хочет защитить себя. Если в идеологии враг локализован, партия обозначает себе границы как в количественном, так и в качественном отношении, но если враг всеобъемлющ, то партия тоже должна стать всеобъемлющей. Евреи и иезуиты образуют часть реальности, довольно небольшую, и не обязательно, в принципе, создавать большой аппарат, чтобы устранить их. Но, по-видимому, воплощая в дуалистическом мировоззрении противоположный принцип, эти ограниченные группы были наделены безмерной силой и против них следовало принять самые широкие контрмеры.

В России враг с самого начала был вездесущим. Целью партии, как ее определил Бакунин за целое поколение до того, как появился малейший

намек на саму партию, было «*полное разрушение всей структуры общества*». ¹³ Успех идеологии состоял в познании во всех измерениях того общества, которое следовало разрушить. С появлением марксизма, который значительно расширяет классификацию зла, понятие врага уже не ограничивается только группой людей. Речь идет о глубинной структуре всего общества во всех его параметрах, с его экономикой, его стратификацией, с его политической и культурной жизнью, которая преподносится в форме заговора. Венчает этот заговор *империализм*: вот почему партия, утверждая себя как контрзаговор, образует из этого факта некое контробщество, столь же всеобъемлющее, как то, другое. Все ее касается, и ничто не оставляет ее равнодушной. Ничто человеческое ей не чуждо.

Ленин уклоняется от интерпретации или скорее практики социал-демократов, которые стремились ограничить действия партии социальными и профессиональными интересами рабочего класса. Партия не является подспорьем профсоюза. «*Социал-демократия представляет рабочий класс не в его отношении к данной только группе предпринимателей, а в его отношении ко всем классам современного общества, к государству как организованной политической силе*». ¹⁴ По своему образу действий партия является рабочей, но по существу она общенародная. «*Сознание рабочих масс не может быть истинно классовым сознанием, если рабочие на конкретных и притом непременно злободневных (актуальных) политических фактах и событиях не научатся наблюдать каждый из других общественных классов во всех проявлениях умственной, нравственной и политической жизни всех классов, слоев и групп населения*». ¹⁵

Несколько ниже он вновь обращается к этой теме: «*Мы хотим знать все то, что знают другие, мы хотим подробно познакомиться со всеми сторонами политической жизни...*» Ленин возвращается к этому многократно. Деятельность партии всеобъемлюща во всех направлениях, как всеобъемлюще ее теоретическое знание. Пришло время сказать несколько слов о наиболее известном аспекте ленинизма: об отношениях партии с рабочим классом.

Партия «*представляет рабочий класс*» в его отношениях со всем обществом, но в своих отношениях с рабочим классом она представляет знание теоретическое, идеологию.

Маркс превратил рабочий класс в класс-избранник. Мессианизм присущ рабочим: «*Освобождение трудящихся дело рук самих трудящихся*».

¹³ См. выше, главу V. О партии, контробществе см.: А. Krigel. 1968, стр. 94 и далее.

¹⁴ В.И. Ленин. Что делать? 1970, т. I, стр. 125.

¹⁵ Там же, стр. 136.

Рабочая партия у Маркса неотделима от рабочего класса: «*Партия в су-
зубо историческом смысле слова*» означает совокупность сил, с помо-
щью которых проявляется «самодетельность» и «самоосвобождение»
рабочего класса, и политическая борьба всегда обесценивается рядом с
организующей деятельностью пролетариата внутри общества.¹⁶

Таким образом марксизм, даже перегруженный мессианством и теоре-
тическим аппаратом, служившим его оправданию, сохранял свою связь с
реальностью. Речь идет о боевом выходе на историческую арену новой со-
циальной группы, завоевывавшей свое место в гражданском и политичес-
ком обществе. Этот процесс, отбросив всякую эсхатологию, вполне может
быть назван *классовой борьбой*. Вот почему в течение некоторого време-
ни марксизм мог сопутствовать рабочему классу, ставшему самостоятель-
ной политической силой внутри политического, то есть конфликтного, об-
щества. Социал-демократический марксизм является политическим, по-
литическим — в смысле, противоположным идеологическому.

Не так виделся процесс освобождения Ленину. Освобождение не мо-
жет быть следствием эмпирических усилий некой группы решительных
людей, действующих на свой страх и риск, путем проб, ошибок и исправ-
лений. Освобождение это результат распространения во всех заинтересо-
ванных социальных слоях освободительного учения, знания, теории, «со-
знания». Однако спасительное сознание не возникает стихийно внутри
социальной группы, на которую оно возлагает спасительную миссию.

В связи со стачкой 1896 года в Санкт-Петербурге Ленин отметил, что
рабочие стихийно выступают в защиту своих специфических интересов, но
не усваивают стихийно идеологии. В 1902 году в своей работе «Что де-
лать?» он пришел к следующим выводам: «*Взяты сами по себе, эти стач-
ки были борьбой тред-юнионистской, но еще не социал-демократической,
они знаменовали пробуждение антагонизма рабочих и хозяев, но у рабочих
не было, да и не могло быть сознания непримиримой противоположности
их интересов всему современному политическому и общественному строю,
то есть сознания социал-демократического... Оно могло быть принесено
только извне. История всех стран свидетельствует, что исключительно
своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать
лишь сознание тред-юнионистское...*» Тогда откуда приходят идеи? Сами
идеи возникают как постепенное озарение, приходящее к профессионалам
от интеллигенции, которые, в силу исторических обстоятельств, могут при-
надлежать к «буржуазии», из которой эти идеи и извлекают своих авторов
ipso facto. «*Учение же социализма выросло из тех философских, историче-*

*ских, экономических теорий, которые разрабатывались представителями
имущих классов, интеллигенцией. Основатели современного научного соци-
ализма, Маркс и Энгельс, принадлежали и сами, по своему социальному по-
ложению, к буржуазной интеллигенции. Точно так же и в России теоре-
тическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от
стихийного роста рабочего движения, возникло как естественный и неиз-
бежный результат развития мысли у революционно-социалистической ин-
теллигенции».*¹⁷ Это представляется несколько странным переходом от ре-
ального рабочего класса к теории рабочего класса. Это также неожиданная
перекрыжка традиционного марксизма. «*Бытие более не определяет созна-
ния, идеи более не «отражают» общественное положение, но развивают-
ся стихийно, следуя своей собственной логике, независимо от классовой
или какой-либо иной принадлежности, и в итоге оказывается, что они оп-
ределяют бытие. Более того, бытие, пролетариата в конечном счете оп-
ределяется сознанием интеллигентов... Поскольку рабочие, предоставлен-
ные сами себе, могут мыслить лишь смутно и неадекватно их собствен-
ному историческому положению, то именно мелкобуржуазным
интеллигентам, ставшим профессиональными революционерами, и надле-
жало, по мнению Ленина, образовать ядро партии и взять на себя миссию
внести пролетарское сознание и знание «в ряды пролетариата».*¹⁸ Суще-
ствует разрыв между пролетариатом и идеей пролетариата. Подобно плато-
новскому демиургу, партия, зачарованная идеей пролетариата, переделыва-
ет рабочий класс, дабы он походил на свой идеальный образец.

В ленинском манихействе, следовательно, два уровня. С одной сторо-
ны, не существует правовой и фактической общности интересов между
различными социальными группами; пролетариат не считает себя ни в
чем обязанным другим классам, судьба которых, счастливая или несчаст-
ливая, будет автоматически решена самим фактом его победы, победы со-
циализма. Но, с другой стороны, партия не несет более обязательств в от-
ношении пролетариата. Она «представляет» его не на основании демо-
кратического, а на основании мистического представительства. Она
связана лишь высшими интересами социализма, как их определяет идео-
логия. Она интересуется рабочим классом лишь в той мере, в какой ему
отводится этой идеологией особая роль. Если рабочий класс покажет се-
бя неспособным сыграть предназначенную ему роль, если он в какой-то
мере предаст «пролетариат» и «социализм», партия будет относиться к
нему так же, как она относится к «буржуазии» или любому другому

¹⁷ Ленин, 1970, т. 1, стр. 103–104.

¹⁸ К. Рапаиоанну, 1964, т. 1, стр. 9.

¹⁶ См.: К. Рапаиоанну, 1964.

враждебному классу. Она позаботится тогда заявить, что Рим не пребывает более в Риме; что пролетариат весь целиком пребывает там, где находится партия, и что рабочий класс, чья душа путем метемпсихоза перенеслась в партийный аппарат, получил взамен мелкобуржуазную душу.

Как известно, на практике ленинизм с глубоким недоверием относится к любой организации, Совету или профсоюзу, которую рабочий класс мог бы создать для себя сам. Рабочий класс — это одно из полей, где противостоят друг другу две антагонистические идеологии. Он чрезвычайно пассивен и получает свой импульс извне. «...*Всякое преклонение перед стихийностью рабочего движения, всякое умаление роли «сознательно-го элемента», роли социал-демократии означает тем самым, — совершенно независимо от того, желает ли этого умаляющий или нет, — усиление влияния буржуазной идеологии на рабочих*». ¹⁹ До, как и после взятия власти, рабочий класс — это *prima materia*.

Ввиду таких отношений между классом и партией, последняя может сохранять почти в полной неприкосновенности свою конспиративную структуру, унаследованную от предыдущих поколений.

Ленин краток и сдержан, когда речь идет о внутренней организации партии. Эти вопросы были уже решены народниками. Дух катехизисов, Бакунина, Чернышевского стал второй натурой партии. Разумеется, было бы политически недальновидно говорить об этом. Партия стабильна, централизована, законспирирована, отборная по своему составу. «*Единственным серьезным организационным принципом для деятелей нашего движения должна быть: строжайшая конспирация, строжайший выбор членов, подготовка профессиональных революционеров*». ²⁰ Ядро партии составляют люди, чья профессия — революционная борьба. Они должны пройти специальное обучение. «...*Люди должны с терпением и упорством вырабатывать из себя профессиональных революционеров*». ²¹ Внутри партии исчезают все социальные различия, *новые люди* отказываются от них, вступая в организацию. В общих чертах профессионального революционера «*должно стираться всякое различие рабочих и интеллигентов*». ²² Партия вне классов, она совершенно однородна.

Объединяет и сплачивает партию «...*нечто большее, чем демократизм, именно: полное товарищеское доверие между революционера-*

ми». ²³ Нет нужды в выборных процедурах, порождающих *фракции* и расколы, поскольку революционеры объединяются на основе единого и непогрешимого учения. Партия является его хранителем, вот почему она не допускает свободной критики. Можно ли критиковать то, что, будучи наукой, обязывает к согласию умов? Только по злему умыслу. «*Люди, действительно убежденные в том, что они двинули вперед науку, требовали бы не свободы новых воззрений наряду с старыми, а замены последних первыми*». ²⁴ Пролетарская наука рождает единогласие, а оно скрепляет единство партии.

Сердце партии — это отнюдь не стабильный состав профессиональных революционеров, а нечто нематериальное — идеологическое знание. И вот третья и последняя ступень ленинского манихейства: член партии не ответственен перед партией на том же основании, на каком партия не ответственна перед пролетариатом, а этот последний — перед другими классами общества. Он ответственен перед социализмом. Ведь каждое мгновение партию терзает изнутри та же враждебная сила, что оспаривает у нее вовне рабочий класс, — буржуазная идеология. Вот почему свобода критики невозможна: «*свобода критики*» есть *свобода оппортунистического направления в социал-демократии, свобода превращать социал-демократию в демократическую партию реформ, свобода внедрения в социализм буржуазных идей и буржуазных элементов*». ²⁵ «Полное доверие» — неременное условие. Подозрение, павшее на товарища, разрывает солидарность и выбрасывает его *ipso facto* из рядов партии. Подозрение может коснуться любого вопроса единой доктрины, любой теоретической ошибки, за которой следует ошибка политическая, и любой политической ошибки, корни которой восходят к ошибке теоретической. Причина у обеих одна: проникновение буржуазной идеологии. Таким образом, партия вся целиком была в этом отношении *prima materia*, проницаемой для одной или другой идеологии. Один единственный партиец может стать, один среди всех других, носителем истинного знания. И тогда не будет иного средства, как борьба внутри самой партии. Если знание распространяется нормальным путем (путем убеждения, критики и самокритики), то единство будет сохранено. В противном случае придется прибегнуть к расколу. Вся история большевистской партии, с ее бесчисленными чистками и расколами, свидетельствует о том, что для Ленина лучше пожертвовать числом и влиянием партии, чем ее сутью, то есть «монолитным»

¹⁹ В.И. Ленин. Что делать? Там же, т. 1, стр. 109.

²⁰ Там же, стр. 194.

²¹ Там же, стр. 182.

²² Там же, стр. 171.

²³ Там же, стр. 194.

²⁴ Там же, стр. 85.

²⁵ Там же.

единством, скрепленным идеологией, подобным биологической клетке с ее генетическим кодом. Когда партия создана, когда идеология нашла место для воплощения, хоть в какой-то степени (моментами партия сокращалась почти до одного Ленина), все становится возможным, так как возникает принцип, логос нового мира. *«Дайте нам революционную организацию и мы перевернем Россию»*.²⁶ А затем и весь мир.

С созданием партии космическая борьба обрела свой центр. Вокруг партии концентрическими кругами располагаются враги и друзья. Центральная позиция партии позволяет привести в логический порядок политический мир.

III

Сердце враждебного мира столь же нематериально, как и сердце партии. Оно структурное: это *феодализм* для некоторых локальных и зависимых зон огромного конфликта (в частности и в России), это в более общем плане *капитализм* и в конечном счете *империализм*. Империализм представляет естественного врага партии. Он предмет ее неослабной ненависти, конечно, но рутинной, почти профессиональной. Идеологически сплоченный, он манипулирует людьми; следовательно, речь идет не о личной ненависти к какому-то хозяину, к какому-то государственному деятелю и даже к какому-то влиятельному сотруднику полиции противной стороны: они делают свое дело, и чувства, которые они могут вызывать, должно перенести на структуру. Индивидуальная же ненависть обращена на людей, которые находятся между двух лагерей; благодаря своему социальному положению и интеллектуальному развитию они способны выбирать свой лагерь и, отказываясь сделать это, тормозят развитие борьбы и затмевают столь необходимое сознание. На границе лагеря буржуазии находятся *либералы* и, в частности, *либеральная интеллигенция*. Ленин не упускает случая выразить им свое презрение. Если ему надо, например, похвалить Герцена, он хвалит его за то, что тот порвал *«...с одним из отвратительнейших типов либерального хамства»*²⁷ (с почтенным профессором Кавелиным). *«Либеральная утопия претендует на возможность достигнуть мало-мальски серьезных успехов, идя по пути мира и доброго союза, никого не задевая, без ожесточений, доведенной до конца классовой борьбы»*.²⁸ *Либерализм* в ленинском словаре противостоит *демократизму*, который означает «революционный»: *«Утопия либералов развращает демократическое сознание масс»*.²⁹

²⁶ Там же, стр. 278.

²⁷ В.И. Ленин. Памяти Герцена. Там же, т. 1, стр. 548.

²⁸ В.И. Ленин. Две утопии, 1948, стр. 663.

²⁹ Там же.

Ближе к партии оппортунист, находящийся на самой границе пролетарского лагеря и потому бесконечно более ненавистный. *Оппортунизм* это либерализм в рабочем движении. Стало быть, и это слово — антоним революционности. Все социал-демократические партии Европы, включая русскую, познали *«...основное деление... на революционное и оппортунистическое крыло»*.³⁰ Борьба против оппортунизма это сизифов труд. Ибо оппортунизм многолик. Он поражает организационные вопросы, а следовательно и структуру самой партии. Он распространяется на *«основные вопросы нашего мирозерцания»*³¹ и на программу. Он затрагивает и вопросы тактики. Оппортунизм возрождается в новых формах, скрытых, латентных: *«...не следует никогда забывать характерной черты всего современного оппортунизма во всех и всяческих областях: его неопределенности, расплывчатости, неуловимости. Оппортунист, по самой своей природе, уклоняется всегда от определенной и бесповоротной постановки вопроса, отыскивает равнодействующую, вьется ужом между исключаящими одна другую точками зрения, старясь «быть согласным» и с той и с другой, сводя свои разногласия к поправочкам, к сомнениям, к благим и невинным пожеланиям и проч. и проч.»*³² *Согласный* в вопросах программы и оппортунист в вопросах тактики — это *реформист*. Революционер в вопросах тактики и оппортунист в организационных вопросах — это *меньшевик*. Клеймить оппортунизм, в каких бы глубоких тайниках он ни укрылся, является главным стимулом интеллектуальной деятельности Ленина. Случается, что оппортунизму удается продвинуть своих эмиссаров в непосредственное окружение центра. Тогда они достигают вершины своей развращающей деятельности. Существует два вида оппортунистов, которые подрывают два столпа партии: во-первых, учение и, во-вторых, организацию. В первом случае это *ревизионисты*, во втором — *ликвидаторы*.

В концентрическом порядке, подобно противникам партии, которых, однако, следует перечислять, отправляясь от центра, располагаются и союзники партии.

Необходимо проводить различие между теми, кто зависит непосредственно или косвенно от партии, и случайными или тактическими союзниками партии. У первых наблюдается определенная иерархия на манер «гностической» в зависимости от степени знания и, следовательно, от организации и конспирации. В соответствии с этими последними критериями Ленин перечисляет их в следующем порядке: *«...1) организации рево-*

³⁰ В.И. Ленин. Шаг вперед, два шага назад. — Там же, т. 1, стр. 404.

³¹ Там же.

³² Там же.

люционеро́в; 2) организации рабочих... Эти два разряда составляют партию. Далее, 3) организации рабочих, примыкающие к партии; 4) организации рабочих, не примыкающие к партии, но фактически подчиняющиеся ее контролю и руководству; 5) неорганизованные элементы рабочего класса, которые отчасти тоже подчиняются, по крайней мере в случаях крупных проявлений классовой борьбы, руководству социал-демократии».³³ Мартов и меньшевики стремились к тому, чтобы смешать партию и класс, упразднить иерархию, рассматривать все категории как образующие партию. Список, датированный 1904 годом, можно продолжать до бесконечности, перечисляя массовые организации, молодежные, женские и т.д., контролируемые партией и стоящие особняком от нее. Они являются приводными ремнями, о которых Ленин поведет речь позже.

Важнейшая роль партии — распространять сознание, правильное сознание, но делать это следует соразмерно способности слушать и воспринимать у тех, среди кого партия «работает». «Задачи партии, — писал Ленин в 1898 году, — руководить классовой борьбой пролетариата».³⁴ Она осуществляет это путем пропаганды, которая состоит в распространении среди рабочих «правильного представления о современном обществе», и путем агитации, которая заключается в участии во всех стихийных проявлениях борьбы рабочего класса и в развитии его сознания путем конкретных и кратких лозунгов.³⁵ В рабочем сословии существует предустановленная гармония между задачами профсоюза и задачами партии, хотя профсоюз и не отдает себе в этом отчета. Необходимо, стало быть, чтобы внутри профсоюза действовала партийная ячейка, которая выражала бы эту гармонию, гарантируемую теорией. «Маленькое, тесно сплоченное ядро самых надежных, опытных и закаленных рабочих, имеющее доверенных людей в главных районах и связанное, по всем правилам строжайшей конспирации, с организацией революционеро́в, вполне сможет выполнить, при самом широком содействии массы и без всякого оформления, все функции, которые лежат на профессиональной организации, и кроме того выполнить именно так, как это желательно для социал-демократии».³⁶ Партия может достигнуть профсоюзных целей, так как они выводятся из теории. Но профсоюз не может достичь социалистических целей, поскольку у него нет теории. Создание партийных ячеек внутри профсоюза можно назвать инфильтрацией. Но Ленин

не видел в этом никакого лицемерия. Обращаясь к своей прошлой деятельности и давая советы молодым коммунистическим партиям Запада, Ленин писал еще в 1920 году: «Надо уметь приносить всяческие жертвы, преодолевать величайшие препятствия, чтобы систематически, упорно, настойчиво, терпеливо пропагандировать и агитировать как раз в тех учреждениях, обществах, союзах, хотя бы самых что ни на есть реакционных, где только есть пролетарская или полупролетарская масса... Надо уметь противостоять всему этому, пойти на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умолчания, сокрытие правды, лишь бы проникнуть в профсоюзы, остаться в них, вести в них во что бы то ни стало коммунистическую работу».³⁷

Агитация, пропаганда, теория образуют восходящие ступени некоего посвящения. Между тем, что говорит партия в «массовых организациях», и тем, что она говорит внутри своих рядов, существует разница наподобие той, что существует между экзотерическим учением и учением эзотерическим. Это одно и то же обучение, но оно идет скачками, с отступлениями, которые образуют несколько этапов на пути постижения решающей идеи. В профсоюзе коммунист держит речи прямо противоположные тому, о чем он вещает в партийной ячейке. Профсоюзник-коммунист не в состоянии понять, по причине своих интеллектуальных возможностей, что это по существу одна и та же речь. Коммунист «не обманывает» его. Но он оставляет за собой интерпретацию идеи.

Иначе обстоит дело с тактическими союзниками. Из-за своего социального положения они непригодны для посвящения. В самом деле, теория осуждает их и предусматривает их ликвидацию. Однако в силу своих частных интересов, они могут пройти часть пути вместе с партией. Враждебный лагерь представляет собой разношерстную и неустойчивую коалицию, и в каждый момент партия должна уметь распознать, где сильное, а где слабое место в лагере противника, кто является главным противником, а кто может быть временно от него отделен. В этом деле нет иного закона, кроме интереса революции и захвата власти.

Никто более строго не следовал этому закону, чем Ленин, и, стало быть, никто не был более гибок в выборе союзов. Наиболее желательны те, что ведут напрямик к революции. Из других желательны те, которые позволяют сделать наиболее сложные шаги в деле подготовки той же революции.

Меньшевики, по крайней мере те из них, которые имели мужество противостоять фразеологии, более или менее ясно ставили своей целью

³³ Там же, стр. 288.

³⁴ В.И. Ленин. Задачи русских социал-демократов.

³⁵ Там же.

³⁶ В.И. Ленин. Что делать? Там же, т. 1, стр. 176.

³⁷ В.И. Ленин. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. Там же, т. 3, стр. 313–314.

укрепление гражданского общества и интеграцию в него рабочего класса. Они были, следовательно, склонны к либеральным союзам. Они страшились варварства, насилия, которые таил в себе океан русской деревни, и опасались, как бы не потопить одним ударом хрупкий челн цивилизации. В своей крестьянской политике они стремились избежать взрыва и разрухи, которая за ним последовала бы. Ленин же не только не опасался взрыва, но страстно желал его. Поэтому преимущественным союзником пролетариата была, по его мнению, наиболее отсталая и, как он полагал, наиболее боевая часть крестьянства. Он даже помышлял о своего рода классово-борьбе внутри крестьянства, в которой будут противостоять друг другу «бедняки», «средняки» и «кулаки». Такой борьбы не существовало, так как деревня была в целом солидарна. Однако существовало много бедных крестьян, и Ленин безоговорочно поддерживал их требования и их действия. В этом отношении он воспринял самую максималистскую из народнических программ прошлого.

Но в империи существовала и другая великая сила разъединения: инородцы. Ленин не стал вникать в вопрос, что следует предпочесть для инородных национальностей: федеративный статус или ассоциативный, либо, как мечтала Роза Люксембург, пролетарский интернационализм должен восторжествовать и преодолеть националистические требования. Он безоговорочно поддерживал эти последние, поскольку они способствовали разрушению политической системы, которую он хотел разрушить.

В бурном течении политической жизни, наряду с этими двумя союзами, которые он считал естественными, поскольку таковыми их объявляла идеология, Ленин допускал и много других, которые он полагал противоестественными, но которые были желательны для блага партии и революции. Он не раз вступал в союз с либералами. Гораздо более дорогостоящими были, наверняка, союзы с близкими врагами — с легальными марксистами, оппортунистами, меньшевиками... Никакие теоретические доводы, а тем более личные чувства не имели для него значения, если союз был политически полезен для достижения неизменной цели революции и захвата власти.

Мы подходим к фокусной точке политического ленинизма. Между большой политикой и тайным заговором, даже там, где, казалось бы, существовало напряженное противоречие, Ленин установил тесную связь и единение. Партия, как развивает эту мысль Ленин в «Что делать?», является одновременно тайной конспиративной организацией и организацией политической, и не следует жертвовать одной ради другой.³⁸ Более то-

³⁸ В.И. Ленин. 1970, т. 1.

го, именно потому, что существует централизованная, устойчивая организация, обладающая совершенным учением, а фактически, созданная и одержимая этим учением, именно потому, что партия сохраняет, вопреки всем, все свои главные черты, именно поэтому она и может идти на самые смелые, самые чуждые ей и самые невероятные союзы. *«Бояться временных союзов, хотя бы и с ненадежными людьми, может только тот, кто сам на себя не надеется, и ни одна политическая партия без таких союзов не могла бы существовать».*³⁹ Но большевистская партия именно потому, что ее сплачивает непогрешимое учение, именно потому, что она обладает дисциплиной и централизованной организацией, может без риска для себя вести опасные политические операции, где другие партии утратили бы свое единство.

Союзы, пакты о ненападении, отречения от какого-то преимущества, отказ от требований, временное отступление — все это укладывается в ленинское понимание компромисса. В сентябре 1917 года, в самый разгар борьбы за власть, Ленин писал: *«Задача истинно революционной партии не в том, чтобы провозгласить невозможным отказ от всяких компромиссов, а в том, чтобы через все компромиссы, поскольку они неизбежны, уметь провести верность своим принципам, своему классу, своей революционной задаче, своему делу подготовки революции и воспитания масс народа к победе в революции».*⁴⁰ Это ее долг, потому что, действуя подобным образом, партия остается логически верна себе: *«Наша партия, как и всякая другая политическая партия, стремится к политическому господству для себя».*⁴¹ Политика исключительно невынужденного компромисса проводится правильно, если партия атакует и обличает своего союзника, не отказываясь ни от выгод союза, ни от своего долга просвещать в теоретическом плане пролетариат. В 1902 году Ленин писал: *«Но необходимым условием такого союза (с буржуазными демократами) является полная возможность для социалистов раскрывать рабочему классу враждебную противоположность его интересов и интересов буржуазии».*⁴² И еще в 1920 году он писал: *«С меньшевиками мы в 1903-1912 годах бывали по нескольку лет формально в единой с.-д. партии, никогда не прекращая идейной и политической борьбы с ними, как с проводниками буржуазного влияния на пролетариат и оппортунистами».*⁴³ Необходимо, добавлял он, использовать колебания союзников, чтобы разоблачать их.

³⁹ Там же.

⁴⁰ В.И. Ленин. О компромиссах. Там же, стр. 158.

⁴¹ Там же, стр. 159.

⁴² В.И. Ленин. Что делать? Там же, т. 1, стр. 92.

⁴³ В.И. Ленин. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. Там же, т. 3, стр. 329.

Пойдем далее: особая структура партии делает возможным не только выбор союзов, но и политическую стратегию в целом. Поскольку определены и старт (партия), и финиш (власть), что равнозначно революции, то в любой момент можно определить политическую позицию, разобраться в своем положении и сделать вывод. От оптимальной позиции, представляющей верную линию, в партии может существовать два отклонения, в равной мере ошибочных. В одном случае это правый уклон, или хвостизм, который подвергает партию опасности тащиться в хвосте у своих естественных или временных союзников, что в конечном итоге может привести к капитулянтским компромиссам. Партия, оказавшись во власти своих союзов и в плену их речей, позабывшая о своей собственной интерпретации происходящего, рискует в этом случае раствориться в оппортунизме. Другой уклон, левый, — детская болезнь коммунизма. Если оппортунизм — это забвение принципа (партии), то левизна — это забвение цели (власти). Этот уклон политически не соответствует. Левизна *«отступает от условий и потребностей последовательной пролетарской классовой борьбы»*. Левак — это бунтарь, который воспринимает буквально великий революционный отказ, он хочет все сразу, сейчас, и не признает строгой дисциплины ожидания своевременного момента и политического маневра. Оппортунист не хочет революции, левак же упускает ее. Один не жалуется партии, другой сознательно ведет ее к гибели.

Каковы истоки этих двух противоположных уклонов? Один и тот же: враждебное влияние буржуазной идеологии. Для ленинизма другого и не существовало. Ленин рассматривает теорию «левизны» как мелкобуржуазную революционность, как революционность мелкого производителя, мелкого хозяйчика, охваченного неистовой злобой. Анархизм, пишет он, это кара за оппортунистические уклоны: эти два уклона взаимно дополняют друг друга. Что следует предпринять против левого уклона? Объяснять и еще раз объяснять. Показывать, например, что партия не имеет ничего против индивидуального террора: *«Разумеется, мы отвергли индивидуальный террор только по причинам целесообразности»*. Показывать, что отрицать необходимость партии и партийной дисциплины — это значит разоружать пролетариат в угоду буржуазии. Необходимо перевоспитывать мелкого производителя и добиваться того, чтобы в партии воцарились дисциплина и строгий централизм.

Перестройка союзов, изменение программы, смещение фронта требований могут принять, если того требует политическая конъюнктура, неожиданный и резкий характер. Это называется *поворотом*. Основопологающее правило партии — никогда не быть пленником одобренной позиции, она должна бытьвольна занять другую позицию, если того потре-

бует политический интерес (подразумевается — взятие власти). Поворот должен быть умело подготовлен, следует позаботиться о том, чтобы союзы были обратимы и в теоретическом плане, поскольку может понадобиться, чтобы сохранить единство партии, объяснить этот поворот ей идеологически. И, повторим еще раз, именно «конспиративная» структура партии делает возможным резкое изменение позиций и крутой поворот, это инструмент классической большой политики.

Необходимо обобщить: в духе ленинизма политика во всех своих аспектах и моментах размещается в двух регистрах: один — общий для всех имеющихся сил, другой — особый, для самой партии. Но, как говорит Ленин, они связаны между собой. Борьба между империализмом и партией это всеохватывающая борьба, и нет ни одного события, ни одной тенденции, ни одного случая, который не следовало бы оценивать, исходя из окончательных результатов. Теория охватывает всю совокупность реальности. Партия, воплощение теории, — общесоциальна. Вот почему она может так легко соединить специфические требования степной деревни, артели рыбаков, охваченного волнениями университета, унижаемого еврейского гетто. Дело в том, что в ее анализе все эти, не связанные между собой факты получают логическое объяснение. С каждой из этих групп, как и с каждым из своих союзников, даже самым ненадежным, партия может разговаривать на их языке. Она не обманывает их. Существует, действительно, множественность смыслов. Один и тот же лозунг, одно и то же требование могут быть представлены либеральным кругам в умеренном свете, кружкам студентов-народников — в романтическом, инородцам или русским — в националистическом, а интернационалу — в интернациональном свете. Но главный смысл, смысл, который понятен им всем и который умеет выстроить их в определенной правильной последовательности, он вырабатывается в партии и, в свою очередь, создает партию. То, что объединяет более конспиративное в партии с более открытым, легальным и нормальным, это именно то расположение в определенной последовательности толкований, та цепь смыслов, конец которой держит в своих руках партия; эта цепь рушится целиком, если партия теряет свою сплоченность, свое учение и свою уверенность.

Иерархия смыслов, которые меняются скачкообразно, которые неузнаваемы при перемещении с одной ступени на другую, меняющиеся и неизменные — только партия, или скорее, тот, в ком коренится дух партии, рассматривали ее синоптически. Это составляет самую важную главу диалектики. Основное интеллектуальное усилие коммуниста состоит в обеспечении диалектической связи между политическим действием снизу и теорией сверху. Таким образом объединяются оба регистра.

И когда все эти операции совершаются открыто, это еще более способствует стиранию границы между конспиративной и открытой политикой. По-другому и не может быть, поскольку знание должно распространяться во всей партии, а разъяснительная работа должна постоянно возобновляться. Дискуссии в партии становятся открытыми на съездах, где кишат шпики, в газетах, едва подпольных, а чаще легальных. Между экзотерической и эзотерической интерпретацией не существует непроницаемой стены. Большевики не франкмасоны, но они на опыте познали, что публичное изложение идеологии не обеспечивает ее понимания. В главное, основное мировоззрение необходимо вникнуть, к нему нужно приобщиться, чтобы достичь полного понимания. Без этого оно кажется сплошным вздором. Учение объясняет этот феномен: оно не понято из-за буржуазной идеологии. Но феномен непонимания представлялся большевикам лишь новым доказательством и вызывал у Ленина бесконечное презрение. Неспособность врага понять расклеенные у него под носом осуждающие его плакаты, превращало его во фраера, которого коммунист «в законе» может опускать, как хочет. Отсюда и насмешка Ленина, когда он говорит об «услугах» либералов или о поддержке, оказанной оппортунисту Гендерсону, подобной той «веревке, которая поддерживает повешенного»; к тому же и сама эта веревка предоставлена самими буржуями.

ЛОЖЬ И ПРАВДА

Эффективность политического действия связана с существованием партии, а существование партии связано с существованием идеологии. Вся политическая роль ленинизма заключена в этом уравнении. Если брать его крайние части, то можно вывести формулу: чем преданней партией идеологии, тем эффективнее его политическое действие. Соединить идею заговора и контрзаговора, идею связную и детальную, но совершенно безумную, если рассматривать ее со стороны, с рациональным действием для захвата власти — в этом находка ленинизма. Ленин охвачен идеей, как Марат, и в то же время логичен и «сверхрационален», как Бисмарк, в своем стремлении к цели.

Но прежде следует рассмотреть вопрос о макиавеллизме Ленина.

Общее мнение приписывает Макиавелли заслугу точного определения сферы политики, демонстрации ее внутренней логики, заключающейся в захвате и удержании власти. Социал-демократы II-ого Интернационала редко на него ссылаются, поскольку для них не существовало независимого политического действия, а претензии на власть ради власти они считали бессмысленными. Поэтому на Ленина пало подозрение в практическом макиавеллизме.

Ленин редко упоминал Макиавелли. В конфиденциальном письме народному комиссару юстиции от 20 февраля 1922 года, намечая программу террора, он пишет: *«Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что если необходимо для осуществления определенной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый короткий срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут»*.¹

Неназванный по имени умный писатель — это Макиавелли, а упомянутый эпизод касается Цезаря Борджиа и террора в Романье и содержится в главе VII его книги «Государь» («Правитель»). Так что Ленин был знаком с трудом Макиавелли и ценил в авторе специалиста в вопросах государства. Но этого мало, чтобы считать его последователем великого флорентийца. Макиавелли оправдывал хитрость, ложные клятвы, вероломство неспо-

¹ М. Геллер, 1974, стр. 132.

способностью Правителя знать будущее. События подсказывают, и Правитель действует по обстоятельствам. Всего лишь человек, он не может заглянуть далеко в будущее, сохраняет свободу своих действий и не чувствует себя связанным своими словами, производя при этом впечатление честного человека. Ленин же считает, что предвидит будущее. Необходимость, которой он подчиняет свои действия, не слепа: она познана революционером, усвоившим ее законы. Вопрос лжи и хитрости рассматривается не в контексте человеческой близорукости, а в контексте сверхчеловеческой зоркости идеологии. Вопрос лжи — лишь частный случай уже рассмотренной проблемы государственного заговора и партии нового типа.

В труде Ткачева рациональность идеологическая и рациональность политическая четко разделены. Ткачев идеологически анализирует общую ситуацию, но предлагаемые им практические меры с этим анализом не связаны и подчинены специфической рациональности политического порядка: захвату власти. Он противопоставляет революционера и макиавеллевского Правителя, разделяя их планы так, как можно было бы различать в грабеже моральный аспект (присвоение чужого имущества) и техническую проблему (проникновение в дом и вскрытие сейфа). С одной стороны, Ткачев стремился к коммунизму, а с другой — описывал технику государственного переворота вполне реалистично и хладнокровно, не рассматривая ее с идеологической точки зрения. Он заранее описал Октябрьский путч таким, каким он предстает сейчас историкам. Они делают из Ткачева предтечу Ленина, будто Ленин был способен на такие умственные выкладки, которые они осуществляют сейчас и которые прежде осуществил Ткачев. И, как я указывал, напрасно.

Ленин не макиавеллист даже в вопросах методов. Конечно, для удобства анализа можно различать два типа мышления, политический и идеологический. Но умственная работа коммуниста состоит в придании каждому политическому шагу идеологического смысла, так что макиавеллевская логика захвата власти реализуется лишь в том случае, если она прикрыта и стала почти бессознательной благодаря логике идеологической.

Логика Макиавелли учитывает раздвоенность в словах Государя: одно он говорит публично, другое — своему тайному совету или вовсе в глубине своей души. Ленинизм же и есть как раз то умственное усилие, которое устраняет эту раздвоенность. В уме коммуниста нет основанного на лжи разрыва между тем, что он говорит своему временному союзнику, и тем, что он печатает в общедоступных партийных газетах, а с ними временный союзник может легко познакомиться. Веревка показана господину Гендерсону со всей откровенностью. Если он ее не видит, то это его дело, да и, наверное, у него есть для этого свои причины.

Множественность смыслов — следствие двойственности мира и того многообразия обликов, которые принимает во времени и в пространстве сражение двух принципов. Их сцепленность, делающая их нерасшифровываемыми, — результат объективных социальных условий. Бессознательность — удел тех, кто не знает доктрины. Но для познавших ее, для владеющих пролетарской наукой, это сцепление разрушено, языковое пространство становится прозрачным, и одна и та же правда там предстает в разных обликах.

Онтологический монизм Макиавелли делает возможным внутри одной и той же реальности противопоставление лжи и правды. Отсюда и раздвоение языка. Правда и ложь заключены в одном и том же лице, свободно выбирающем, говорить ли ему правду или лгать. Если человек лжет, он раздвоен, поскольку в нем сохраняется осознание правды. Смысл же ее только один. Онтологический дуализм Ленина перевернул ситуацию. Не существует правды в себе, как не существует и свободы. «Чья правда? Свобода для кого?» — незамедлительно ответил бы Ленин. Нет общей реальности. Есть две правды в смертельной схватке, каждая привязана к своему носителю, буржуазная правда к буржуазии, пролетарская правда к пролетариату. Между ними нет симметрии, ни тем более равенства. Действительно, одна правда гарантирована будущим, другая принадлежит прошлому и поглощается им, она уже подделка. Пролетарская наука включает в себя буржуазную, а буржуазная не содержит в себе пролетарской.

Правда и ложь могут сосуществовать в одном лице, лишь покуда оно заблуждается и еще не вступило во владение истиной. Пролетарская идеология (подлинная) и идеология буржуазная (ложная) оспаривают друг у друга умы людей, как объективные силы оспаривают друг у друга мир. Работа партии, с одной стороны, — выявлять во всей ее чистоте квинтэссенцию пролетарской правды, а с другой — искоренять в каждом партийце с помощью воспитания, разъяснения, критики и самокритики пережитки буржуазной культуры. Когда работа доведена до конца, очищенное сознание уже не должно выбирать между установленной правдой и ошибкой, на которую у нее открылись глаза. Интеллектуальная работа приводит к унификации языка, который означает правду. Коммунист не лжет, поскольку его язык совпадает с объективной истиной одной из борющихся реальностей, реальности пролетарской.²

Что же тогда в ленинском дуализме может означать ложь?

Нужно знать, кто лжет и кому лжет. Классовый враг лжет беспрестанно. Он лжет субъективно, поскольку хочет обмануть рабочий класс. Лжет

² См. по аналогии *A. Kriegel*, 1954.

он и объективно, даже когда считает, что постиг истину, которая на самом деле ему, в его социальном положении, недоступна. Он в лучшем случае буржуазный объективист. Легко вывести его на чистую воду, если он лжет, но он становится опасно убедителен, когда говорит искренне; в этом случае для разоблачения его так называемой всеобщей, а на самом деле классовой истины требуется целое разъяснение.

Коммунист, делающий ложные заявления, может лгать с точки зрения пролетарской науки. Если он обращается к другим коммунистам, значит он опять стал на буржуазные позиции. В этом случае он ренегат. Невсущественно, искренен он при этом или нет. Всегда можно предположить, что он искренен, ведь его ложь — ни что иное, как внезапно обнаружившееся упущение процесса воспитания. Гностический «грех» в том, что сознанием завладел враждебный принцип. Такова ошибка, то есть ложь, ренегата — зараженность буржуазной идеологией. Партии надлежит решить, стоит ли возобновлять воспитательный процесс; если стоит, то ренегат должен быть подвергнут критике, потом очищен самокритикой и, наконец, перевоспитан. Либо его следует исключить из рядов партии. Решение партии по этому вопросу — политическое решение, и, как все остальное, оно сверхрационально по отношению к власти.

Если же коммунист лжет, обращаясь к классовому врагу, его ложь очень близка к макиавеллевской лжи. Он пытается обмануть врага, скрывая свои намерения, средства и цели. В этом случае можно говорить о двух языках, если он вполне отдает себе отчет в том, что язык, на котором он говорит публично, противоречит тому, на котором он говорит сам с собой.

Этот тип лжи неизбежен в жизни, отданной политике. Ленин был хорошим тактиком, умевшим изменить настроение съезда, выявить большинство, заблокировать нежелательную резолюцию или захватить руководство партийной газетой. Он умел хитрить. Его повседневная жизнь включала, даже была переполнена подобного рода интригами, в них он показал себя мастером, но эти интриги ничем не отличались от тех, что вел в то же самое время любой октябристский или либеральный деятель. Этим макиавеллизмом политической рутины он старательно пользовался внутри социал-демократии, и не было никаких оснований избегать его использования в столкновениях с классовым врагом. Некоторые случаи могут рассматриваться как простой сговор в конспиративных традициях шестидесятых годов. Ленин санкционировал экспроприации, то есть использование бандитизма для пополнения партийной кассы, оскудевшей в революцию 1905 года. Он не осудил темной истории заказного соблазна богатых наследниц, да и других, столь же сомнительных операций. Однако сам он рассматривал эти истории как анекдотические и второсте-

пенные. Они были лишь негласной частью деятельности партии. Вопреки тому, что говорили его противники, такие случаи несколько не характеризуют ни ленинизм, ни самого Ленина. Поведение Ленина в других ситуациях объясняется ходом сражения в его решающие моменты. Не объявлять же Ленину заранее о сроках намеченного восстания!

Когда готовится резкий поворот в политике или смена союзников, так или иначе приходится, прежде чем об этом сказать во всеуслышание, придерживаться прежней линии и говорить комплименты временному союзнику. Но и это Ленин не считал особенно существенным. То, что было от Макиавелли в ленинском поведении, находит себе объяснение на нижних этажах политической жизни. Это неизбежная часть политической кухни, техника, которой нужно уметь пользоваться, но быть для этого большевиком совершенно необязательно. Есть основания полагать, что одним из поводов для ленинского недовольства Сталиным и Троцким и было как раз их чрезмерное доверие к подобного рода методам.

Действительно, ленинизм и особенно его концепция партии требуют сведения макиавеллизма к минимальному уровню. Однако этим методом пользуются тем ловчее и эффективнее, когда применяют его именно как второстепенный, не слишком на него уповая, спокойно и хладнокровно.

Макиавеллизм в ленинской практике играет подчиненную роль, поскольку он противоречит главной задаче партии — *«руководить классовой борьбой пролетариата», «распространять правильное представление о современном обществе», «обобщать факты, чтобы составить полную картину... капиталистической эксплуатации», «заставлять задуматься тех, кто недоволен только порядками в университете, в землях и так далее о том, что весь политический режим никуда не годится».* (Ленин, «Что делать?»). Макиавеллизм, побуждающий прятать свои намерения от определенной категории лиц, стесняет всеобщее объяснение, которое партия хочет предоставить всем категориям. Как можно скрывать информацию и одновременно распространять ее через «общероссийскую политическую газету»? Через газету, являющуюся «коллективным организатором»? Информация — это доктрина, это смысл, который она приписывает событиям, «политическое разоблачение», первейший, по словам Ленина, инструмент пропаганды. Распространять этот смысл вовне, быть внутри полностью открытым этому смыслу — нет, при этом лгать невозможно.

Ложь блокирует влияние партии на те классы, к которым она обращается. Обилие интерпретаций внутри партии, связанное с тем, что кто-то имел доступ к истине, а кто-то нет, подрывает ее единство и расколает на множество фракций. Единство поконится на постоянной разъяснительной

работе. Политика партии это в первую очередь разъяснительная политика.³ Последовательность мысли пронизывает все работы Ленина, равно как и полная преемственность между политической программой и линией политического поведения. Нельзя противопоставлять свои нынешние действия своим прежним заявлениям. Конечно, может показаться, что между работой «Государство и революция» с ее полным демократизмом, с одной стороны, и практикой политики военного коммунизма, с другой, существует противоречие. Однако в работах Ленина присутствует и высшая точка зрения, и надо встать на нее для того, чтобы разрешить это противоречие и понять, что оно только кажущееся.

И разъяснением, именно разъяснением следует привести к этой точке зрения каждого партийца, к какому бы рангу он не относился.

Ленин не оставил воспоминаний. В воспоминаниях политические деятели объаты желанием открыть свои сокровенные намерения, те глубоко личные мысли, которые обусловили их поведение. Ленину не было в том нужды. Свои мысли, свои цели он обнаружил с самого начала, и не переставал это делать на протяжении всей своей жизни. Мало найдется политических деятелей, которые лгали бы так мало (если понимать ложь в ленинской трактовке).⁴ Он считал эту откровенность заслугой не нравственной, а скорее политической: так удобнее захватить власть.

В той же двойной перспективе, что и вопрос о лжи, следует рассматривать и вопрос об истине: кто говорит правду и кому?

Только коммунист говорит правду. Тем не менее, даже когда он произносит слова, правильные с политической точки зрения, нет гарантии того, что он присоединился к ним так, как нужно.

Он может понимать эти слова не так, как их понимает партия, а как их понимает классовый враг. С формальной точки зрения он стоит как будто на партийных позициях, но поскольку он понимает их неправильно, при изменении позиции партии он окажется как бы вне ее.

Вот пример. Одним из самых давних требований оппозиции был созыв Учредительного собрания. Партия большевиков присоединилась к этому требованию и гордилась тем, что поддерживает его с большей энергией и последовательностью, нежели любая другая партия. Когда же прошли выборы в собрание, не представившие большинства мест большевикам, собрание было разогнано в первые же дни своего существования по приказу красного матроса.

³ Что может тем не менее сочетаться с секретом партии, см. А. Kriegel, 1968, стр. 214.

⁴ То же можно сказать о Сталине и Гитлере. Оба всегда заранее оповещали о своих намерениях, а их будущие жертвы в этот момент оказывались поражены весьма специфической глухотой.

Представим себе большевика, агитировавшего за созыв Учредительного собрания, выдвигавшего аргументы в его пользу (свобода, демократия, народное представительство), однако воспринимавшего эти доводы буквально, то есть формально, недиалектически и в конечном счете буржуазно. Он не понял бы, почему партия разогнала собрание, и упрекнул бы ее в нарушении собственных обязательств. Но на самом деле ошибался он сам. Ленин позаботился о том, чтобы заранее, за несколько дней до роспуска, объяснить это в «Тезисах об Учредительном собрании».

Тезисы сводятся к следующему:

1. Требование было вполне законным.
2. Однако Советы представляют собой более высокую форму демократии, нежели Учредительное собрание.
3. Учредительное собрание неверно отражает волю народа, которая, очевидно, изменилась в ходе Октябрьской революции.
4. «Вся власть Учредительному собранию!» стало лозунгом классовых врагов.
5. Учредительное собрание вошло в противоречие с интересами и волей масс. Интересы революции выше формальных прав Учредительного собрания. Относиться к собранию формально-юридически равносильно предательству пролетариата.

6. Либо Учредительное собрание подчинится Советам, либо возникнет кризис, который *«может быть разрешен только революционным путем»*.⁵

Очевидно, что диалектика Ленина не противоречит ни одному из аргументов, выдвинутых для обеспечения созыва Учредительного собрания, однако исправляет их смысл *«с точки зрения классовых интересов»*. А с этой точки зрения те же аргументы — свобода, демократия, народное представительство — требовали революционного роспуска Учредительного собрания.

Назовем «наивным» первый случай. Второй можно назвать «циничным».

Суть его в следующем: член партии произносит «политически правильные» речи, но понимает их не так, как партия, поскольку придает им чисто прикладной характер, характер средств обмана классового врага. Он отнюдь не принимает свои доводы всерьез. Если использовать тот же пример, то следует представить себе большевика, агитирующего за Учредительное собрание с использованием тех же аргументов — свобода, демократия, народное представительство, — однако в отличие от «наивного», он с самого начала убежден в том, что эти лозунги полезны лишь политически, а в нужный момент Учредительное собрание будет распущено,

⁵ Ленин, Тезисы об Учредительном собрании.

чтобы установить власть советов, а после роспуска советов — установить власть партии. Поскольку так в действительности и произошло, соблазнительно приписать большевикам цинизм.

Цинизм сродни макиавеллизму и должен быть осужден, исходя из тех же соображений. Цинизм разрушителен для духа партии. Он не отличается от наивности, поскольку тоже становится на буржуазные позиции: он трактует партийные лозунги как классовый враг, считая, что их понимает партия. Циник оказывается на буржуазных позициях, только с отрицательным знаком, а не в той реальности, где партия мыслит и действует.

Циник и наивный взаимно обвиняют друг друга в наивности и цинизме. Но все обвинения должны быть отвергнуты с правильной позиции. Это сделал Ленин в ответе Каутскому. Каутский «делал вид», что не понимает несокрушимой ленинской аргументации по поводу Учредительного собрания. Раньше никто, писал он, не требовал его настоятельнее Ленина. И лишь потому, что большевики оказались в нем в меньшинстве, они пост-фактум изобрели «высшую форму государственной власти». Так что в своих требованиях созыва Учредительного собрания они были либо наивными, либо, скорее всего, циничными. Столь гнусную ложь, отвечал Ленин, мог сказать только негодяй, продавшийся буржуазии.⁶ Действительно, с апреля 1917 года Ленин публично зачитывал тезисы, в которых провозглашал превосходство такого государства (типа Парижской коммуны) над парламентской буржуазной республикой, и повторял это потом многократно. Каутский пытается представить большевиков, как людей «без идеологических принципов». И к тому же забывает марксизм, поскольку не задается вопросом, органом какого класса является Учредительное собрание⁷.

Правильная позиция не наивна и не цинична. Ленин заранее разъяснил те рамки, которые следует придавать требованию созыва Учредительного собрания. Но эта позиция может показаться и той, и другой, если вспомнить, с какой искренностью Ленин сначала требовал созыва, а потом роспуска этого собрания. Его первый тезис отвергает цинизм: «Требование созыва Учредительного собрания входило вполне законно в программу революционной социал-демократии». Но, добавляет он, заранее отвергая любую возможную наивность, именуемую оппортунизмом и приспособленчеством, «поскольку в буржуазной республике она является высшей формой демократии». Этими словами подготавливается диалектический переход к немедленному роспуску того же собрания, поскольку в этот момент появляется возможность для более совершенной формы демократии, нежели буржуазная республика.

⁶ Ленин, Пролетарская революция и ренегат Каутский.

⁷ Там же.

Партия должна говорить «пролетарскую» правду, полностью и всеми своими помыслами присоединяясь к правильной ее интерпретации, поскольку такая искренность — единственный способ быть понятыми своими союзниками и в то же время обмануть своих врагов. Союзнику демонстрируется искренность партии: требование Учредительного собрания «законно», и аргументы в пользу этого те же, что партия представляет своим агитаторам — свобода, демократия, народное представительство. Но каждый воспринимает эту правду по-своему, соответственно своему чину: близкий союзник, например «крестьянин-бедняк», без труда ощутит границы понятия «свобода» или «демократия». И возможно, что он станет на партийные позиции, если ему это будет предложено. Поэтому правда должна быть общедоступной. Потенциальные союзники обманутся теми же словами. Но они не будут обмануты. Невозможность обвинить партию ни во лжи, ни в макиавеллизме окажет на них парализующее воздействие.

В самом деле, что они могут сделать? Выступить против созыва Учредительного собрания? Их тут же обличат как врагов свободы и демократии. Возражать против того смысла, который большевики придают этим понятиям? Этот спор они проиграют, поскольку большевики, куда собрание не создано и ситуация остается прежней, полностью разделяют «буржуазное» толкование этих слов. Они обволакивают его высшим смыслом, который его пронизывает, но не отменяет первого. На следующей политической стадии эти слова будут толковаться именно в этом высшем смысле, но это будет только тогда, когда сложатся условия для революционного разрешения конфликта.

Таким образом, макиавеллизм присущ не партии, а ее союзнику. Партия хочет Учредительного собрания, а потом, исходя из тех же принципов, понятых полнее, перехода от этого собрания к высшей стадии, в которой красный матрос является в известном смысле судебным исполнителем. А вчерашний союзник хочет использовать Учредительное собрание против партии и пролетариата. Следовательно, он изменяет собственным принципам, поскольку становится ясно, что он не стремится ни к подлинной свободе, ни к подлинной демократии. Так что именно партия — последовательный защитник Учредительного собрания. Поэтому она не переставая разоблачает лицемерие, ложь и непоследовательность своих либеральных союзников, с самого начала подрывающих общие требования. Потом партия возводит вчерашних союзников в ранг главных врагов, будь они хоть каутскими и аксельродами, стоит им только начать протестовать против «Aufhebung», против преодоления отрицания этого требования.

Так что Ленин расходится с макиавеллизмом в самом главном пункте: в политике эффективна не ложь, а правда: она лучше, чем ложь, обманывает и разоружает противника.

Парадокс объясняется основополагающей диссимметрией, вызванной внедрением в монистический мир дуалистской формы мышления. «Буржуазная» политика видит раздвоение мысли там, где, по мысли Ленина, существует двойственная реальность. Поэтому он и не хитрит, когда отказывается использовать только *sic* и *non*, да, да и нет, нет. Он рассматривает *да* и *нет* как два момента единого процесса, законы которого он знает и который называется диалектика. Полностью в одном или полностью в другом, но его добросовестность полностью сохраняется. Просвещенный доктриной, натренированный в этом образе мыслей, он не понимает непонимания своего союзника. И соответственно приписывает ему злой умысел.

Макиавеллевская двойственность подразумевает раздвоение личности, а это болезненное состояние. Темен макиавеллевский мир чистой политики, мир низвергнутый, пещера злодеев, *latrocinium* пессимиста Августина. Напротив, раздвоение реальности разрешает внутренний конфликт. Идеология позволяет ленинцу отторгнуть от себя зло, с которым он сражается в политической сфере. У него нет оснований сомневаться в идеологии, потому что каждый шаг к власти ее проверяет, обогащает, укрепляет. Партиец живет в единой сфере, освещенной идеологией, эту сферу политическая практика постоянно расширяет, подавляя враждебные элементы, покуда не распространится на весь мир. Внутри сферы царствуют четкие представления, язык дифференцированный, но единый. Очищенный от враждебных пережитков, партиец наполнен новой жизнью, и все доказывает, что эта жизнь подлинная. Еще немного, и он станет воплощением добра, всезнающим и всемогущим. Он счастлив. *Eritis sicut dei*.

Но вот Ленин завладевает властью.

У ВЛАСТИ

Солженицын нарисовал очень похожий портрет Ленина за год до того, как тот захватил власть. Ленин в Цюрихе, на пятачке нейтральной земли, окруженном охваченной войной Европой, со своей некрасивой женой, в убогой квартире, в поношенной одежде, с всклокоченной бородкой. Эта убогость переносится стойко, она возведена в систему как часть революционной аскезы. Ленин проводит дни и ночи на собраниях, он занят общественной или псевдообщественной деятельностью, он размышляет о ничтожных интригах на ничтожных съездах, он возмущается купюрами в прессе. Месяцы текут в спорах, отчетах, комитетах, митингах, в равной мере бессмысленных. Ленин живет химерами. Этот большевик по сути человек одинокий. Он аккуратен, вокруг него пахнет пылью и чернилами, застоявшимся табачным дымом и бумагой. Его швейцарские товарищи от него отвернулись после его нападков на швейцарский империализм. Кто рядом с ним? Болтун Зиновьев, не слишком надежный шутник Радек. Этих людей связывает не дружба, а строго церемониальные политические отношения, осторожные, не без задних мыслей, с незабытыми разногласиями, непощенными обидами. Партия растаяла, но сохранился стиль ее отношений. Ленин проводит много времени в цюрихской библиотеке, замышляя неведомо что, храня доктрину, поглощая газеты. Но эта «утренняя материалистическая молитва» не приносит ему облегчения. Его мучают мигрени. Он живет суетно, в постоянном умственном напряжении, он строит проекты — спровоцировать раскол в шведской социал-демократии, сделать из Швейцарии центр мировой революции. Но порой его охватывает *taedium vitae*, внезапная тошнота перед нереальностью собственной жизни. Не была ли она, говоря словами Достоевского, только «сном странного человека»?

Что осталось от партии? Сам Ленин. Силой упорной сосредоточенности жизни он сохранил в неприкосновенности свою собственную личность, зародышевую клетку того, что через полвека распространится на половину земного шара, — коммунизм. Весной «пломбированный вагон» перевезет эту клетку в Петроград и поместит ее в Россию.

Не Ленин и не большевистская партия сделали Февральскую революцию. Вся изумительно эффективная система ленинизма, какой она казалась

накануне войны, не послужила ничему. Большевистская радость быть единым логичным действенным организмом, господином истории, оказалась иллюзией. Иллюзией, к которой в той же партии многие теперь возвращаются.

По примеру Ленина и Троцкого обычно выстраивают последовательный ряд революционных событий в России: Февральская «буржуазная», за ней Октябрьская «пролетарская». Одна сменяет другую, как в двухступенчатой ракете, выводимой на орбиту. На самом деле ничего подобного не было.

Конечно, в России наметился переход власти от монархии Божьей милостью к гражданскому обществу. В Англии этот процесс происходил в XVII веке, во Франции — в XVIII и XIX, вслед за Малиа его можно назвать «великой революцией».¹ Каждый раз процесс был длительным и растягивался на два-три поколения. В России революция только начиналась, хотя и готовилась со времени отмены крепостного права. Формально ее начало может быть отнесено к 1905 году, но к 1913-ому она практически не продвинулась. Монархия оставалась незыблемой, она не добилась компромисса бисмарковского толка с гражданским обществом. Последнее было недостаточно сильным, чтобы взять всю власть на себя (например, в виде представительного парламента), но по всей видимости будущее принадлежало ему. Экстремистские партии мешали ему развиваться, но сильно замедлить процесс не могли. Конечно, они могли спровоцировать взрыв типа Парижской Коммуны, но он бы и закончился точно также. Архаичная сторона русской жизни (деревня, рабочая слобода, полунинтеллигенция) обладала шансами без особенных трений вписаться в жизнь современную, тоже, конечно, слабую, но быстро развивающуюся. Несмотря на усилия большевиков, и крестьянская кооперация, и профессиональные союзы рабочих уже представляли собой рамки будущей интеграции.

Однако вместо всего этого наступил, по словам русского поэта, «проклятый 14-ый год» (Ходасевич). Война изменила соотношение сил трех партнеров, оспаривавших друг у друга Россию. Сначала революционные партии, и большевистская в первую очередь, рассыпались под действием единодушного патриотического порыва. Затем государство старого порядка подверглось глубокой эрозии. Оно медленно тонуло в некомпетентности, семейственности, неврозе. Казалось, что все шансы на стороне либеральных (или либерально-социал-демократических) партий, представлявших гражданское общество. Но само общество под бременем современной войны явно пошатнулось. Оно еще было слишком молодым, хрупким и слабым. Оно еще доказывало

¹ Как и в других местах, я ссылаюсь здесь на курс лекций, прочитанных профессором Малиа в Высшей Школе.

свою жизнеспособность быстрым созданием мощной оборонной промышленности, но ему не удалось помешать возникновению то тут, то там очагов асфиксии. И транспортная, и денежная система рушились. В стремительно разрастающихся столицах рос и предсказанный Ткачевым риск нехватки продовольствия и уличных беспорядков.

Организованность масс, и в первую очередь мобилизованных, то есть солдат, становилась с каждым месяцем все хуже и ненадежней.

Война вызвала деградацию всего гражданского общества. Истоющая государство и экономику, она привела к тому, что на поверхность поднялась поконная Россия, которую уже невозможно было развить, но которая вполне могла еще более одичать и ожесточиться. Так что когда наступил решающий момент «великой революции» и возобновился на какое-то время прерванный процесс, он уже не мог развиваться согласно классическим образцам Англии и Франции.

То, что происходило после февраля 1917 года, лишь кажется похожим на сползание от жирондистов к якобинцам. В Петрограде это сползание влево, свойственное западным революциям, происходит в ускоренном порядке. Но самым существенным является то, что гражданское общество разваливается окончательно. Крестьяне возвращаются к натуральному хозяйству; инфляция разрушает денежную систему; промышленное производство останавливается, рабочие покидают изголодавшиеся города и возвращаются в деревни, туда же, куда стекаются массы дезертировавших солдат. Они довершают раздел помещичьих земель, уничтожая то, что еще осталось от дворянства. Промышленная и техническая буржуазия разорена и осталась без дела. Приграничные провинции отделяются, и империя разваливается. Это длительный процесс, он начался с войны и ускорился после февраля 1917 года, но октябрьский путч не был в нем каким-либо рубежом, и процесс закончился в 1918-ом и в последующие годы.

Из этого следует, что «буржуазная революция» — только театр теней. Когда монархия наконец уступила власть гражданскому обществу, последнее уже не силах было эту власть взять. По мнению либеральных партий, революция уже закончилась, и действительно, по всей видимости, произошла полная передача власти. Поэтому эти партии считают, что нужно во что бы то ни стало продержаться до заключения мира. А там нужно будет продолжать тот путь, который был прерван в 1914 году. Но на самом деле им была передана не власть, а вся тяжесть задачи сдержать чудовищный наплыв анархии, и этот наплыв размоет их, как он размыл монархическое государство. Ни у правых (как то показала удручающая неудача Корнилова), ни у кадетов, ни у Керенского не было ни малейших шансов.

Не исключена была возможность того, что в громадной партии эсеров, бесформенной и неорганизованной, но все-таки самой крупной в стране, возникнет феномен «фашизации», комбинации популизма, национализма и милитаризма, приведшей к власти Муссолини, или, чтобы воспользоваться более близким и менее одиозным примером, Пилсудского. Но, по-видимому, распад зашел так далеко, что и такое решение было невозможным. Гражданская война его полностью исключила.

II

Целью Ленина было разрушение монархического государства. Но такое предвиделось в ходе нормального развития, уже начавшегося, и в конечном результате ни у кого из наблюдателей ни малейших сомнений не возникало. Так что подлинной целью Ленина было разрушение гражданского общества. Это было основным во всей его политической деятельности, занимался ли он теорией, партией, борьбой с меньшевиками, либералами, оппортунистами, приспособленцами, авантюристами, отзовистами и так далее. В 1913 году он потерпел полное поражение. В 1917 году выигрыш достался ему, но сам он тут был ни при чем. Налицо совпадение его замысла со свершившимся, но его воля не оказала на события никакого влияния. Соединение двух несвязанных цепочек независимых причин, реальных событий войны и воображаемой большевистской политики, придало последней ту реальность, которой ей всегда недоставало.

Это же придало ей и невиданную популярность. В кои-то веки Ленин двигался в том же направлении, что и история. Его политика совпала со стихийным движением рабочих, крестьян, солдат. Но сама эта политика не менялась. Ничего не было добавлено к тем принципам ленинизма, которые были сформулированы за двадцать лет до этого. Дух Ленина, противоположный и большинству партий, и большинству руководителей его собственной партии, заключался в верности этим принципам, несмотря на полную перестановку политической сцены и постоянное и не менее полное изменение всех обстоятельств.

У ленинской политики в этот девятимесячный период — два аспекта. Первый полностью записан в его первых же инструкциях, которые он дал своей партии в марте-апреле 1917 года. Теперь, когда монархическое государство рухнуло, следует мешать государству гражданского общества консолидироваться и мешать ему править. Для этого нужно завершить разрушение гражданского общества и систематически поддерживать любую инициативу масс, направленную на разрушение. Это анархическая сторона ленинизма в период революции. Им объясняется революционное поражение, под-

держка «приказа № 1», разложение армии, призывы к конфискации земли и немедленному миру, к конфискации банков и, наконец, поддержка Советов. Последние были стачечными комитетами, постоянными и бестолковыми народными собраниями, зачатками прямой демократии, возникающей, когда исчезает сеть законной власти.² Они не могли руководить, но могли мешать руководить. Политическая трудность состояла в том, что массы, преследуя собственные частные интересы, могли и столкнуться между собой, и с остатками общественных и политических элит создать общество обычного типа. Общество, которое Аристотель назвал *демократическим*, то есть отвечающим частным интересам только бедных, плохое и плохо управляемое общество, но все-таки общество известного типа, опыт которого в истории человечества был, а политология способна была поместить в свою классификацию. В этом случае русская революция ограничилась бы тем, что стала бы одной из тех революций бедных против богатых, во множестве известных с античных времен, и породивших затем другие, хорошие и плохие формы правления (республику, аристократию или олигархию, монархию или тиранию, и так далее), следуя привычным для истории циклам.³ Это было не то, чего хотел Ленин, по его мнению, революция должна была разрушить *капитализм* и установить *социализм*.

Чего Ленин страшится, что он хочет разрушить, так это остатки солидарности, которая может существовать между классами, то, что содержится в понятии общего блага или хотя бы личного блага. Это опасение выражено в абсурдном утверждении, что *«Россия самая мелкобуржуазная страна Европы»*. *«Гигантская мелкобуржуазная волна захлестнула все, подавила сознательный пролетариат не только своей численностью, но и идейно, т.е. заразила, захватила очень широкие круги рабочих мелкобуржуазными взглядами на политику»*.⁴ Анархистский уклон ленинской политики нелегко отличить от политики радикальной демократии, простое смещение или катастрофическое расширение гражданского общества в конечном счете приводит к консолидации последнего. Поэтому Ленин пишет: *«Мы тщательно избегаем слов «революционная демократия». Когда речь идет о нападении правительства, тогда можно говорить об этом, но сейчас эта фраза прикрывает максимальный обман, потому что разделить классы, которые в этом хаосе слились, очень трудно»*.⁵ Так, поддерживая демократизацию (раздел земли, парламентское представительство, мир без аннексий и контрибуций), он вместе с тем развивает, и публично, «диалектически более совершенные»,

² О Советах см.: *J. Anweilth*, 1972.

³ См.: *Besancon*, 1976.

⁴ *Ленин*, 1970, т. 2 Задачи пролетариата в нашей революции, стр. 23.

⁵ *Ленин*, 1970, т. 2 стр. 52.

то есть прямо противоположные идеи: преимущества крупного землевладения, государства «типа Парижской Коммуны», превращение империалистической войны в войну гражданскую. Хотя эти тезисы еще неактуальны политически, они должны быть тем не менее высказаны публично, для подготовки будущего, для того, чтобы поднять на более высокий уровень сознание «партии и ее естественных союзников». В смещении и хаосе революции нужно заложить два принципа и две линии: «*Направление всех усилий и всего внимания на рабочую и солдатскую массу, на отделение пролетарской линии от мелкобуржуазной, интернационалистической от оборонческой, революционной от оппортунистической*»⁶.

Второй аспект ленинской политики направлен в прямо противоположную сторону. Речь идет об изготовлении инструмента, о котором Ленин мечтал двадцать лет, но который от раскола к расколу никак не мог стать действенным, — партии. В феврале 1917 года было что-то около 17 000 большевиков, рассеянных по России, Европе и Соединенным Штатам. В октябре их стало 200 000. У них еще нет ни той дисциплины, ни того единства мыслей, ни языка и рефлексов, ни того духа партии, которые они обретут в ходе гражданской войны и последующих чисток и очищений. Но Ленину удалось удержать их в стороне от процесса распада, который охватил тогда все общество и большинство политических объединений. Партия стала достаточно мощной и единой, чтобы выполнить две функции.

Первая в том, чтобы составить в глазах всего общества, и в первую очередь всего того, что осталось от гражданского общества и того, что в целом сопротивляется анархистскому распаду, альтернативу бессильному Временному правительству. Поскольку цель Ленина в том, чтобы лишить, насколько это возможно, массы их традиционных структур, к первому средству, анархии, добавляется другое, прямо ему противоположное: восстановление государства, но на этот раз вокруг большевиков. Он создает таким образом возможный полюс воссоздания общества, общества, которое многие не любят, но все же предпочитают таковому отсутствию какого бы то ни было общества вообще. Таким образом Ленин закладывает основы мобилизации и присоединения значительной части бывшего административного аппарата, а также сотрудничество технической и научной части гражданского общества, компетентной буржуазии. Так объясняется и социальная природа рекрутируемых: не «народ», а мелкий технический персонал, цеховые мастера, ефрейторы.

Вторая функция — подготовка к тому, чтобы взять на себя государственную власть. Средство — проникнуть в Советы и завоевать их изнутри. Эти

по природе своей неустойчивые объединения, без структуры, без духа последовательности, свойственного профсоюзам, представляли широкие возможности для большевистского проникновения. В сентябре Ленин пишет: «*Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских депутатов, большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки*». И добавляет: «*Ждать «формального» большинства у большевиков наивно: ни одна революция этого не ждет*»⁷.

Более того, нужно обеспечить себе некоторые союзы. Борясь с левизной, Ленин отстаивает дух компромисса: «*Наша партия, как и всякая другая политическая партия, стремится к политическому господству для себя*». С этой целью «*мы можем, как партия, предложить добровольный компромисс, правда, не буржуазии, нашему прямому и главному классовому врагу, а нашим ближайшим противникам, «главенствующим» мелкобуржуазно-демократическим партиям, эсерам и меньшевикам*»⁸. Не часто Ленин с такой точностью формулирует эту мысль: союзники — это не друзья, а «*ближайшие противники*». В сентябре 1917 года он подумывает о меньшевиках и эсерах. В действительности к нему присоединится лишь фракция левых эсеров. Да это и не так уж важно. «*Россией управляли после революции 1905 года 130 000 помещиков... И Россией, будто бы, не смогут управлять 240 000 членов партии большевиков...*»⁹

«Кризис назрел», — писал Ленин. Упустить представившуюся возможность — «полный идиотизм или полная измена»¹⁰. В действительности кризиса, в смысле противопоставления классов, не было, но возможность действительно была. Кризиса не было, поскольку анархия в конце концов возобладала над активностью масс, отослав рабочих и солдат к их каждодневным и всепоглощающим задачам добывать продовольствие и топливо. Волна, вынесшая большевиков в первые ряды, спадала, оставляя их висящими в пустоте, впрочем, вместе с тем, что оставалось от Временного правительства. День 7 ноября был столкновением призрачного «батальона смерти» Керенского с несколькими подразделениями «Красной гвардии», и тот, и другие неопишимо дезорганизованные и очень скоро, по крайней мере победители, в стельку пьяные.

III

В отличие от многих своих подчиненных Ленин не боялся восстания. Впрочем, по его мнению, оно было неизбежно. Действительно, по сути, оно

⁷ Ленин, 1970, т. 2, стр. 325–326.

⁸ Ленин, 1970, т. 2, стр. 158–159.

⁹ Ленин, 1970, т. 2, стр. 367.

¹⁰ Ленин, 1970, т. 2, стр. 345.

⁶ Ленин, 1970, т. 2, стр. 90.

являлось оборонительной мерой против заговора империализма, против буржуазного наступления корниловцев. Оно является таким образом контрзаговором.

Уверенность Ленина покоилась на теории. Она же рисовала ему общество беременным самоорганизацией, которая не могла осуществиться в рамках капиталистического государства, но которая тут же обретет свою естественную форму, как только капиталистическое государство будет разрушено и установлено государство пролетарское. Даже не надо будет его полностью разрушать. В самом деле, писал он за несколько дней до восстания, помимо аппарата подавления (армии и полиции) в современном государстве существуют аппараты, тесно связанные с банками и трестами, аппараты, выполняющие обширную работу по статистике и учету. Этот государственный аппарат не может и не должен быть разрушен. *«Его надо вырвать из подчинения капиталистам, от него надо отрезать, отсечь, отрубить капиталистов с их нитями влияния, его надо подчинить пролетарским Советам, его надо сделать более широким, более всеобъемлющим, более всенародным...»*

Работа государства, ставшего пролетарским, будет легкой, поскольку громадное большинство населения, в интересах которого это государство создано, будет охотно сотрудничать с ним в общем деле. Поэтому государство не сократится, а напротив, неизмеримо расширится. Оно не будет государством — прислужником буржуазного либерализма, но будет, самым фактом своего укрепления, вездесущим и всесильным государством освобожденных трудящихся.

*«Нашей задачей является здесь лишь отсечь то, что капиталистически уродует этот превосходный аппарат, сделать его еще крупнее, еще демократичнее, еще всеобъемлющее. Это — общегосударственное счетоводство, общегосударственный учет производства и распределения продуктов, это, так сказать, нечто вроде скелета социалистического общества».*¹¹ Ленин предусмотрел и дополнительные меры: монополию хлебной торговли, хлебные карточки, общее обязательство трудиться и, наконец, трудовые книжки, сначала только для «богатых», но постепенно распространяющиеся на все население. Все это произойдет как бы само собой, поскольку вписано в самодвижение социальной материи. Управлять будет легко: достаточно будет сопровождать естественное возникновение социализма. Восстание — это поднятие занавеса перед заранее известной пьесой, которая наконец-то может быть сыграна.

Занавес поднялся, сцена пуста. Ничего не происходит, или ничего не происходит так, как того ждал Ленин.

¹¹ Ленин, 1970, т. 2 стр. 363.

Октябрьский день так мало повлиял на ход событий, что многие иностранные наблюдатели и вовсе его не заметили, настолько привычными стали уличные беспорядки и ружейные выстрелы. Новое правительство провозглашает указы в пустоте, в то время как страна продолжает распадаться. Украина, Закавказье, Сибирь, Заволжье совершенно ускользают от центральной власти. Русская империя вернулась к прежним границам Московского княжества. Крестьяне, лишенные возможности купить что-либо в городе, сами перестают продавать. Пролетариат, с некоторых пор более занятый стоянием в очередях перед пустыми лавками, нежели организацией забастовок или революций, тает на глазах. Гиперинфляция разрушила денежную систему, и в России занялись меновой торговлей. На периферии начинают организовываться антибольшевистские армии, и в любом случае Германия может рассеять так называемое Петроградское правительство в ходе простой полицейской операции. Действительно, толпа неуправляемых солдат не образует армии, тем более Красной армии, и ничему помешать она не может.

До той поры у Ленина не было никаких оснований сомневаться в идеологии, приведшей его к власти. Перед опровергающей ее реальностью он не видит причин для сомнений, поскольку она допускает такую интерпретацию, которая спасает, нет, не само явление, а идеологию и, таким образом, партию и власть, правда, ценой разрушения реальности. Одно и то же объяснение подходит для утверждений об удаче и о неудаче эксперимента. Внезапное установление социализма подтвердило бы идеологию. Но если ничего подобного не произошло, то это подтверждает ее еще убедительней.

Ленин сохраняет в неприкосновенности и свое видение событий, и свои методы. Он не из породы тех политических деятелей, чье величие состояло в том, что они ловко приспособивались к обстоятельствам и каждый раз действовали, исходя из нового анализа ситуации. Ленинизм — это глыба. Он проигрывал в течение двадцати лет. Ему удалось, взяв власть в ходе революции, поверить, что он ее и совершил. Ленинизм сплотился вокруг своего автора до последних недель его жизни, и поэтому власть была сохранена.

В рамках неизменного дуалистического анализа происходит полное перераспределение противников и союзников. В момент взятия власти Ленин считал, что почти вся Россия, а вскоре и вся Европа окажется на его стороне, и лишь маленькая горстка капиталистов и помещиков будет ему противостоять. Сражение двух принципов — неравный бой, поскольку большая часть социальной материи уже перешла или вскоре перейдет к большевикам. Но когда власть взята, то по мере того, как идет время, происходит противоположное: переход из одного лагеря в другой. Те, кто казались друзьями, становятся вра-

гами. Естественные союзники, те, кого идеология объявляла таковыми, оказываются врагами. Короче, в масштабе всей России возобновляется процесс предательства и отступничества, существовавший перед войной в масштабах партии или партийной группировки. И ответ на это прежний — раскол, исключения, чистки, касающиеся теперь уже всего народа; с новой формой пришло и новое наименование: репрессии.

Ленин не забывает первостепенной задачи — разрушение гражданского общества. *«Буржуазия побеждена у нас, — пишет он в апреле 1918 года, — но она еще не вырвана с корнем, не уничтожена и даже не сломлена еще до конца».* Необходимо создавать условия, при которых буржуазия *«не могла ни существовать, ни возникнуть вновь».*¹² Именно на это направлены декреты, еще не принимаемые за неимением реальной власти, но уже стоящие в программе, которую он примет после октября, и которые все нацелены на уничтожение не только «буржуазии», но и того, что ее порождает: рынка, обмена, индивидуального договора и, наконец, собственности. Мало-помалу он с ужасом обнаружит, что буржуазия, в конечном счете, это все население страны в целом.

«Вопрос о собственности практически улажен, а господство рабочего класса обеспечено». Но как? С помощью учета и контроля. Они должны осуществляться Советами, как верховной государственной властью, или *«по указаниям, по полномочию этой власти».* *«Учет и контроль повсеместный, всеобщий универсальный, учет и контроль за количеством труда и распределением продуктов — в этом суть социалистического преобразования».*¹³

Эти слова становятся навязчивыми и неизменно повторяются в каждой речи, в каждом выступлении. В подтверждение этой точки зрения Ленин создает целую мифологию о германской военной промышленности, как если бы он перенес свое давнее восхищение немецкой социал-демократией на мощные картели этой страны. Мимикрия заговоров и контрзаговоров, закон уподобления воображаемому противнику находит и здесь свое применение. *«Организация учета, контроль над крупнейшими предприятиями, превращение всего государственного экономического механизма в единую крупную машину, в хозяйственный организм, работающий так, чтобы сотни миллионов людей руководствовались одним планом — вот та гигантская организационная задача, которая легла на наши плечи».*¹⁴

¹² Ленин, 1970, т. 2 стр. 598.

¹³ Ленин, 1970, т. 2, стр. 472.

¹⁴ Ленин, 1970, т. 2, стр. 532.

Однако нет никакой связи между этой картиной и представленной на ней реальностью. Нечего учитывать, нечего контролировать в условиях невероятного падения производства и распада всего экономического организма. Поэтому Ленин ищет ответственных и тотчас находит их, так как это все тот же враг. В декабре 1917 года *«буржуазия все портит, все саботирует».* *«Мы хотели идти по пути соглашения с банками..., но они затеяли саботаж, саботаж небывалого размера»* Весной 1918 года *«голод не от того, что хлеба нет в России, а от того, что буржуазия и все богатые дают последний и решительный бой».* Только ли буржуазия? Уже промелькнули *«деревенские богатеи, кулак, мироед»*, *«богатые крестьяне, разбогатевшие на войне».* Но в 1919 году каждый крестьянин-собственник это потенциальный буржуа и поэтому следует различать крестьянина-труженика от крестьянина-собственника, который в силу самого этого факта является *«крестьянином-торгашом»*, *«крестьянином-мешочником»*, *«крестьянином-спекулянтом».* Вот и сами рабочие включаются в неизбежный процесс возрождения буржуазии. Они меняют класс и становятся мелкими буржуа: *«Они вынуждены воровать или работать налево на социалистическом заводе, чтобы обеспечить себе товары для обмена на сельскохозяйственные продукты... Пролетарий вынужден вступить в экономическую сферу в качестве спекулянта или мелкого товаропроизводителя»* (1921)¹⁵. Рабочие ли они еще?

*«Очень часто, когда говорят «рабочие», думают, что это значит фабрично-заводский пролетариат. Вовсе не значит. У нас со времен войны на фабрики и заводы пошли люди вовсе непролетарские, а пошли с тем, чтобы спрятаться от войны»*¹⁶. Это не пролетарии, а *«всяческий случайный элемент»*, иначе говоря, опять же буржуазия.

Буржуазия существует с тех пор, как существует обмен, вот почему буржуазия неистребима, а, напротив, вездесуща. Свобода обмена, пишет Ленин, — это свобода торговли. *«...А свобода торговли значит назад к капитализму... это значит товарный обмен между мелкими хозяевами».* Таким образом, крестьянин, вспахивающий землю сохой, в которую впряжена его корова или его жена, и рабочий, занимающийся мелочной торговлей — все они мелкие хозяева. В Москве на Сухаревской площади был своего рода рынок, где происходил этот жалкий, ничтожный обмен. Его закрыли. Но, пишет Ленин, закрыть старый черный рынок не представляло трудностей. *«Страшна «сухаревка», которая живет в душе и действиях каждого мелкого хозяина. Эту сухаревку надо закрыть»*¹⁷. Враждебный принцип скрывается в структурах. Изгнанный из структур, он проникает в души. Враг повсюду.

¹⁵ Цит.: К. Ραραϊοαννον, 1964, стр. 439.

¹⁶ Ленин, т. 3, стр. 647.

¹⁷ Ленин, т. 3, стр. 460.

На удивление, классовая борьба не закончилась, напротив, она обостряется. Это не было предусмотрено: *«Из всех социалистов, которые об этом писали, не могу припомнить ни одного известного мне социалистического сочинения или мнения выдающихся социалистов о будущем социалистическом обществе, где бы указывалось на ту конкретную практическую трудность, которая встанет перед взявшим власть рабочим классом»*¹⁸. Противоречие с реальностью не приводит, однако, к отмене теории классовой борьбы, а напротив, к ее подтверждению за счет расширения ее границ: классовая борьба не исчезает, *«она только изменила форму»*, и стала *«неизмеримо более ожесточенной»*, потому что сила сопротивления эксплуататоров *«возросла именно вследствие их поражения, в сотни и тысячи раз»*, поскольку все население находится под их влиянием и, возможно, вскоре окажется в их власти.

Что делать? Расширить применение принципов *«Что делать?»*, только и всего. В ответ на *«неверность»* рабочего класса и всего народа к ним следует применить то же лекарство, то есть партию, которая теперь должна расширяться до предела, как того требует ситуация. Это все то же зло и то же лекарство, но применяемое в невиданных дотоле масштабах. В мае 1918 года Ленин пишет: *«...революция... требует беспрекословного повиновения масс единой воле руководителей трудового процесса»*, то есть партии, и уточняет: *«Подчинение, и при том беспрекословное, во время труда единоличным распоряжениям советских руководителей, диктаторам, выбранных или назначенных советскими учреждениями»*, то есть опять же партией.¹⁹ *«Железная дисциплина в партии»*, партия все направляет, назначает и строит по одному принципу — таков единственный залог социализма. Теперь, когда скрытый капитализм просачивается в общество через все поры, охватывает пролетариат, партия становится единственным выразителем его подлинных устремлений, точно так же, как это было до революции.

В силу этого партия укрепляется, поскольку ее дисциплина приравнивается к дисциплине военной, и расширяется — число ее членов вырастает от 200 000 до 600 000 в 1912 году. Партия отождествляет себя с государством. Поэтому она становится привлекательной не только для мелких служащих, унтер-офицеров, учителей, старших мастеров, но и для всех тех, кто отвергает анархию, к каким бы слоям они ни принадлежали. *«У нас есть, — говорит Ленин, — большое число этих буржуазных врачей, инженеров, агрономов, кооператоров»*, которые под нашим надзором привлекаются в государственный аппарат и тем самым уже оказываются *«побежде-*

¹⁸ Ленин, 1970, т. 2, стр. 671.

¹⁹ Ленин, т. 2, стр. 618, 630.

ны морально». *«Тогда они будут сами собой вовлечены в наш аппарат, сделаются его частью»*²⁰.

Но самое важное — это чтобы формирующаяся партия-государство не стала сознательно независимой, чтобы она продолжала действовать и считала, что действует от имени пролетариата. Гарантом этого является сам Ленин. Он пристально следит за тем, чтобы партия хранила *«доверие масс»*, тех самых масс, которые она в это время подчиняла и подавляла. И сам Ленин, диктатор, никогда не усомнился в том, что, где бы он ни был, в Цюрихе или в Кремле, он является средоточием помыслов и устремлений пролетариата, да и большей части всего мира в его самодвижении к своему спасению.

В своих практических политических действиях партия руководствуется принципами, разработанными еще до революции. Эта практика похожа на военные операции, поскольку политика — это продолжение войны иными средствами. За наступлением, а скорее штурмом, может следовать оборона, принимающая обычно форму временного компромисса.

Штурм носит одновременно и гражданский, и военный характер. Организация Красной армии, ЧК, продотрядов, грабящих деревни, все это осуществляется одновременно. Успехи очень относительные. В военной области Красная армия едва противостоит последовательно атакующим ее армиям. Насильственное изъятие зерна позволяет тому, что осталось от городов, не умереть с голоду, но поднимает против большевиков деревню и приводит к такому голоду, которого ни Россия, ни Европа не знала уже многие века. Первыми созданные правительством ЧК и милиция первыми же и начинают действовать эффективно.

Главная трудность в работе любой полиции — определение виновных и их поиск. В этом ленинизм существенно облегчил задачу, дав виновному такое широкое определение, что оно включает в себя любого, кто арестован. *«Смертельная война богачам и их прихлебателям; война жуликам, бездельникам и хулиганам»*. Внимательно читая этот текст от 27 декабря 1917 года в свете сопровождающего его комментария, понимаешь, что все население может быть отнесено либо к *«богачам и буржуазным интеллигентам»* (бывшее гражданское общество), либо к *«жуликам, бездельникам и хулиганам»* (та часть народа, которая избегает учета и контроля). Из-за них Ленина охватывает довольно редкий приступ неистовой ярости, которому Солженицын посвящает несколько незабываемых страниц и о котором стоит напомнить: *«Ленин провозгласил общую единую цель «очистки земли российской от всяких вредных насекомых»*. *Под насекомыми он понимал не только всех классово-чуждых, но также и «рабочих, отлынивающих от работы»*, например наборщиков

²⁰ Ленин, т. 3, стр. 113.

питерских партийных типографий... А еще: «...в каком квартале большого города, на какой фабрике, в какой деревне ... нет ... саботажников, называющих себя интеллигентами?» Правда, формы очистки от насекомых Ленин в этой статье предвидел разнообразные: где посадят, где поставят чистить сортиры, где по отбытии карцера выдадут желтые билеты, где расстреляют туняеца; тут на выбор — тюрьма «или наказание на принудительных работах тяжчайшего вида»²¹. Входя в детали дела, Ленин давал технические советы ЧК и, в частности, рекомендовал проводить аресты ночью.²² Современным исследователям, например Медведеву, не составляло никакого труда продемонстрировать, что все, что подразумевают под названием сталинизм — репрессии, способные поразить любого, кто отнесен к той или иной идеологической категории («оппортунист», «враг народа», просто «хулиган»), — вытекает из принципов ленинизма.

Действительно, не в разгар же сражения забывать о том онтологическом разделении между тем, что должно быть спасено и тем, что должно быть уничтожено, о разделении, во имя которого это сражение и ведется испокон веков. «История человечества прodelывает в наши дни один из самых великих, самых трудных поворотов, имеющих необъятное — без малейшего преувеличения можно сказать: всемирно-освободительное — значение. Из войны к миру... из бездн страданий, мучений, голода, одичания, к светлому будущему коммунистического общества, всеобщего благосостояния и прочного мира»²³. Сейчас не время проявлять мягкотелость. Нужно действовать еще решительней, чем Петр Великий, «не отступать перед применением варварских методов в борьбе против варварства». «Наша власть непомерно мягкая»²⁴. Но как провести эту чистку, эту дезинфекцию вредных насекомых? Одной силы недостаточно. Необходимо, чтобы чистое принуждение сопровождалось прогрессом сознания. Отклонение народа к «богачам, буржуазным интеллигентам и паразитам» принимает политический характер. Он становится «кадетским» или «околокадетским», Конечно, место меньшевиков и эсеров в тюрьме. Но есть еще и те, кто, не принадлежа к их партиям, следует за ними, или может последовать, или колеблется, а это то же самое: «Меньшевики и социалисты-революционеры научились теперь перекрашиваться в беспартийных». Их место тоже в тюрьмах. Поэтому, если стремиться к тому, чтобы принуждение возвышало уровень народного сознания, нужна разъяснительная работа и присоединение народа к этому подавлению. В этом роль судов, вершащих не абстрактное и формальное пра-

восудие, а правосудие классовое: «По мере того как основной задачей власти становится не военное подавление, а управление, типичным проявлением подавления и принуждения будет становиться не расстрел на месте, а суд... Но наши революционные и народные суды непомерно, невероятно слабы... Нет достаточного сознания того, что суд есть орган привлечения именно бедноты поголовно к государственному управлению ... что суд есть орган власти пролетариата и беднейшего крестьянства, что суд есть орудие воспитания к дисциплине»²⁵.

Таким образом суд и революционная законность создают ту тонкую сетку виновности, сквозь которую никто не смог бы надеяться проскользнуть, и которая вместе с тем служила средством революционного воспитания, поскольку определение виновности в каждый момент очерчивает фронт политической борьбы и указывает на тот участок, который в настоящий момент штурмует партия. И таким образом одновременно с ослаблением одного лагеря укрепляется другой.

Штурм касается всего мира. Мировая революция началась в России. В этой стране партия лишь воспользовалась временной слабостью международного империализма, машина на какое-то время застопорилась из-за столкновения двух империалистических хищников. Наибольшая трудность, которая ждет русскую революцию, — это необходимость вызвать мировую революцию, осуществить переход от узко национальной революции к революции мировой.

Но, твердо установив этот принцип, начало штурма можно и отложить. Когда силы равны, бессмысленно идти на риск поражения. Необходимо отступить, выиграть время, можно и пойти на компромисс. В сфере иностранной политики самым грандиозным компромиссом был Брест-Литовский договор, по которому Германия получила наиболее процветающую и ценную часть страны. Именно национализм привел к краху II Интернационал. Именно патриотический рефлекс разрушил в 1914 году основные силы большевиков. Этот патриотизм — чувство принадлежности к определенной общности, общее достояние разных классов — возродился в партии перед лицом жестких требований, выдвинутых немцами. Этот патриотизм скрывался под «левацкой» фразой о революционной войне. Ленин же находил «...совершенно недопустимой тактикой ставить на карту судьбу уже начавшейся в России социалистической революции»²⁶, надеясь на начало в скором времени революции в Германии. Это было бы авантюризмом.

²¹ Солженицын, 1990, стр. 35.

²² М. Heller, 1976, стр. 183.

²³ Ленин, 1970, т. 2, стр. 569.

²⁴ Ленин, 1970, т. 2, стр. 615.

²⁵ Ленин, 1970, т. 2, стр. 616.

²⁶ Ленин, 1970, т. 2, стр. 487.

«...Обеспечить социалистической революции возможность укрепиться или хотя бы продержаться в одной стране»²⁷ — это означало сохранить часть территории, пускай урезанной, но обладающей формой и статусом государства. Для Ленина революция всегда означала завоевание государства, а успех ее определялся размерами и устойчивостью завоеванного государства. Кроме того, Брест-Литовский мир давал Ленину еще один повод презирать империализм, жестокий и опасный, но несознательный и потому глупый. Например, стремясь обеспечить свою армию хлебом в преддверье тяжелого 1918 года, немецкое командование спасло власть большевиков, полностью зависевшую от его милости. Другой пример глупости империализма — миссия Гувера. Не требуя никаких политических уступок, американский империализм, распределив миллионы тонн хлеба среди голодающих и уберечьши от смерти около восьми миллионов взрослых и детей, безвозмездно спас косвенным образом и большевистскую власть. Ленин, как он это делал во всех случаях компромисса, воспользовавшись его выгодами, не преминул тут же осудить и изобличить ближайшего противника.

С другой стороны, наступление ведется и на всю совокупность социальных групп, которые находятся в пределах государственной власти большевиков. Однако случилось так, что советская власть оказалась в опасности именно в силу своих побед, подобно пожару, который гаснет из-за нехватки топлива. Крестьянство, терроризированное и ограбленное в соответствии с законами «военного коммунизма», долгое время лишаемое своих доходов, уже и само не могло прокормиться. Страна умирала от голода, от тифа, пребывала в состоянии шока и психологической подавленности, которую не вызвало даже татарское нашествие. Власть, терявшая своих подвластных, оказалась под угрозой.

Вопреки мнению части партии, Ленин пошел с внутренними противниками на такой же компромисс, что и с внешними, этот компромисс получил наименование НЭП. В определенных и тщательно очерченных пределах допускался свободный обмен, торговля, денежное обращение, рынок. Причина, на которую при этом ссылались, — отнюдь не стремление облегчить отчаянное положение масс. Такой цели партия себе не ставила, поскольку массы достигают ее стихийно, но некоммунистическими путями. Цель партии, — построение социализма, приводящего ко всеобщему процветанию и всем благам. Если эти блага достигаются иными путями, они противны социализму и, следовательно, приносят ущерб и самим массам, которые партия взялась спасать. Так что в интересах масс первостепенной целью становится спасение

²⁷ Ленин, 1970, т. 2, стр. 485.

партии, и только поэтому облегчение их страданий и может стать желательным. Поэтому Ленин временно отказался от политики военного коммунизма, считая, что можно допустить в значительной мере свободу местной торговли, не разрушая политической власти пролетариата, а напротив, укрепляя ее.

Как всегда и бывало, урегулирование, достигнутое на основе компромисса, не было долговечным. Как говорил Ленин, это был «выкуп», заплаченный капитализму в обмен на укрепление советской власти. Это было временное отступление. Извлекая более общий урок из компромисса, он писал в ноябре 1921 года: «До победы пролетариата реформы — побочный продукт революционной классовой борьбы. После победы они (...) являются для страны, в которой победа одержана, кроме того, необходимой и законной передышкой в тех случаях, когда сил заведомо, после максимальнейшего их напряжения, не хватает для революционного выполнения такого-то или такого-то перехода. Победа дает такой запас сил, что есть чем продержаться даже при вынужденном отступлении, продержаться и в материальном, и в моральном смысле. (...) Продержаться в моральном смысле — это значит не дать себя деморализовать, дезорганизовать, сохранить твердую оценку положения, (...) отступить хотя бы и далеко назад, но в меру, отступить так, чтобы вовремя приостановить отступление и перейти опять в наступление».²⁸

Штурм не был напрасным, наступление не было слишком дерзким, поскольку оно предоставило широкое поле для маневра и отступления. «Чем сознательнее, чем дружнее, чем с меньшими предрассудками произведем мы это необходимое отступление, тем скорее можно будет его приостановить, тем прочнее, быстрее и шире будет затем наше победоносное движение вперед».²⁹

IV

С марта 1923 года Ленин уже не у дел. Можно спрашивать себя, не думал ли он в последние месяцы своей жизни о том, не продвинуть ли НЭП далее того, что было предусмотрено, не начал ли он смотреть иными глазами на все свершенное за последние пять лет. Во всяком случае он не предлагал ничего иного, как следить за деятельностью партии с помощью партийных комиссий и исправлять с помощью полиции полицейские злоупотребления. Ленинизм оставался неизблемым. Ленин умер 21 января 1924 года, и мы можем выбрать эту дату для беглого обзора положения советской власти.

В географическом отношении власть установила контроль над прежней Российской империей, за исключением Польши, Финляндии, Прибалтики и

²⁸ Ленин, 1970, т. 3, стр. 601–602.

²⁹ Ленин, 1970, т. 3, стр. 601–602. О значении золота.

части территории Украины и Белоруссии. Ленинизм укрепился в некоторых странах Европы и начал эксплуатировать богатые возможности мирового кризиса европейской колониальной системы. Но ни о мировой, ни даже о европейской революции не могло быть и речи, и надолго.

Что касается темпов, то тут пришлось себя ограничить. Лобовая атака на крестьянство не удалась. У партии еще не было политических возможностей охватить деревню, разрушить ее традиционную структуру, руководить ее повседневной жизнью. Не будучи в силах запретить, если так можно выразиться, каждого *крестьянина*, партия заперла все крестьянство. Но оно внутри этого запертого пространства пользовалось известной свободой.

Таким образом, собственное поле деятельности у советской власти было довольно узкое. Она контролировала города. После большевизации Советов рабочему классу голоса уже было не подать. Любая попытка возродить профсоюзное движение рассматривалась как «экономизм». *«Политика, — писал Ленин, — не может не иметь первенства над экономикой».* И поскольку *«Государство, это — область принуждения»*, то *«администрирование и администраторский подход к делу здесь обязательны».* Что же тогда представляют собой профсоюзы? *«Резервуар государственной власти, школу коммунизма, школу хозяйничания».*³⁰ Забастовка приемлема только в случае срыва этого приводного ремня между государственной властью и массами. Он должен быть немедленно исправлен высшей инстанцией, то есть партией. Такое незначительное пространство предоставил рабочим НЭП, когда после кронштадтского восстания пришлось отказаться от полной милитаризации промышленности.

Но важнее контроля городов и пролетариата контроль слова, прессы, воспитания. В нем показатель власти идеологии. Декрет о печати принят через три дня после взятия Зимнего дворца. Он оказался достаточно всеобъемлющим: за шестьдесят лет к нему ничего не прибавилось:

*«Правительство рабочих и крестьян обращало внимание населения на то, что в нашем обществе либеральная ширма (свободы прессы) скрывает на самом деле свободу класса собственников, которому принадлежит львиная доля всей прессы, безнаказанно отравляет умы и расширяет сознание масс. Каждый знает, что буржуазная пресса, возможно, самое мощное оружие буржуазии. И это оружие нельзя оставлять полностью в руках противника — сейчас оно опаснее бомб и пулеметов»*³¹.

Это оружие было полностью изъято. Установление монополии на информацию было самым легким, самым полным и окончательным свершением советской власти.

В области просвещения законодательная деятельность власти тоже была весьма активной с самого начала ее существования. Власть национализировала школы, принялась искоренять прежнее буржуазное знание, разрушило прежнюю педагогическую систему и ввело коммунистическое воспитание. Около половины школьных учителей и преподавателей лицеев и гимназий было выброшено, другой пришлось шагать в ногу со всеми. Для Ленина *фронт* воспитания не менее важен, чем фронт военный, поскольку сражение двух принципов охватывает и духовную, и материальную сферу, и в конечном счете первая определяет вторую.

«Мы должны ... бороться против буржуазии и военным путем и еще более путем идейным, путем воспитания». *«Трудящиеся массы, массы крестьян и рабочих, должны побороть старые навыки интеллигенции и перевоспитать себя для строительства коммунизма».* Ленин рассматривал это духовное сражение как подобное по своим методам сражению военному, он хотел бросить на страну Красную Армию воспитания.

*«Мы должны поставить на службу коммунистического просвещения сотни тысяч нужных людей. Это задача, которая решена на фронте, в нашей Красной Армии, в которую были взяты десятки тысяч представителей старой армии. В длительном процессе, процессе перевоспитания, они слились с Красной Армией... В нашей культурно-просветительской работе мы должны следовать этому примеру. Правда, эта работа не так блестяща, но еще более важна».*³²

Ко времени смерти Ленина эта работа не была завершена, но она была начата, и главные ее принципы были намечены.³³

Художественная и литературная интеллигенция либо эмигрировала, либо оказалась расколота, часть симпатизировала советской власти, часть попросила. В начале 20-х годов Крупская занялась очисткой библиотек от «устаревшей литературы». К устаревшим западным философам были отнесены Декарт, Кант, Платон, Шопенгауэр, Ницше, Вильям Джемс. Естественно, не забыли и Маха. В самом деле, разрушение старой культуры было самым простым и дешевым способом без существенных материальных и политических последствий дезориентировать и ослабить противника. Как раз тогда, когда Ленин отказался от слежки за тем, что крестьяне сеют и жнут, он уничтожил одним ударом главное в крестьянской культуре — церковь. Тогда же он уничтожил синагоги и сеть еврейских школ, лишив таким образом поддержки значительную часть ремесленничества и рабочего класса. Для выполнения этих двух задач он воспользовался поддержкой части православного

³² Ленин, 1970, т. 3, стр. 428–432, Речь на всероссийском совещании политпросветов.

³³ W. Berelowitch, 1977.

³⁰ Ленин, 1970, т. 3, стр. 477, 490. Еще раз о профсоюзах.

³¹ Pour le Centenaire de Lenine, 1970.

клира и части еврейского народа. Те, кого НЭП оставил «про запас», тоже были призваны способствовать укреплению советской власти; отрезанные от своих культурных образцов, огрубленные исчезновением духовного руководства, они утратили значительную часть своей способности противостоять грядущему натиску.

А к натиску коммунистическая партия готовится. У нее еще не было ни нужного единства, ни нужной тренировки, ее численность еще была недостаточной, чтобы предпринять наступление немедленно. Неясно было, кто займет место Ленина, хотя возвышение его наиболее достойного эмира Иосифа Сталина шло успешно. Партия-государство было набросано, но еще не закончено. Закончено оно будет, во-первых, когда все население Советского Союза окажется полностью в ее власти, то есть после коллективизации; во-вторых, когда сама партия будет полностью обновлена — это свершится в ходе чисток тридцатых годов; в-третьих, когда решится вопрос о сталинском наследии, на что уйдет еще десять лет, с 1953 года по падение Хрущева в 1963 году. И только тогда можно будет сказать, что большевистская революция завершена, что начавшийся 7 ноября 1917 года процесс завершился и надолго стабилизировался.

В 1924 году партия, однако, уверена в себе и знает, что ее создатель дал ей правильное направление. Она значительно усилила свои репрессивные способности, Ленин указал, что это особенно необходимо в периоды отступления или приостановки наступления: *«...Тут и дисциплина должна быть сознательней, и в сто раз нужнее... В этот момент необходимо карать строго, жестоко, беспощадно малейшее нарушение дисциплины»*³⁴. В той области, в которой она господствует, партия располагает всеми средствами. К смерти Ленина работа по созданию полиции завершена и ГУЛАГ уже давно открыт.

Ленин выиграл. Английские диггеры, французские якобинцы и коммунары не продержались и нескольких недель. Через шесть лет после захвата власти Ленин оставил устойчивую ситуацию.

Среди всех причин, обеспечивших успех партии, наиболее существенна та, на которой настаивает официальная советская историография: поддержка масс. Конечно, она никогда не была поддержкой большинства, и вряд ли превышала 25%, то есть число поданных за большевиков голосов на выборах в Учредительное собрание. Но если бы партия не могла опереться на столь значительную часть «народа», рабочих, крестьян и бывших чиновников страны, то она не смогла бы завоевать почти полностью территорию империи. Все

³⁴ Ленин, 1970, т. 3, стр. 633. XI съезд РКП(б).

свидетельства сходятся на том, что массы после колебаний, а порой и службы в белых армиях, в конце концов, оставляли последние и либо присоединялись, либо смирялись с советской властью.

Если не говорить о военном присоединении колониальных окраин, для всего русского народа советская власть представляла надежду на восстановление гражданского общества. Крестьяне хотели землю: она у них была. Рабочие хотели лучших условий и большего уважения. Жизненные условия были разрушены, но общее восхваление «пролетариата» могло сойти за компенсацию утраченной профсоюзной независимости, которой они и не заметили, поскольку никогда не пользовались ее плодами. Офицеры, националисты радовались кажущемуся восстановлению Империи. Врачи, инженеры, преподаватели стремились скорее вновь взяться за работу. Уничтожение значительной части кадров прежней административной и экономической структуры освободило много мест для новой элиты, социального возвышения и погони за должностями. Можно было сильно выгадать или надеяться вскоре выгадать на том, что считалось радикальной демократизацией русского общества.

Следует отметить, что внутри партии многие разделяли эту надежду или подкармливали ее в среде беспартийных. Можно сказать, что это было правильным использованием цинизма и наивности. Со строго коммунистической точки зрения это, конечно, отклонения, но и они могут послужить тому, чтобы собрать вокруг партии случайных попутчиков. Многие вступили в партию в надежде сделать карьеру, по примеру тех якобинцев, террористов, конечно, но становившихся позднее префектами и солидными собственниками. Цинизм в партии — это частное предпринимательство на низком уровне, готовность вступать во взаимовыгодные сделки с представителями гражданского общества. С такими коммунистами, казалось, всегда можно будет столкнуться.

Политический эффект наивности, при Ленине распространенной шире, чем в последующие эпохи, был отличен, но равноценен. Наивные коммунисты путали в некоторой степени марксистский пролетариат с реальными рабочими, «бедняка» с бедным крестьянином, классовую справедливость со справедливостью. Они создали себе о социализме представление, в котором он смешивался почти что полностью с общественной пользой. «Дух партии», «классовое сознание» — все эти сепаратистские категории ленинского дуализма в них почти что стерлись³⁵.

Неспособные выполнять другие задачи, эти наивные коммунисты были годны по крайней мере на то, чтобы поддерживать надежды на возвращение

³⁵ Писатель Платонов представляется мне прекрасным примером «наивного» коммуниста.

к нормальной жизни и на награду за свершения в виде большей справедливости, большей свободы, большего уважения. Это должно было произойти со всеобщей победой большевизма над его врагами и окончательным укреплением режима. Террор уже не будет нужен. НЭП и мир на границах — разве это не первые шаги в этом направлении? Так рассуждали в Германии, Франции, Англии, Соединенных Штатах. Надеялись, что все войдет в норму. И помогали советской власти, полагая, что помогают ей нормализоваться. Политика Запада уже стала тем, чем хотела быть — политикой *разрядки*.³⁶

Одна из причин большевистских успехов кроется в том, что и иностранные державы, и само русское общество ошибались в политическом анализе самого феномена. Всем казалось, что партия растворится в возрождающемся гражданском обществе, либо сама станет таковым, попросту заменив собой то, что она только что разрушила. Это было ошибкой. Партия действительно подменила прежнее гражданское общество, но оказалась неспособной создать таковое, по причине отношений, которые связывают партию с идеологией.

³⁶ См.: *Besancon*, 1976.

ИМПЕРИЯ ЛЖИ

Уцелевшие наследники славянофильской традиции: Блок, Бердяев, Розанов воспринимали революцию как Апокалипсис. Пламя разрушения возвещало Судный День.

Апокалиптический дух четко различает две реальности, или, как говорили, два эона. Откровения возвещали новый эон, однако приходящий извне, и нужно было уметь его ждать. Блок и Бердяев реагировали на революцию как старообрядцы XVII века, в потрясениях петровских реформ видевшие творение Антихриста и пришествие конца света. Они ошибались. Новая эпоха не была приходом нового эона, а продуктом гнозиса у власти. Гностический дух видит новую реальность продолжением реальности настоящего, но реальность не трансцендентную, а имманентную. Революционер не в ожидании, а в творении. Он силится разрушить тонкую перегородку, за которой скрывается эон будущего. Ленин — повивальная бабка социализма и в текстах той поры часто обращается к кровавым образам кесарева сечения. Но вот прошло уже шесть лет, как чрево матери вскрыто и обшарено, но ребенка в нем не оказалось. Можно сравнить Ленина и с кладоискателем, полностью разрушившим замок в поисках спрятанного сокровища. Нет сокровища. Ленин действовал согласно магической формуле Бакунина (считавшего, что нашел ее у Гегеля): дух разрушения есть дух созидания. Ленин разрушил «капитализм». Но где же социализм? Нигде. Несмотря на пророчества, он не появился стихийно. Надо его строить.

В 1920 году Ленин начинает строить социализм. «...В нашей борьбе выделяются две стороны дела: с одной стороны, задача разрушить наследие буржуазного строя, разрушить попытки раздавить Советскую власть, повторяемые всей буржуазией. До сих пор эта задача более всего занимала наше внимание и мешала перейти к другой задаче — задаче строительства». И добавляет, что «9/10 времени в нашей работе заняты борьбой с буржуазией»¹ (Из речи на Всероссийском совещании политпросветов 3 ноября 1920 года).

¹ Ленин, Речь на всероссийском совещании политпросветов, 1970, т. 3.

Но как строить социализм? Ленин враждебен любой форме утопии. В весьма ограниченном количестве фантазий, которые он себе позволил, вырисовывается транскapиталистический пейзаж, где много больших машин, электричество, индустриальная организация, в которой единодушно соучаствуют классы и партия. В общем, установление «учета и контроля» в галерее Машин какой-нибудь всемирной выставки. Хрустальный дворец Чернышевского, модернизированный воспоминаниями человека, на которого сильно повлияла Германия эпохи Вильгельма. Уже вырисовывается лозунг будущего — «Догнать и перегнать!»

Увы, от этой созидательной задачи вся реальная Россия разбегается. И рабочие, и инженеры, и писатели, и артисты. Крестьянство, то есть громадное большинство населения, разбежалось на свои частные поля, к своему скоту, к своей собственности. Как это объяснить?

Поскольку не существует ничего, кроме социализма и капитализма, а социализма в России нет, значит в ней как никогда прежде господствует капитализм: *«Убитый капитализм гниет, разлагается среди нас, заражая воздух миазмами, отравляя нашу жизнь, хватая новое, свежее, молодое, живое тысячами нитей и связей старого, гнилого, мертвого».*²

Гностический дух непоколебим, но он дал задний ход. При капитализме Ленин прозревал повсюду неизбежный социализм. Теперь, в социалистической реалии, ее оборотной стороной оказывается капитализм. Революция привела к тому, что капитализм укрепился в неприступных крепостях.

Следовательно, нечего особенно надеяться на созидание, покуда дело разрушения не доведено до конца. Еще предстоит в с е разрушить. Передышка НЭПа касается только тех общественных сил, с которыми следует вступать в союз. А те силы, которыми передышка позволила заняться всерьез, почувствовали, как на них обрушилась лавина террора. Партия, полиция, армия благодаря НЭПу и, к великому удивлению как иностранных наблюдателей, так и самого русского народа, стремительно растут и расширяются. Сокровище не найдено, поскольку от замка еще уцелело несколько неразрушенных стен.

В конечном счете решение проблем политическое. Ленин ни в малой мере не забыл основополагающего политиканства своей молодости. Если ничего не получается, то наверное потому, что России не хватает культуры (хотя никто не может сказать, каков именно этот определенный «уровень культуры», ибо он различен в каждом из западноевропейских государств): *«Если для создания социализма требуется определенный*

*уровень, то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а п о т о м уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы».*³

Чтобы загнать Россию в школы, чтобы переплавить души, чтобы выкорчевать капитализм, нужна власть, еще раз власть, еще больше власти. Но, по словам Ленина, «политической власти у нас сколько угодно».

Тогда на первое место выступает идеология. Она-то отнюдь не опровергнута событиями, поскольку одно и то же объяснение, которое провозглашает успех, учитывает и очевидную неудачу. Область, в которой идеология оказалась проверена и полностью подтверждена, это область политической власти. В конечном счете политика определяет пригодность идеологии. А политический успех, то есть захват и сохранение власти, подтвердили это самым неоспоримым образом. Благодаря идеологии, сплавившей и укрепившей партию, она вышла победительницей из смертельной схватки, в которой она столько раз оказывалась на краю гибели. Но партия оставалась верна скрепившим ее принципам, потому и устояла.

Основа законности коммунистической партии — коммунизм. Перед лицом рабоче-крестьянских масс партия представляет только светлое будущее, к которому она эти массы, еще слепые, и ведет. В 1924 году они слепы как никогда. Все ясновидение идеологии сосредоточилось в партии. В то время, когда сомнения и всеобщее разочарование свидетельствуют о силе буржуазной идеологии, партия должна быть особенно тверда и уверена. После смерти Ленина ленинизм был канонизирован, и воспринимаемый именно как канон, он дает партии устойчивость, то единство, которое необходимо для сохранения в себе идеи коммунизма и, следовательно, своей законности и абсолютной монополии на власть. Ребенок не родился, сокровище не найдено? Ложь! Партия и есть этот ребенок, это сокровище. Где партия, там и социализм.

Открылся разрыв между реальностью и большевистским восприятием реальности. Материализм повлек за собой утрату контактов с материей, подмененной распространенной на нее схемой. Пролетарский характер партии невозможен без разрыва с реальностью рабочего класса. Социализм может существовать только вне общества.

Этот разрыв не помешал большевикам сохранить власть, можно сказать, что именно благодаря ему они ее и сохранили. Этому не повредили ни нагромождения ошибочных суждений, ни воображаемая классовая борьба между вымышленными категориями, ни бессодержательные рас-

² Ленин, Письмо американским рабочим. 1970, т. 2.

³ Ленин, О нашей революции, 1970, т. 3.

суждения об империализме, ни фантастические толкования событий. Конечно, не связанное с реальностью теоретизирование политически было дорогостоящим (цена человеческих жизней не в счет). Однако оно позволяло крепко держать в руках великолепный инструмент политики ленинизма, партию. Политический итог идеологической ирреальности был реально положительным. Первыми это признали партийные циники.

Этим ленинский гений и сбивает с толку всякого стороннего наблюдателя. Представляется, что Ленин действует с великолепной эффективностью, с той безличной уверенностью, с которой муравей строит и защищает свой муравейник. Его профессиональное превосходство торжествует над путаниками вроде Зиновьева, грубиянами вроде Сталина, дилетантами вроде Троцкого. Порой же кажется, что чем-то поврежденный инстинкт выполняет свою задачу вхолостую: в обескровленной России 1919 года Ленин без устали опровергает неведомых немецких социал-демократов, перекрещивает классовую борьбу в партийную на фоне военного коммунизма, отчаяния, голода и тифа, диктатуры пролетариата, его собственной власти. И точно также, как и муравью, ему не дано узнать, что он делает. Это лишний довод, чтобы не отождествлять ленинизм с макиавеллизмом. В то время как Правитель все видит ясно и знает правду, Ленин, ослепленный идеологией, видит только фальсифицированную правду. Не обманывая врага, он обманывается сам. Дуализма двух несовместимых истин достаточно, чтобы объяснить этот кажущийся парадокс. Ленин предоставлял врагу коммунистическую правду, которую тот не мог услышать. Тогда он усваивал ее сам и был полностью глух к общей правде. Все происходит так, будто коммунистическая власть может удержаться только при условии не замечать реальности, которой она призвана руководить. Бесчисленные сведения, собираемые по всей стране раздувшимися до немыслимых при старом порядке размеров бюрократией и полицией, пропущенные через идеологический фильтр, через деформирующую призму нового лингвистического шифра, перестают быть информацией.

После захвата власти раздвоенность истин становится или, скорее, пытается стать раздвоенностью реалий. Пролетарская правда — это партия, буржуазная правда — это общество, сопротивляющееся партии. Поэтому власть может воздействовать на реальность, только разрушая ее, поскольку только так можно выявить ту реальность, носителем которой власть является. Она не может ни сотрудничать с обществом на уровне общих интересов, ни даже руководить им, исходя из собственных интересов: ведь партия существует лишь в фикции ее полной преданности этому общему интересу, которого никто не хочет, то есть коммунизму. Во имя коммунизма партия овладевает властью.

Однако коммунизм — не нравственный идеал, а научный, то есть должен восторжествовать благодаря естественным законам, вытекающим из природы вещей. Действия партии эти законы подтверждают, но не создают. Раздвоение реальности, зияющий разрыв между партией и обществом, между миром, который видит партия, и тем, который видит общество — постоянная угроза законности власти, покоящейся на подтверждении теории.

Этот разрыв партия стремится уничтожить. Во-первых, реально, на деле. Но это процесс длительный. Во-вторых, с помощью магии.

В ходе первого партия льет социальную материю через приготовленную для нее воронку в форму, образцом которой является сама партия. Этому и служит принуждение. Партия готовит новые формы не только для крестьянства, но и для рабочих, интеллигентов и других горожан, поскольку первая отливка не удалась: из формы они вышли такими же, как и были, то есть сохранившими «буржуазные пережитки».

Однако мало того, чтобы подданные приняли социализм или смирились с ним, или даже хотели его. Нужно, чтобы они согласились с тем, что закон эволюции подтвержден и социализм существует. Иными словами, коммунистическое воспитание заключается не в том, чтобы убедить подданных желать социализма, а в том, чтобы они его видели. Партия тратит свою энергию не только на построение социализма, но и на то, чтобы убедить в его существовании, в его нынешней воплощенности, в признании всеми людьми этой фикции. Для послушания достаточно принуждения, но чтобы добиться признания, улыбки, радости, энтузиазма, чувства признательности партии за воображаемое и несуществующее, нужен террор такого типа, которого до той поры не знали.

Этот террор вытекает не из реального, а из фиктивного строительства социализма, из м а г и ч е с к о г о уничтожения непоправимого разрыва. Оно осуществляется через язык и, кроме того, через искусство.

К смерти Ленина коммунистический язык полностью сформировался. Процесс его создания начался с шестидесятых годов XIX века, но Ленин зафиксировал его и обобщил. Этот язык — знак причастия партии в идеологии.

Уровень коммунистического воспитания партийца определяется его способностью общаться с внешним миром, используя канонические методы анализа, те же способы мышления и стилистические обороты, принимая партийную точку зрения так, чтобы она совмещалась с его собственным видением.

Правильное использование идеологического языка означает успех в совмещении того, кто его употребляет, с его моделью.

В качестве средства общения этот язык означает согласие в главном: между разговаривающими рождается и, пока они говорят, существует идеологическая реальность. Язык — не обмен между двумя субъектами, а установление причастия к единой реальности. Он же и освящение единства. В коммунистическом мире снято проклятие Вавилонской башни, поскольку множественность языков преодолена единством стиля, и рты отказываются издавать иные звуки, кроме тех, которые вскоре назовут «дубовым языком».

На партийных съездах доклад генерального секретаря представляет примерным анализом состояния мира и двух борющихся в нем сил. Он должен быть длинным, чтобы ни один сколько-нибудь существенный аспект реальности не ускользнул от идеологической переработки. Другие выступают не для того, чтобы возразить, а чтобы скрепить эту переработку. Цель всей церемонии в том, чтобы тщательно соблюденной гармонией лингвистических правил продемонстрировать гармонию идеологического мира в объединяющей его доктрине.

Анализируя этот язык, лучше, чем когда-либо, понимаешь природу идеологии как сочетания извращенной религии с извращенной наукой.⁴

Как и идеологический язык, язык литургии трансперсонален. Он являет присутствие иной реальности, помимо эмпирической. Священнослужитель выходит за рамки своей субъективности, и вместе с ним все прихожане. Литургический язык строг, поскольку обозначаемая им реальность должна быть таковой из опасения быть серьезно нарушенной. Нельзя изменить ни слова, поэтому литургия развивается очень медленно. Ее тон иной, нежели у обычного языка. В ней важна и дикция, и интонация. Наконец, литургия обещает и снятие вавилонского проклятия, поскольку между участвующими в службе создается облик Единого. В ином, феноменологическом плане научный язык обладает теми же особенностями: трансперсональностью, строгостью, необщедоступностью и объединяющими свойствами.

Идеологический язык — слияние языка литургического с научным. Разумеется, он считает себя полностью научным. Но идеологическая «наука» не сливается с феноменом. Она пронизывает бытие и дает ему закон. Идеологическая речь, таким образом, — единственная литургия единственной реальности, извлекающей свою онтологическую сущность не в трансцендентном Бытии, а из материи, подчиненной детерминизму.

⁴ Вопрос языка при идеологическом режиме безусловно является ключевым. Но он долгое время скорее ощущался, чем анализировался всерьез. См. *L. Bod*, 1975, *Y. Glasov*, 1974, конечно, все произведения *Orwell*, *Milosz*, 1953. Из последних работ см. *F. Thou*, *La Langue de Bois*, Paris, 1987.

Эта речь становится магией по мере того, как становится явным ее бессилие. Она неспособна изменить реальность сообразно своим целям, ей не под силу создать иную реальность, соответствующую ее обещаниям. Ее роль — в заклинании, то есть во внушении несуществующей реальности. Для этого ей приходится многое заимствовать у обеих магий, обычно прилепляющихся к религии и к науке, то есть у черной магии и у шарлатанства. Этот язык, с одной стороны, сборник установленных форм, его могущество связано с буквой, а с другой — он колдовство. Предназначенный для внушения словами иллюзорной реальности наряду и сверх реальности реальной, он является медиумом преобразования последней. Пропагандист, объезжающий деревни вместе с вооруженным отрядом, занятым реквизицией хлеба, служит не для убеждения крестьян, а для возведения на трон идеологической реальности. Она насильно проникает в деревенскую реальность со своими машинами, плакатами, выборами, серьезными обсуждениями, со своей «советской демократией». Она приходит, устраивается, начинает править.

В поддержку языковой магии образуется магия эстетическая. Одним из последних, но немаловажных заветов Ленина было ее продвижение и внедрение. Задачей этой магии было придать идеологической реальности зримую сущность, дать возможность ее увидеть и чувственно воспринять. Эта магия мобилизует себе на службу технические изобразительные средства, появившиеся в те века, когда искусство пыталось «соперничать с природой». (Ко времени смерти Ленина на Западе, да и в России, это соперничество уже отмирало).

Магия назвала себя социалистическим реализмом. Она давала ясную картину той реальности, которую ей было поручено изобразить: обожаемые вожди, радостный народ, тучные поля, образцовые заводы. Для прежней живописи соперничество с природой означало использование техники изображения, цвета, перспективы для достижения реальности более выпуклой, чем та, что открывалась взгляду обычного человека. Искусство становилось толкователем между миром чувственным и миром вынатым, который еще реальнее первого. Социалистический реализм стремится стать зеркалом несуществующей реальности. «Классический» реализм еще мог как-то отстраниться от техники зрительных иллюзий, обмана зрения. Социалистический реализм зависит от нее полностью. Поскольку требуется утвердить ирреальность как единственную сухую реальность, нужны все фокусы фотографического иллюзиониста. Картины изготавливаются, как панорамы XIX века, так, чтобы зрителю казалось, будто он находится «в них». Точно также и в литературе были взяты на вооружение методы внушения великих классиков и поставлены на служ-

бу иллюзии. Искусство становится ирреалистичным в силу своего реализма, и его волшебство сведено к технике голливудовских декораций. Конечно, иллюзия своего эффекта не достигает. У зрителя нет ощущения, что он «внутри», поскольку он знает, что его там нет. Однако он оказывается жертвой агрессии лжи в самой грубой форме, сходной с откровенно подделанным денежным знаком, которому государство обеспечивает законную стоимость. Партия и социалистический реализм в полной мере символизируют друг друга: искусство, действующее политическими методами, и партия, действующая методами эстетическими. И с той поры они неразрывны.

Единственным местом соприкосновения двух реальностей оказывается сама власть. Не впадая в цинизм, можно заметить, что власть только тогда и законна, когда является шарниром между двумя реальностями, «старой» и «новой», и обеспечивает переход из одной в другую. Но как это осуществить? Реальная реальность — единственная сущая. Идеологическая реальность существует только как язык (или как декорация). Она состоит из слов. Лишь толкованием слов идеологической реальности партия может воздействовать на реальность сущую, и происходящие в ней изменения могут описываться только в выражениях реальности идеологической, а они не тождественны по определению. И становится совершенно необходимо, чтобы преодоление раздвоенности мира пришло к полному лишению слова реальности реальной и создало рядом с ней другую реальность, существующую лишь в словах. Отсюда и не знающая границ продолжительность речей. Доклады тянутся до тошноты, пресса их множит, язык не сталкивается с сопротивлением реальности, а является ее подделкой и вынужден воспроизводить самого себя, крутясь вхолостую, как сорвавшаяся с резьбы гайка. Безмерное воспроизводство пустого слова — точный противовес реальности реальной, принужденной к молчанию. Этот противовес должен все время смещаться, растет и словесное производство по другую сторону шарнира власти. Идеология изнемогает под бременем весомости слов и тщательности их отделки, ее речь, не связанная с явлениями, а того менее с Бытием, превращается в литургию бездны.

Эта магия служит разрешению несоответствия реальностей двух разных типов. В конечном счете дуализм разрешится в монизме, поскольку при коммунизме реальная реальность волеется в реальность идеологическую. Наивный человек не приемлет и з н а ч а л ь н о г о разделения двух типов реальности. «Не стоило делать революцию, подумает он, чтобы так обращаться с народом». Циник не верит в к о н е ч н о е слияние двух реальностей. Он приемлет внутреннее разделение в собственных

интересах. Но настоящий коммунист занимает правильную позицию, отбрасывает оба искушения и живет полностью в идеологической реальности, чтобы быть, как и следует, авангардом, предвестником примиренного мира будущего.

Принуждением социализм строится, языковой магией он уже существует. Открытие партии в том, что эти два средства сочетаются изумительно, так что магия облегчает принуждение, а принуждение осуществляет магическую церемонию. Невозможно сопротивляться, если те, кто пришел арестовывать вашего отца т е м с а м ы м приносят вам подлинную свободу. С другой стороны, полиция все-таки нужна, чтобы плакаты не сдирали и все приходило на выборы. В этой комбинации средств и содержится эффективность советской власти, характер ее очарования, тональность ее террора. Это не тирания Ленина, а что гораздо хуже, тирания фразы, «колдовская сила мертвой буквы» (Пастернак, «Доктор Живаго»). Смятение разума, исчезновение точки опоры, уверенность утвержденного идеологией, абсолютный разрыв между тем, что она провозглашает, и тем, что она есть, — все это составляет прочную опору советской власти. И поскольку это разрастание власти обеспечивает идеология, приближая тем самым время своей реализации, значит идеология верна. Всемогущество лжи лишний раз доказывает правильность идеологии. С ее помощью входят в Империю Лжи.

Дойдя до этой стадии, идеология претерпевает кардинальные изменения. В начале этой книги она представлялась как некое верование, как доктрина. Теперь же она может оказаться ими лишь случайно, и во всяком случае во вторую очередь.

Сутью идеологии, когда она у власти, становится сама власть. Она — форма власти, у которой нет иного содержания, кроме идеологии. Она — новая реальность, завладевшая общей реальностью и пытающаяся переделать ее по своей выкройке, а в ожидании претендующая на то, что она сама — единственная существующая реальность.

Из этого следует, что в идеологию уже не нужно верить, даже как в ложную очевидность или гностическую псевдоэмпирику, под маской которой она прежде завладевала революционным сознанием. Она ощутима, она стала властью, и теперь ее надо осуществлять. Поскольку идеология предусматривает выборы и объединение избирателей вокруг социализма, значит надо тщательно организовать эти выборы, это укрепит идеологию, но не в виде верования, а в виде власти. Это же касается и огромной армии пропагандистов, мастерских, где изготавливаются все книги, издаваемые затем многомиллионными тиражами: они призваны не убеждать, а продемонстрировать реальную власть идеологии.

Когда Сталин провозгласил самую демократичную конституцию, когда он в своих речах противопоставлял ложной западной демократии подлинную советскую, он пытался не убедить, а утратить этой ложью, ложью столь всеобъемлющей, что она черпает ошеломляющую силу в своей невероятной дерзости, демонстрируя, на что власть способна⁵. Идеология стала знаком, эмблемой власти. К ней уже не присоединяются в результате разумного свободного решения, не совершают никаких интеллектуальных операций. Достаточно ей подчиниться. Нужно его говорить, и если всякий язык — общественная институция, то этот язык — институция якобы существующего общества.⁶

Но едва лишь начинаешь на нем говорить, пусть даже вполне невинно, из простой социальной адаптации, вполне отдавая себе отчет в его пустоте, как он сразу обретает плоть. В самом деле, побуждая его использовать, власть уже добила своего, а единая с ней идеология начинает воплощаться: она становится подлинной. Тот, кто на этом языке говорит, придает идеологии истину, свою, и бытие, свое. Подданный идеологии, сделав лишь первый шаг, который еще просто ложь, опустошается и лишается своей сути в пользу этой лжи, а она, обретя таким образом весомость, уже перестает быть таковой, а становится неким фактом, на который может быть обращена и его искренность, и, возможно, его вера. Подданный уже может и не помнить о первом шаге, обусловившем то, что его обобрали, или, если хотите, им овладели.

Только в 1974 году один человек, ценою страданий и внутренней работы, создал формулу, способную снять заклятие. *«И не каждый день, не на каждое плечо кладет насиле свою тяжелую лапу: оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного участия во лжи — и в этом вся верноподданность. И здесь-то лежит пренебрегаемый нами, самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению: л и ч н о е н е у ч а с т и е в о л ж и. Пусть ложь все покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрямся: п у с т ь в л а д е е т н е ч е р е з м е н я !..»* Обезличивающее царство идеологического слова оказалось разрушено вторжением слова личного, м о е г о. *«Ибо когда люди отшатываются ото лжи — она просто перестает существовать. Как зараза, она может существовать только на людях»* (А.И.Солженицын, «Жить не по лжи»).

⁵ Сталин, «О проекте Конституции СССР», цитата заняла бы слишком много места.

⁶ Единство дубового языка, означавшего до захвата власти причастие к единому видению мира, после захвата власти означает подчинение ей. В самом деле, ответственность языка является проверкой на законопослушание. Разноголосица — первый признак неповиновения.

В СССР главное различие противопоставляет и х, членов партии, и н а с, пассивных подданных ее власти. Нужно, однако, чтобы партия была свободнее своих подданных по отношению к идеологии. *«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним твою заповедь... Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить единство нашей партии, как зеницу ока. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь»*⁷.

Понять «клятву» Сталина позволяет следующее: унаследованная от Ленина триада «идеология — партия — власть» не может быть разъята. Ленин свободно ее сформулировал, и она стала необходимостью. Отныне ее приходится терпеть. В свое время Ленину пришла в голову первая часть триады. Он выковал вторую. Он завоевал третью. Его наследникам следует читать триаду в обратном порядке. Если они хотят сохранить власть, они должны защищать единство партии, а для этого надо сохранять ее нематериальную душу, идеологию. И теперь в России невозможно потерять власть, не потеряв жизнь. Сохранение идеологии, не важно, живой или мертвой, стало вопросом жизни и смерти.

Одно неоспоримо в ленинском режиме: он у власти и способен расширять свое могущество. Вся реальность идеологии сосредоточена в осуществлении власти. Только на этом уровне существует рациональное, функциональное поведение, нейтральное по отношению к идеологии, но облаченное в нее и вооруженное ею такой эффективностью, которой не обладало самое хладнокровное поведение макиавеллистов прошлого. На этом же уровне существует и обычное человеческое стремление править, господствовать и в конечном счете действовать. Оно должно быть пронизано идеологией, но благодаря ей же полностью удовлетворяться. Ленинская власть, как всякая реальная власть, владеет реальным, нападает и поглощает реальное и может надеяться, что сможет и впредь питаться им. Разрешенное идеологией стремление к власти — возможность ускользнуть от ирреальности идеологии. Власть для идеологии — вечная надежда на выздоровление.

Эта надежда постоянно обманута. Власть, существующая лишь в идеологии, ею захвачена и поработана. Она может действовать лишь по навязанному ей плану, неосуществимому, но неизменному. Цена, которую партии приходится платить идеологии за сохранение власти — полное бессилие воздействовать на реальность т а м, г д е о н а е с т ь. Идеоло-

⁷ Сталин, По поводу смерти Ленина.

гия претендует на то, что охватывает всю реальность. Но реальное прячется в тени, которую бросает на нее идеология. Никогда разрыв между идеологией и реальностью не был так велик, как с той поры, как идеология захватила над ней власть. Партия даже не может признать тем, что он есть, тот кусок реальности, которым она владеет, то есть саму власть. Идеология — сознание партии, форма ее власти. Но она бессознательна, и форма остается пустой. Партия не может хотеть чего-то иного, кроме построения социализма, одновременно требуя признания того, что он уже существует, в то время как реальная реальность ускользает от нее во все щели и, хотя и ослабленная и искаленная, остается единственной реальностью. Власть партии требует своего непрерывного распространения, бессильной компенсации своего фундаментального бессилия. Она — власть без содержания, и стремление к социализму, покуда он не воплощен, это стремление к небытию. Бесконечное распространение власти (оно же — бесконечное распространение идеологии) можно сравнить с перекрашиванием картин, покрывающим все полотно, но неспособным помешать прежнему рисунку проступить снова и снова, что каждый раз требует нового слоя краски.

Здесь нужно закончить эту историю, потому что сама история остановилась. Эволюционировала сама реальность. Она сделала это, как смогла, в постоянном компромиссе между жизненными потребностями и предписанной ей ролью. Но ленинский режим неизменен, скрепленный с предшествовавшей ему идеологией, создавшей его и поддерживающий его по сей день. Такова странная участь этой хронолатрии: она вырвала из исторического времени, которому хотела все подчинить, созданный ею для этого режим.

Эта власть сохраняет что-то похожее на реальность на передовом фронте, на той подвижной границе, что отделяет уже ею захваченное от того, что ей еще не подвластно. Она завоевывает, чтобы существовать, но добыча, едва лишь завоеванная, ускользает, умирает, и власть не может ее присвоить. Она остается невоплощенным могуществом, вроде того ангела, обреченного вечно стремиться к тому, чтобы сущего не было, а то, чего нет, существовало бы.

Трещина, раскрывшаяся сначала в уме одного человека, затем, 7 ноября 1917 года, в целом городе, не закрылась и продолжает расширяться за счет всего мира. В ее зиянии идеология одновременно и все, и ничего, в зависимости от того, рассматривать ли ее видимую вездесущность или невидимое бессилие. Партия не может от нее освободиться, даже если она мертва и в духе и в вере, не аннулировав тем самым самое себя. Поэтому она вместе со своими подданными переносит мучения, на которые,

по словам Вергилия, один этрусский царь обрекал своих пленных, привязывая их к трупу.⁸

Этот труп выставлен напоказ. Он в мавзолее, который власть воздвигла для него, когда поняла, что не может предать его земле. С той поры к его порогу выстроилась очередь длинной крестного хода на Пасху в православной России. Мужчины, женщины, дети заходят в эту полную могилу, чтобы взглянуть на тело (или на заменившую его восковую куклу), из которого вылетела идеологическая душа, завладевшая ими всеми.

⁸ Вергилий, «Энеида», VIII, стих 485–488.

БИБЛИОГРАФИЯ

Настоящая библиография не является ни полной, ни исчерпывающей. В нее включены все работы, цитируемые в настоящем издании, а также те работы, из которых автор почерпнул информацию или идеи, имеющие непосредственное отношение к данному исследованию.

- ALEMBERT, J. le ROND D' *Discours preliminaire de l'Encyclopedie*, Gonthier, «Mediations», Paris, 1965.
- ALQUIE, F. *La decouverte metaphysique de l'homme chez Descartes*, P.U.F., Paris, 1966.
- ALQUIE, F. *Le cartesianisme de Malebranche*, Vrin, Paris, 1974.
- ANWEILER, O. *Les Soviets en Russie*, Gallimard, Paris, 1972.
- ARMOGATHE, J.R. *Le quietisme*, P.U.F., Paris, 1973.
- ARON, R. *L'Opium des Intellectuels*, Calmann-Levy, Paris, 1955.
- ARON, R. *Polemiques*, Gallimard, Paris, 1955.
- ARON, R. *Democratie et totalitarisme*, Gallimard, «Idees», Paris, 1965.
- ARON, R. *Penser la guerre, Clausewitz*, Gallimard, Paris, 1976, т. I, II.
- AUGUSTIN. *Six traites antimanicheens*, OEuvres, т. 13, Desclée de Brouwer, Bruges, 1961.
- AUGUSTIN, Saint. *Les Confessions*, OEuvres, т. 13, Desclée de Brouwer, Bruges, 1962.
- AVRICH, p. *The Russian Anarchists*, Princeton University Press, Princeton, 1967.
- BAECHLER, J. *Qu'est-ce que l'ideologie*, Gallimard, Paris, 1976.
- BARON, P. *Alexis Stepanovitch Khomiakov*, Pont. Inst. Orientalium Studiorum, Rome, 1940.
- BARON, S. H. «Between Marx and Lenin, George Plekhanov», in *Revisionism, Essays on the History of Marxist Ideas*, L. Labeledz editor, 1962.
- BARON, S. H. *Plekhanov, the Father of Russian Marxism*, Stanford University Press, Stanford, 1963.
- BARUZI, J. *Leibniz et l'organisation religieuse de la terre*, Alcan, Paris, 1907.
- BENZ, E. *Les sources mystiques de la philosophie romantique allemande*, Vrin, Paris, 1968.

- BERELOWITCH, W. *Ecole et ideologie dans la Russie sovietique des annees vingt*, These inedite, EHESS, 1977.
- BERLIN, I. *Russian Thinkers*, The Hogarth Press, Londres, 1978.
- BERNSTEIN, E. *Les presupposes du socialisme*, Seuil, Paris, 1974.
- BESANCON, A. *Le tsarevitch immole*, Plon, Paris, 1967.
- BESANCON, A. *L'Idiot* (preface), Gallimard, Paris, 1972.
- BESANCON, A. *Education et societe en Russie dans le second tiers du XIXe siecle*, Mouton, Paris, La Haye, 1974.
- BESANCON, A. «Present sovietique et passe russe» *Contrepoint*, № 14, 1974, стр. 21–27.
- BESANCON, A. «L'inconscient: l'episode de la prostituee dans *Que Faire?* et dans le *Sous-Sol*», in *Faire de l'Histoire*, J. LE GOFF et P. NORA, Gallimard, Paris, 1974, т. III, стр. 31–55.
- BESANCON, A. «Michelet, Dostoievski, l'Histoire», *Contrepoint*, № 19, 1975, стр. 87–101.
- BESANCON, A. «De la difficulte de definir le regime sovietique», *Contrepoint*, № 20, 1976, стр. 115–128.
- BESANCON, A. *Court traite de sovietologie*, prefase Raymond Aron, Hachette, Paris, 1976.
- BIELINSKI, V. *Textes philosophiques choisis*, Moscou, 1948.
- БЕЛИНСКИЙ. *Письмо к Гоголю*. «Литературное наследство», т. 56.
- BLOK, A. *OEuvres en prose*, L'Age d'Homme, Lausanne, 1974.
- BOD, L. «Langage et pouvoir politique», *Etudes*, fevrier 1975, стр. 177–215.
- BOUKHARINE, N., et PREOBRAJENSKI, E., *A.B.C. du communisme*, F. Maspero, Paris, 1971. (См.: Бухарин Н. И. и Преображенский Е. *Азбука коммунизма*. Харьков, 1925.)
- BROWER, D. R. *Training the Nihilists*, Cornell University Press, Ithaca & London, 1975.
- BROWN, E.J. *Stankevich and his Moscow Circle*, Stanford University Press, Stanford, 1966.
- CASSIRER, E. *La philosophie des Lumieres*, Fayard, Paris, 1966.
- CHAMBRE, H. *Le marxisme en Union sovietique, ideologie et institutions*, Seuil, Paris, 1955.
- CHAMBRE, H. *L'evolution du marxisme sovietique*, Seuil, Paris, 1974.
- CHAUNU, P. *La civilisation de l'Europe classique*, Arthaud, Paris, 1966.
- CHERNIAVSKY, M. «Khan or Basileus», in *The Structure of Russian History*, M. Cherniavsky editor, Random House, New York, 1970, стр. 64–79.
- CHESTOV, L. «Kierkegaard et Dostoievski», in *Kierkegaard et la philosophie existentielle*, Vrin, Paris, 1972.

- CHRISTOFF, P. K. *Khomjakov*, Mouton, S'Gravenhage, 1961.
- CIESZKOWSKI, A. VON, *Prolegomenes a l'historiosophie*, Champ libre, Paris, 1973.
- COCHIN, A. *Les societes de pensee et la democratie moderne*, Plon, Paris, 1921.
- CONFINO, M. «On Intellectuals and Intellectual Traditions in Eighteenth and Nineteenth-Century Russia», *Daedalus*, Spring, 1972, vol. 101, № 1, стр. 117–149.
- CONFINO, M. *Violence dans la violence, le debat Bakounine-Necaev*, F. Maspero, Paris, 1973.
- DANIELS, R. V. *Red October*, Scribner's sons, New York, 1967.
- DIDEROT, D. «Entretiens sur le Fils Naturel», in DIDEROT, *OEuvres choisies*, Gallimard, «Pleiade», Paris, 1951.
- DORESSE, J. «La gnose», in *Histoire des Religions*, Encyclopedie de la Pleiade, Gallimard, Paris, 1972, стр. 364–430.
- DOSTOIEVSKY, F. M., *Correspondance*, Calmann-Levy, Paris, т. I–IV, 1949–1961.
- DROUILLY, J. *La pensee politique et religieuse de Dostoievski*, Les cinq continents, Paris, 1971.
- DVORNIK, F. *Les Slaves*, Seuil, Paris, 1970.
- ENGELS, F. *Anti-Duhring*, Editions Sociales, Paris, 1950.
- ENGELS, F. *Dialectique de la Nature*, Editions Sociales, Paris, 1952.
- FAIVRE, A. *L'esoterisme au XVIIIe siecle*, Seghers, Paris, 1973.
- FEJTO, F. *L'heritage de Lenine*, Casterman, Paris, 1973.
- FISCHER, L. *La vie de Lenine*, Plon, Paris (10–18), 1971.
- FLOROVSKY, G. *Puti russkago bogoslovija*, Paris, 1937 (Флоровский, Г. Пути русского богословия, Париж, 1937)
- FLOROVSKY, G. «The Problem of Old Russian Culture», in : *The Structure of Russian History*, M. CHERNIAVSKY ed., Randon House, New York, 1970, стр. 126–139.
- GABEL, J. «Delire politique chez un paranoide», *Evolution psychiatrique*, Paris, 1952.
- GABEL, J. *La fausse conscience*, Editions de Minuit, Paris, 1962.
- GABEL, J. *Ideologies*, Ed. Anthropos, Paris, 1974.
- GAXOTTE, P., TULARD, J. *La Revolution franzaise*, Fayard, Paris, 1975.
- GIRARD, R. *Mensonge romantique et verite romanesque*, Grasset, Paris, 1961.
- GIRARD, R. *Dostoievski, du double a l'unite*, Plon, Paris, 1963.

- GLAZOV, Y. «Le double langage dans la litterature et la societe sovietique», *Plamia*, Paques 1974, № 38, стр. 24–36.
- GOLDSTEIN, D. I. *Dostoievski et les Juifs*, Gallimard, «Idees», Paris, 1976.
- GOUIER, H. *La jeunesse d'Auguste Comte et la formation du positivisme*, Vrin, т. I, II, III, Paris, 1933.
- GRAHAM, L. R. *Science and Philosophy in the Soviet Union*, Vintage Books, New York, 1974.
- GRATIEUX, A. A. S. *Khomjakov et le mouvement slavophile*, т. I et II, Editions du Cerf, Paris, 1939.
- GRATIEUX, A. *Le mouvement slavophile a la veille de la Revolution*, Editions du Cerf, Paris, 1953.
- GROETHUYSEN, B. *Philosophie de la Revolution franzaise*, Gonthier, «Mediations», Paris, 1966.
- GUSDORF, G. *Dieu, la Nature et l'Homme du siecle des Lumieres*, Payot, Paris, 1972.
- GUSDORF, G. *Naissance de la conscience romantique au siecle des Lumieres*, Paris, Payot, 1976.
- HAZARD, P. *La crise de la conscience europeenne, 1680–1715*, Gallimard, «Idees», Paris, 1968.
- HELLER, M. *Le Monde concentrationnaire et la litterature sovietique*, L'Age d'homme, Lausanne, 1974.
- HELLER, M. «Lenin i Veceka», *Vestnik*, № 119, Paris, 1976, стр. 183–205. (Геллер М. Ленин и ВЧК, «Вестник РСХД», № 119, Париж, 1976)
- HELVETIUS. *De l'Esprit*, Marabout Universite, Verviers, 1973.
- HISTOIRE DU PARTI COMMUNISTE (BOLCHEVIQUE) DE L'U.R.S.S., Moscou, 1947.
- HERZEN, A. *Textes philosophiques choisis*, Moscou, 1948. (См.: Герцен А.И. Избранные философские произведения, М., 1948.)
- HERZEN, A. *Passe et Meditation*, L'Age d'Homme, т. I et II, Lausanne, 1974 et 1976. (Герцен А. Былое и думы. М., 1970.)
- ИВАНОВ-РАЗУМНИК. *История Русской общественной мысли*. Санкт-Петербург, 1908.
- JAEGER, H. «La mystique protestante et anglicane», in RAVIER, *La mystique et les mystiques*, Desclée de Brouwer, Bruges, 1965, стр. 256–407.
- JAEGER, H. *Le Pietisme*, *Plamia*, 1977, № 47, стр. 15–20.
- KANT, E. *Reveries d'un visionnaire*, Vrin, Paris, 1967.
- KANT, E. *Prolegomenes a toute metaphysique future*, Vrin, Paris, 1968.

- KARPOVICH, M. M. «P. L. Lavrov and Russian Socialism», *California Slavic Studies*, vol. II, 1963, стр. 21–38.
- KEEP, J. L. H. *The Rise of Social Democracy in Russia*, Clarendon Press, Oxford, 1963.
- КНОМИАКОФФ, А. S. *L'Eglise latine et le protestantisme au point de vue de l'Eglise d'Orient*, Vevey, Lausanne, 1872.
- КИРЕЕВСКИЙ И. В. *Полное собрание сочинений*. Т. 1–2, М., 1911.
- KOYRE, A. *La philosophie et le probleme national en Russie au debut du XIXe siecle*, Honore Champion, Paris, 1929.
- KOYRE, A. *Etudes sur l'histoire de la pensee philosophique en Russie*, Vrin, Paris, 1950.
- KOYRE, A. *La philosophie de Jacob Boehme*, Vrin, Paris, 1971.
- KOYRE, A. *Mystiques spirituels et alchimistes du XVIIe siecle allemand*, Gallimard, «Idees», Paris, 1971.
- KOYRE, A. *Du monde clos a l'univers infini*, Gallimard, «Idees», Paris, 1973.
- КОЗЬМИН Б. П. *Ткачев и революционное движение 1860-х годов*. М., 1922.
- КОЗЬМИН Б. П. «П. Н. Ткачев» — *Из истории революционной мысли в России*, М., 1961.
- KRIEGEL, A. *Les communistes franais*, Seuil, Paris, 1968.
- KRIEGEL, A. «Notes sur l'ideologie dans le Parti communiste franais», *Contrepoint*, printemps 1971, № 3, стр. 95–104.
- KRIEGEL, A. «Les proces ou la pedagogie infernale dans le systeme stalinien», in *Melanges en l'honneur de Raymond Aron*, Calmann-Levy, Paris, 1971, т. I, стр. 500–546.
- LABRY, R. *Alexandre Ivanovic Herzen*, Bossard, Paris, 1928.
- LALOY, J. *Le socialisme de Lenine*, Desclee de Brouwer, Paris, 1967.
- LA METTRIE. *Textes choisis*, Editions Sociales, Paris, 1954.
- LA METTRIE. *L'homme machine*, J.-J. Pauvert, Paris, 1966.
- LAVROFF, P. *Lettres historiques*, Schleicher freres, Paris, 1903. (См.: Лавров П. *Исторические письма*)
- LEIBNIZ. *Essais de theodicee*, Garnier-Flammarion, Paris, 1969.
- LENINE, *Marx, Engels, Marxisme*, Moscou, 1947.
- В. И. ЛЕНИН. *Избранные произведения в двух томах*, М., 1948.
- LENINE, *Materialisme et empiriocriticisme*, Editions Sociales, Paris, 1948.
- LENINE, *Cahiers sur la dialectique de Hegel*, Gallimard, «Idees», Paris, 1967.
- LENINE, *Ecrits sur l'art et la litterature*, Moscou, 1969.
- В. И. ЛЕНИН. *Избранные произведения в трех томах*. М., 1970.
- LENOBLE, R. «Origines de la pensee scientifique moderne», in *Histoire de la Science*, Encyclopedie de la Pleiade, Gallimard, Paris, 1957.

- LENOBLE, R. *Histoire de l'idee de Nature*, Albin Michel, Paris, 1969.
- LENOBLE, R. *Mersenne ou la naissance du mecanisme*, Vrin, Paris, 1971.
- LEY, F. *Alexandre I-er et sa Sainte Alliance*, Fischbacher, Paris, 1975.
- LOSSKI, N. O., *Histoire de la philosophie russe*, Payot, Paris, 1954.
- LOWITH, K. *De Hegel a Nietzsche*, Gallimard, Paris, 1969.
- MALIA, M. *Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism*, Harvard University Press, Cambridge, 1961.
- MANDELSTAM, N. *Contre tout espoir, Souvenirs*, Gallimard, Paris, т. I, II, III, 1972–1975.
- MANNHEIM, K. *Ideology and Utopia*, A Harvest book, New York, 1936.
- MARITAIN, J. *La philosophie morale*, Gallimard, Paris, 1960.
- MARTIN, G. *Leibniz, logique et metaphysique*, Beauchesne, Paris, 1966.
- MARX, K., ENGELS, F. *Etudes philosophiques*, Editions Sociales, Paris, 1947.
- MARX, K. *La Russie et l'Europe*, Gallimard, Paris, 1954.
- MATHIEU, V. *Phenomenologie de l'esprit revolutionnaire*, Calmann-Levy, Paris, 1974.
- McLELLAN, D. *Les jeunes hegelien et Karl Marx*, Payot, Paris, 1972.
- MICHELET, J. *Legendes democratiques du Nord*, P. U. F., Paris, 1968.
- МИЛЮКОВ П. Н. *Очерки по истории русской культуры*. СПб, 1893–1903, ч. 1–3.
- MILOSZ, C. *La pensee captive*, Gallimard, Paris, 1953.
- MILOSZ, C. «Dostoievsky and Swedenborg». *Slavic Review*, juin 1975, vol. 34, стр. 302–318.
- MONNEROT, J. *Sociologie du communisme*, Gallimard, Paris, 1949.
- MORELLY. *Le code de la Nature*, Editions Sociales, Paris, 1970.
- MOTCHOULSKI, C. *Dostoievski, l'homme et l'oeuvre*, Payot, Paris, 1963.
- NAVOKOV, V., *Le don*, Gallimard, Paris, 1967. (См.: Набоков В. *Дар*. Ардис, 1975.)
- NOMAD, M., «Machaiski», *Contrat Social*, vol. II, № 5, 1958.
- OBOLENSKY, D., «Russia's Byzantine Heritage», in *The Structure of Russian History*, M. CHERNIAVSKY ed., Random House, New York, 1970, p. 43–47.
- ORWELL, G. *The collected Essays, Journalism and Letters*, Penguin Books, Londres, т. I, II, III, IV, 1970.
- ORWELL, G. 1984, Gallimard, «Folio», Paris, 1973. (См.: Оруэлл. 1984. «Новый мир», № 2–4, 1989.)
- PAPAIOANNOU, K. *Hegel*, Seghers, Paris, 1962.

- PAPAIOANNOU, K. «Classe et Parti», *Contrat Social*, vol. VII, № 4, 5, 1964.
- PAPAIOANNOU, K. *L'ideologie froide*, J.-J. Pauvert, Paris, 1967.
- PAPAIOANNOU, K. *Marx et les marxistes*, Flammarion, Paris, 1972.
- PASCAL, P. *Dostoievski*, Desclee de Brouwer, Bruges, 1969.
- PASCAL, P. *Dostoievski, l'homme et l'oeuvre*, L'Age d'homme, Lausanne, 1970.
- PASTERNAK, B. L., *Le docteur Jivago*, Gallimard, Paris, 1958 (Пастернак Б. Доктор Живаго)
- Малый философский словарь*. Под редакцией М. Розенталя и П. Юдина, М., 1955.
- PIPES, R., ed. *The Russian Intelligentsia*, Columbia University Press, New York, 1961.
- PIPES, R. *Social Democracy and the St Petersburg Labor Movement, 1885–1897*, Harvard University Press, Cambridge, 1963.
- PIPES, R. *Struve, Liberal on the Left, 1870–1905*, Harvard University Press, Cambridge, 1970.
- PIPES, R. *Russia under the Old Regime*, Wildenfeld and Nicolson, Londres, 1974.
- PLEKHANOV, G. *Introduction a l'histoire sociale de la Russie*, Bossard, Paris, 1926.
- PLEKHANOV, G. *Oeuvres philosophiques*, т. I, II, Moscou, s.d. (Плеханов Г. Философские сочинения, М., 1928–1932)
- «Pour le Centenaire de Lenine», № special d'Est-Ouest, 1–30 avril 1970, Paris, стр. 444–445.
- PUECH, H. C. «Le manicheisme», in *Histoire des Religions*, Encyclopedie de la Pleiade, Gallimard, Paris, 1972, т. II, стр. 523–696.
- RAEFF, M. *Origins of the Russian Intelligentsia, The Eighteenth-Century Nobility*, Harcourt Brace, New York, 1966.
- RAEFF, M. «Les Slaves, les Allemands et les Lumieres», *Canadian Slavic Studies*, I, № 4, 1967, стр. 521–551.
- RAEFF, M. «La jeunesse russe a l'aube du XIXe siecle, Andre Turgenev et ses amis», *Cahiers du Monde russe et sovietique*, Paris, 1967, vol. VIII, № 4, стр. 560–586.
- ROSS, N. *La conception du Monde, l'image de l'homme et de la Nature en Russie a l'epoque d'Andre Roublev*, These de troisieme cycle inedite, Paris, 1973.
- ROUET DE JOURNAL, M. J. *Un college de Jesuites a Saint-Petersbourg, 1800–1806*, Librairie academique Perrin, Paris, 1922.
- ROULEAU, F. *Ivan Kireevski et sa place dans la pensee russe*, These inedite, Ecole des Hautes Etudes, t.I et II, 1972.
- RUDOLPH, K. «La religion mandeenne», *Histoire des religions*, Encyclopedie de la Pleiade, Gallimard, Paris, 1972, т. II, стр. 498–522.

- RUPP, J. «Les theologiens de Kiev trait d'union paradoxal entre l'Est et l'Ouest a l'age de Sobieski», *Arbeits-und Fordderungsgemeinschaft der Ukrainischen Wissenschaften Mittelungen*, № 6–7, 1970, Munich, стр. 37–53.
- SADE, D.A.F. *Les prosperites du vice*, Plon (10–18), Paris, 1969.
- SAKHAROV, A. *Sakharov parle*, Seuil, Paris, 1974.
- SCHAPIRO, L. *De Lenine a Staline*, Gallimard, Paris, 1967.
- SCHERRER, J. *Die Petersburger Religios-Philosophischen Vereinigungen*, Osteuropa Institut, Berlin, 1973.
- SCHERRER, J. «Intelligentsia, religion, revolution», *Cahiers du Monde russe et sovietique*, vol. XVII, № 4, octobre–decembre 1976, стр. 427–466 и vol. XVIII, № 1–2, janvier–juin 1977, стр. 5–32.
- SCHILS, E. «The Concept and Function of Ideology», *International Encyclopedia of the Social Sciences*, 1968, т. VII, стр. 66–76.
- SETON-WATSON, H. *The Russian Empire, 1801–1917*, Clarendon Press, Oxford, 1967.
- SOLJENITSYNE, A. *L'Archipel du Goulag*, Seuil, Paris, 1973, т. I. (См.: Солженицин А. И. *Архипелаг ГУЛАГ*)
- SOLJENITSYNE, A. *Lettre aux dirigeants de l'Union sovietique*, Seuil, Paris, 1974. (См.: Солженицин А. И. *Письмо вождям Советского Союза*)
- SOLJENITSYNE, A. *Lenine a Zurich*, Seuil, Paris, 1975. (См.: Солженицин А. И. *Ленин в Цюрихе*)
- SOLOVIEV, V., *La Crise de la philosophie occidentale*, Aubier, Paris, 1947.
- SOUVARINE, B. *Staline*, Champ Libre, Paris, 1977.
- СТАЛИН И. В. *Вопросы ленинизма*. М., 1947.
- СТАЛИН И. В. *Сочинения*, ОГИЗ, М., 1947.
- TALMON, J.L., *Les origines de la democratie totalitaire*, Calmann-Levy, Paris, 1966.
- TCHERNYCHEVSKI, N. *Textes philosophiques choisis*, Moscou, 1957 (См. Чернышевский Н. Г., *Избранные философские сочинения*, М., 1938)
- ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Н. «Что делать?», М., 1966.
- TREADGOLD, D. W. *The West in Russia and China*, т. I, «Russia, 1472–1917», Cambridge, The University Press, 1973.
- ТКАЧЕВ П. Н. *Избранные сочинения на социально-политические темы, в четырех томах*, М., 1932–1934.
- ULAM, A. *The Unfinished Revolution*, Vintage books, New York, 1964.
- ULAM, A. *Les Bolcheviks*, Fayard, Paris, 1973.
- ULAM, A. *Stalin, the Man and his Era*, Viking Press, New York, 1974.
- ULAM, A. *In the Name of the People*, Viking Press, New York, 1977.

- VALENTINOV, N. *Mes rencontres avec Lenine*, Plon, Paris, 1964.
 VANCOURT, R. *La pensee religieuse de Hegel*, P.U.F., Paris, 1971. *Вехи. Сборник статей о Русской Интеллигенции*, М., 1909.
 VENTURI, F. *Les Intellectuels, le Peuple et la Revolution*, Gallimard, Paris, 1972.
- WALICKI, A. *The Controversy over Capitalism, Studies in the Social Philosophy of the Russian Populists*, Clarendon Press, Oxford, 1969.
 WALICKI, A. *The Slavophile Controversy*, Clarendon Press, Oxford, 1975.
 WEIDLE, W. *La Russie absente et presente*, Gallimard, Paris, 1949.
 WETTER, G. *L'ideologie sovietique contemporaine*, Payot, Paris, 1965.
 WOLFE, B. D. *La jeunesse de Lenine; Lenine et Trotski; Lenine, Trotski, Staline*, Calmann-Levy, Paris, 1951, т. I, II, III.
- YATES, F. A. *L'art de la Memoire*, Gallimard, Paris, 1975.
- ZAMIATINE, E. *Nous autres*, Gallimard, Paris, 1929. (См.: Замятин Е.И. *Мы*, «Знамя», 1988 г., № 4–5.)
 ZENKOVSKY, B. *Histoire de la philosophie russe*, Gallimard, Paris, 1953, т. I, II.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Августин Блаженный 15, 19, 250
 Авенариус Ричард 200, 203, 205
 Авраам, библейский праотец 16–17
 Азан Пьер-Гиацинт 36
 Аксаков Иван Сергеевич 78–79
 Аксельрод Павел 171, 173, 180, 183
 Александр I 65, 98
 Александр II 99, 108, 128, 151
 Александр III 86, 109
 Александр Македонский 189
 Арендт Иоганн 64
 Аристотель 15, 23, 57, 219, 255
 Арманд Инесса 194
 Арнольд Готтфрид 45, 64–65
 Арон Раймонд 16
 Баадер, Франц фон 65, 71, 88, 124, 141, 148
 Байрон Джордж Гордон 140, 192
 Бакунин Михаил Александрович 89–91, 95–97, 123, 127–129, 131, 135–136, 138, 145, 149, 159, 162–163, 224–226, 230, 273
 Баррюэль, аббат 225
 Баумейстер 63
 Бауэр Бруно 49–50
 Белинский Виссарион Григорьевич 87, 91–92, 95–97, 123, 145, 172–173
 Бем-Баверк, Юджин фон 180
 Бёме Якоб 44, 46, 124
 Бенгель Иоганн Альбрехт 45
 Бердяев Николай Александрович 79, 112, 141, 273
 Беркли Джордж, епископ 205
 Бернштейн Эдуард 56–57, 176–184, 188
 Бисмарк, Отто фон 109, 191, 195, 241
- Блок Александр 91, 131, 141, 273
 Борджиа Цезарь 241
 Бозм 142
 Бруно 46, 68
 Булгаков Сергей Николаевич 111
 Буриньон Антуанетта 45
 Бухарин Николай Иванович 11, 14
 Бэкон Френсис 14
 Бюффон Жорж Луи Леклерк, граф де 37
 Бюхнер Людвиг 96, 121
 Валентин Египетский 17
 Валентинов Николай 192, 195
 Валицкий А. 151–152
 Валлес Жюль 106
 Василий III 61
 Вебер 68
 Вебер Макс 191
 Ведле Владимир 101
 Вейгель Валентин 44
 Величковский Паисий, монах 66
 Велланский 68
 Вентури Франко 136
 Верн Жюль 124
 Витте Сергей Юльевич, граф 86, 175
 Владимир Святой 70
 Вольней, граф де 42
 Вольтер (Аруз, Франсуа Мари) 35, 37–38, 47, 74, 87, 91
 Вольф 63
 Вольф Бертрам Д. 191
 Воронцов В.П. 175
 Гаман 124
 Гассенди Пьер 27–28
 Гегель Георг Вильгельм Фридрих 48–54, 57, 72, 88–89, 91, 93–94, 139, 182, 189, 200–201, 205, 273

Гейне Генрих 50, 56–57
 Геккель 53, 147–148
 Гельвещий Клод Адриан 38, 181, 205
 Гельмонт, Ван 46
 Гендерсон А. 240, 242
 Гераклит 14, 205
 Гердер, Иоганн Готфрид фон 47, 68
 Герхард 63
 Герцен Александр Иванович 86–87, 93–97, 123–124, 126–127, 142, 146, 151, 196, 199, 232
 Гершензон Михаил 112
 Гесс Мосес (Моритц) 94
 Гете, Иоган Вольфганг фон 140, 192
 Гизо Франсуа Пьер Гийом 85, 121
 Гиппиус Зинаида Николаевна 141
 Гитлер Адольф 16, 57, 189, 191, 246
 Гладстон Уильям Эварт 195
 Гоббс Томас 14, 27–28, 33, 39
 Гобсон Джон Аткинс 211
 Гоголь Николай Васильевич 92
 Голицын, кн. 65–66
 Гольц, Шарль де 189
 Гольбах, Поль-Анри Дитрих барон д' 38, 126, 181, 183, 205
 Гончаров Иван Александрович 192
 Горинич 165
 Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) 196
 Грановский Т.Н. 87
 Гроций, Гуго де Гроот 39
 Гувёр Герберт 189, 266
 Гюйгенс Христиан 27
 Гюйон, Жанна-Мари Бувье да ла Мотт 45
 Даладьё Эдуар 189
 Д'Аламбер Жан Лерон 34–35
 Даниэльсон 149, 175
 Дарвин Чарльз 16, 207
 Декарт Рене 14–15, 28–29, 34–35, 47, 53, 71, 194, 269
 Демокрит 14, 205
 Дейч Л.Г. 171
 Дидро Дени 37–38, 182, 205
 Добролюбов Николай Александрович 96, 115, 192
 Достоевский Федор Михайлович 16, 43, 67, 112, 128, 131–132, 136–141, 192, 194, 196–197, 251
 Дрейфус Альфред 106
 Дюркгейм Эмиль 148
 Екатерина II 65
 Жозефина (Таше де Ла Пажри) 41
 Замятин Евгений Иванович 9
 Засулич Вера Ивановна 167
 Зенковский Б. 14
 Зибер Н.И. 175
 Зиновьев Григорий Евсеевич 251, 276
 Иванов И.И. 165
 Иванов-Разумник 110
 Иисус Христос 64
 Иоанн 16–17
 Иоанн Климак 73
 Иосиф Волоцкий 61
 Исаак Сирион 70, 73
 Ишутин Николай Андреевич 135
 Кабанис Пьер-Жан-Жорж 42
 Кавелин Константин Дмитриевич 85, 87, 232
 Канизий Петр 62
 Кант Иммануил 15, 35, 47–48, 181, 183–184, 194, 205, 269
 Каракозов Дмитрий Владимирович 135
 Карл XI 63
 Карл XII 69
 Каутский Карл 15, 54, 117, 178, 180–181, 186, 199, 207, 248
 Казтано (кардинал Томас де Вино) 63
 Керенский Александр Федорович 253, 257
 Кинс Эдгар 225–226
 Киреевский Иван Валильевич 15, 64, 67, 69–76, 78, 83, 86–87, 95
 Киселев Павел Дмитриевич 86
 Клаузевиц, Карл фон 219
 Клейн 68
 Кобург 40

Койре Александр 68
 Кондильяк, Этьен Бонно де 34, 42
 Кондорсе Мари-Жан-Антуан-Никола де Карита, маркиз де 38, 46
 Констан де Ребек, Бенжамен 85
 Конфино М. 136
 Корнель Пьер 42
 Корнилов Лавр Георгиевич 253
 Кошелев 67
 Кравчинский Сергей Михайлович 149, 168
 Кромвель Оливер 100, 190
 Крюденер, мадам де 65
 Кузэн Виктор 68
 Кутон Жорж 41
 Кьеркегор Сьерен 139
 Кюстин 84, 187
 Ламетри, Жюльен Оффрой де 35, 36, 182,
 Лабзин 65
 Лаватер Иоганн Каспар 65
 Лавров (Миртов) Петр Лаврович 115, 144–146, 149, 159, 163
 Ламенне 72
 Лассаль Фердинанд 36
 Лейбниц Готтфрид Вильгельм 31, 46–47, 50–51, 64
 Ленин Владимир Ильич 10, 13, 16–17, 39–41, 51, 54, 91, 101, 109, 113, 120, 125–127, 129, 132, 148, 158–161, 171, 173, 181, 184–187, 189–204, 206–214, 216–225, 228–252, 254–264, 266–271, 273–277, 279, 281, 283
 Леру Пьер 93
 Листонэ 36
 Локк Джон 30, 32, 34
 Лопатин Герман 149
 Лопухин 64
 Лосский Николай 14
 Лукреций 14
 Люксембург Роза 178, 185, 236
 Лютер Мартин 44, 46, 62, 81
 Мабли, Габриэль де 38
 Магницкий М.Л. 66
 Магомет (Мухаммед) 17, 190
 Макарий Египетский 64
 Макарий, старец 70
 Макиавелли Никколо 241–243, 245,
 Максим Исповедник 70
 Малиа Мартин 252
 Маликов А.Н. 167
 Мальбранш Никола 31
 Мандельштам Надежда Яковлевна 16
 Мани 17, 20, 124
 Марат Жан Поль 39, 155, 191, 241
 Марк Аврелий 200
 Маркс Карл 13–16, 49–51, 53–55, 76, 84, 91, 94–95, 146, 148–152, 155, 158–159, 161, 166, 172–173, 175, 177, 179–183, 187, 193–194, 199–201, 205–210, 214, 218, 227–229
 Маттео Витторнио 164
 Мах Эрнест 194, 196, 200, 203, 205–206, 208, 210, 269
 Мелер Иоганн Адам 71
 Мелье 35
 Мережковский Дмитрий 141
 Мерсенн Марин 27
 Милоков Павел Николаевич 156, 187
 Михайлов Александр Д. 163
 Михайловский Николай Константинович 146–149, 172, 202, 208–209
 Михайловский 110–111
 Мишле Жюль 83–84, 95, 139, 187, 225–226
 Молешотт 96, 121
 Молино, Мигель де 64
 Мольер (Поклен, Жан Батист) 192
 Монеро Жюль 16
 Монтескье, Шарль де 35, 38, 74
 Морелли 36, 38–39
 Муссолини Бенито 254
 Мышкин И.М. 167
 Мюллер Адам 71
 Мюнцер Томас 190

Наполеон I Бонапарт 65, 69, 106, 190–191, 223
 Натансон М.А. 163
 Некрасов Николай Алексеевич 192
 Нечаев Сергей Геннадьевич 127–128, 135–136, 138, 143, 146, 150, 153, 159, 161, 165, 224–225
 Николай I 83, 85–86, 88, 91, 98–99
 Николай II 86, 108
 Новалис (Харденберг, Фридрих Леопольд, барон фон) 60
 Ньютон Исаак 30–31, 54, 117, 206
 Обручев Николай 103
 Одоевский Александр Иванович 67
 Окен 68
 Ориген 72
 Оруэлл Джордж 9
 Павел I 64–65
 Палама Григорий, св. 64
 Папаиоанну Костас 15
 Парацельс 44, 64, 68, 206
 Паскаль Блез 28–29
 Пеги Шарль 60
 Петр I Великий 62–63, 70, 83, 98, 172, 186, 264
 Пилсудский Юзеф 254
 Писарев Дмитрий Иванович 96
 Питт Уильям 40
 Платон 23, 27, 39, 200, 205, 369
 Платон, Митрополит Московский 66
 Плеханов Георгий Валентинович 15, 52, 54, 109, 120, 156, 171–173, 178–189, 192, 199–200, 205, 207
 Плотин 20, 23, 24, 48
 Плутарх 42
 Погодин 67
 Порето 111
 Потресов Александр Николаевич 185
 Преображенский Евгений 11
 Прудон Пьер-Жозеф 115
 Пуанкаре Жюль-Анри 200, 205–206
 Пуфендорф, Самюэль Фрайхер фон 62
 Пушкин Александр Сергеевич 85–87, 92, 109, 192
 Пуэш Анри-Шарль 20–21
 Пэкстон 124
 Радек Карл (Бернгардович) 251
 Рамсей 31
 Рекамье Жюльетта 41
 Решетников 154
 Рикардо Дэвид 50, 175
 Ришелье, Арман Жан дю Плесси, кардинал, герцог де 190–191
 Робеспьер, Максимилиен Мари Изидор де 41, 155, 189–191
 Робинэ Жан Батист Рене 36
 Розанов Василий Васильевич 273
 Руге Арнольд 50, 94
 Рузвельт Франклин Делано 189
 Руссо Жан-Жак 37–39, 45, 122
 Савиньи 70
 Сад, маркиз де (Сад, Донатъен-Альфонс-Франсуа, граф де) 36–37
 Сведенборг Эмануэль 45, 47, 65
 Секундинус 19
 Сен-Мартен, Клод де 64–65
 Сен-Симон, Анри де 36
 Силезиус Анжело (Иоганн Шефлер) 73
 Симон Жюль 115
 Симон Р. 49
 Солженицын Александр Исаевич 9–12, 141, 197, 251, 263
 Солиньяк А. 23
 Соловьев Владимир Сергеевич 15
 Соловьев Сергей Михайлович 85, 156, 187
 Спенер Филипп Якоб 64
 Спенсер Герберт 147
 Спиноза, Бенедикт де 14, 32, 47, 49, 55, 182–183
 Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович 11, 14–16, 141, 189, 191, 210, 245–246, 270, 276, 282–283
 Столыпин Петр Аркадьевич 109
 Струве Петр Бернгардович 112, 175–176, 179–180

Сюзо Генрих 73
 Тальен, г-жа 41
 Ткачев П.Н. 146, 149, 153–162, 224–225, 242, 253
 Тодорский Сидон 64
 Токвиль, Алексис Клерель де 85, 99
 Толер 65
 Толстой Лев Николаевич 148, 213
 Траси, Дестют де 42
 Троицкий (Бронштейн) Лев Давидович 117, 185, 191, 196, 245, 252, 276
 Тургенев Иван Сергеевич 112, 122, 192
 Тьер Адольф 121, 190, 195
 Уваров Сергей Семенович, граф 71, 83
 Улам А. 185, 191
 Уэсли Джон 45
 Фейербах Людвиг 49, 76, 88, 96, 121, 205
 Фенелон, Франсуа де Салиньяк де ла Мот 31, 64
 Феофан Прокопович 62
 Философов Дмитрий 141
 Филофей, монах 61
 Фихте Иоганн Готтлиб 47, 56, 89
 Фишер Л. 191
 Фогт Карл 96, 121
 Фома Аквинский 15, 63
 Фортунат 22
 Франк Семен Людвигович 112
 Фрейд Зигмунд 191
 Фридрих II 69, 191
 Хомяков Алексей Стапанович 69, 71–72, 76–78, 86
 Цезарь Гай Юлий 190–191
 Чаадаев Петр Яковлевич 69, 135, 143
 Чемберлен Джозеф 189
 Чернышевский Николай Гаврилович 96, 109, 115–118, 120, 122–127, 129–130, 132, 135–136, 138, 149–150, 152–155, 161–162, 193–194, 196–199, 205, 211, 214, 230, 274
 Черчилль Уинстон 189
 Чешковский А. 93
 Чингисхан 189
 Чичерин Борис Николаевич 85
 Шамбр Анри 14
 Шатобриан, Франсуа Рене де 60
 Шевырев 67
 Шекспир Уильям 192
 Шеллинг, Фридрих Вильгельм Джозеф фон 44, 47–48, 67–68, 70, 72–73, 88, 93, 124, 148
 Шестов Лев 139
 Ширинский-Шахматов А.А. 66
 Шлегель Фридрих 70, 77, 88
 Шмидт Конрад 183
 Шопенгауэр 115, 269
 Штейнер Рудольф 142
 Штраус 49
 Эрбуа, Колло д' 41
 Экхарт Майстер 44, 73
 Экхартхаузен 65
 Энгельс Фридрих 50–54, 94, 125, 156, 159, 161, 177, 181–183, 186–187, 199–201, 203–208, 218, 229
 Эпикур 14, 205
 Эразм Роттердамский 30
 Этингер Ф. 44–45
 Юм Дэвид 33–34, 47, 183, 205
 Якоби 70, 72

ОГЛАВЛЕНИЕ

АЛЕН БЕЗАНСОН О СВОЕМ ПУТИ	5	
ГЛАВА I. Идеология	9	
<i>I. Солженицын и идеология. Советское определение идеологии. Она и все и ничто. Она — явление новое в истории. Одновременно и вера, и рациональное знание. Стр. 9</i>		
<i>II. Это не философия. Это не религия. Приблизительная модель: гнозис; гностическое отношение. Стр. 14</i>		
<i>III. Два принципа. Три времени. Новый человек. Центральное видение. В чем идеология не гнозис. Исторический цикл идеологии. Стр. 17</i>		
ГЛАВА II. Французский цикл	27	
<i>I. Современная наука уверена в себе. Она отвергает гнозис. Равновесие физики и метафизики в XVII веке. Неустойчивость религиозного равновесия. Стр. 27</i>		
<i>II. Кризис европейского сознания. Рождение эзотеризма. Достижение европейского сознания. Достижение ньютоновой науки. Стирание границ между физикой и метафизикой. Свободная от идеологии Англия. Стр. 30</i>		
<i>III. Совместная критика политики и религии во Франции. Человек, природа. Всеохватывающий разум. Стиль философский и стиль идеологический. Сравнение большевиков с якобинцами. Несовершенная идеология и незаконченная партия. Триумф гражданского общества. Стр. 33</i>		
ГЛАВА III. Немецкий цикл	43	
<i>I. Устойчивость гностических спекуляций в Германии. Пietetизм. Рождение историософии. Гнозис пытается синкретизировать метафизику и науку. Романтический синтез и его распад. От критики религиозной к критике политической. Маркс. Стр. 43</i>		
<i>II. Переход от философии к идеологии: диалектика Энгельса. Идеологическое обнищание. Рабочее движение «деидеологизирует» марксизм. Чем является и чем не является идеология. Политические условия ее существования. Стр. 51</i>		
ГЛАВА IV. Религиозное воспитание в России	59	
<i>I. Легенда о Святой Руси. Государство и Церковь. Испытание католицизмом. Реформация Петра Великого. Принижение Церкви. Появление пietetизма и просветительства.</i>		
<i>II. Пietetистская революция Александра I. Религиозная ситуация в России в 1825 году. Стр. 59</i>		
<i>III. Появление романтической философии. Гнозис подрезает приобщение к культуре. Он решает национальную проблему. Славянофильская фальсификация истории. Теологическое заимствование и религиозная фальсификация. Пара Россия—Европа по Киреевскому. Антихрема-тизм. Дуалистская историософия Хомякова. Гнозис, переодетый в отечественную традицию. Общие антиценности и общая схема мысли у славянофилов и революционеров. Стр. 67</i>		
ГЛАВА V. Либерализм или революция	83	
<i>I. Государство прибирает к рукам славянофильство. Русская ложь по Мишле, Кюстину, Марксу. Их ошибка. Либерализм в России. Стр. 83</i>		
<i>II. Рождение революционного духа. Бакунин: максимализм. Партия. Диалектика. Белинский: народническая эстетика. Герцен читает Чешковского. Он становится социалистом. Он отвергает славянофильские темы. Материализм нового поколения. Стр. 88</i>		
ГЛАВА VI. Интеллигенция	97	
<i>Русская интеллигенция — интеллигенция в чистом виде. Первое предварительное условие: государственная система национального образования. Второе предварительное условие: сильная зависимость гражданского общества. Третье предварительное условие: кризис старого порядка. Решающее условие: присутствие идеологии. Она определяет контуры интеллигенции. Она обеспечивает ее независимость по отношению к государству. Она защищает ее от гражданского общества. Сравнение с Англией, Францией, Германией. Триада Государство—Гражданское общество—Интеллигенция. Стадии их взаимоотношений: 1) 1863—1881; 2) 1881—1894; 3) 1894—1905; 4) 1905—1913. Михайловский и «Вехи». Двойной процесс растворения интеллигенции.</i>		
ГЛАВА VII. Новый человек	115	
<i>Чернышевский презирает терзания романтиков. Сциентизм. Мораль с точки зрения науки. «Что делать?» как гностический роман. Рахметов как совершенный революционер. Новая мораль, ключ к революционному действию. Идеолог без идеологии.</i>		

ГЛАВА VIII. Мечта о партии	127
<i>I. Мечта идет впереди реальности. Бакунин и Нечаев. «Катехизис революционера». Участие Бакунина. Кружок. Революционный кружок. Метанойа. Нравственность. Нежелательное признание. Стр. 127</i>	
<i>II. Разоблачение Достоевского. Двойственность идей Достоевского. Стр. 136</i>	
ГЛАВА IX. Эскиз партии	143
<i>I. Дилемма революционного движения. Лавров и чувство вины. Михайловский и индивидуализм. Этическая стадия. Стр. 143</i>	
<i>II. Приход марксизма. Государство и интеллигенция перед лицом «капитализма». Систематика зла и русификация марксизма. Стр. 149</i>	
<i>III. Ткачев. В чем он схож и в чем противоположен Ленину. Стр. 153</i>	
<i>IV. Мятеж или революция. «Земля и Воля», первая действенная партия. Отношение общества. Пропаганда или терроризм. Неустойчивость синтеза. Стр. 161</i>	
ГЛАВА X. Социал-демократия	171
Карьера Плеханова. Марксизм против терроризма. Новая Россия. Экономизм и ревизионизм. Бернштейн и Струве. Марксизм против ревизионизма. Марксизм против большевизма. Материализм против диалектики.	
ГЛАВА XI. Ленин	189
Место Ленина в истории. С кем его сравнить? Сочетание идеологического мировоззрения и рациональной деятельности. Рахметов <i>redivivus</i> . Ни русский, ни европеец. Чудовище нормальности. Ленинизм на месте Ленина.	
ГЛАВА XII. Метафизический ленинизм	199
<i>I. Существует ли метафизический ленинизм? Материя. Антропология. Саморазвитие. Познание. Две линии в философии. Источники Ленина. Самообнаружение материи в марксизме. Полемическая уверенность. Стр. 199</i>	
<i>II. Ленинизм как манихейство. Два принципа. Три времени. Наука. Ненависть. Политика. Ленинизм ни философия, ни догматика. Стр. 211</i>	
ГЛАВА XIII. Политический ленинизм.	219
<i>I. Политика у Ленина означает не то же, что у Клаузевица и Аристотеля. Революция присматривается к власти. Революции не миновать государства. Политизация и нетерпение. Стр. 219</i>	

<i>II. Партия. Новшество и его предшественники. Контрзаговор. Полная антиобщественность. Партия и рабочий класс. Структура партии. Партия и идеология. Стр. 224</i>	
<i>III. Иерархия врагов. Иерархия союзников. Конспирация и большая политика. Компромисс. Правильная линия. Повороты. Иерархия смыслов. Государственный заговор. Стр. 232</i>	
ГЛАВА XIV. Ложь и правда	241
<i>Макиавеллист ли Ленин? Раздвоенность языка или раздвоенность истины. Кто кому лжет? Разъяснительная политика. Кто кому говорит правду? Наивность. Пример Учредительного Собрания. Цинизм. Правильная позиция. Добросовестность партии. Недобросовестность ее союзников. Счастье ленинца.</i>	
ГЛАВА XV. У власти	251
<i>I. Ленин в Цюрихе. Возможное развитие русской революции. Война. Невозможность классического развития революции. Стр. 251</i>	
<i>II. Удача Ленина. Анархо-демократический уклон его политики. Державный уклон. Октябрь. Стр. 254</i>	
<i>III. Уверенность Ленина. Отстранение. Новое утверждение ленинизма. Учет и контроль. Враги. Классовая борьба. Рождение партии-государства. Натиск. Компромиссы: Брест-Литовск и НЭП. Стр. 257</i>	
<i>IV. Итог советской власти. Ее границы. Пресса, воспитание, культура. Партия. Поддержка масс. Поддержка иностранных держав. Их презрение. Стр. 267</i>	
ГЛАВА XVI. Империя лжи	273
Революция не апокалипсис. Где социализм? Построение социализма. Использование власти и идеологии. Разрыв. Его преодоление с помощью принуждения. Его преодоление с помощью магии. Язык. Искусство. Сочетание принуждения и магии. Изменение идеологии. Она больше не вера, а власть. Отношение подданных к идеологии. Отношение партии к идеологии. Мавзолей.	
БИБЛИОГРАФИЯ	286
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	295

АЛЕН БЕЗАНСОН

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИСТОКИ
ЛЕНИНИЗМА

Госб' 43

Редактор *Наталья Зеленко*

Перевод с французского *М.Розанова, Н.Рудницкой, А.Руткевича*

Оформление *Дизайн-Бюро 20•9*

Оригинал-макет подготовил *Константин Федоров*

Сдано в набор 02.02.98. Подписано в печать 25.06.98.

Формат 60x90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 19. Тираж 5000 экз. Заказ

Издательство «МИК»

121876, Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, офис 617.

Изд. лиц. № 060412 от 14 января 1997 г.

Отпечатано в ТОО «ГеО-ТЭК»
Московская обл., г. Красноармейск
ул. Центральная, д. 16.
Тел: 254-99-58